Белогвардейский роман

Красный хоровод

Ю. Галич · К. Попов

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Генерал Георгий Иванович Гончаренко, ветеран Первой мировой войны и активный участник Гражданской войны в 1917–1920 гг. на стороне Белого движения, более известен в русском зарубежье как писатель и поэт Юрий Галич. В данную книгу вошли его наиболее известная повесть «Красный хоровод», посвященная описанию жизни и службы автора под началом киевского гетмана Скоропадского, а также несколько рассказов. Не менее интересна и увлекательна повесть «Господа офицеры», написанная капитаном 13-го Лейб-гренадерского Эриванского полка Константином Сергеевичем Поповым, тоже участником Первой мировой и Гражданской войн, и рассказывающая о событиях тех страшных лет.

- Юрий Галич, Константин Попов
  -
  - «Мы дни суровые забудем…»
  - Ю. Галич
    - 1. Карпаты
    - 2. Под стук колес
    - 3. «Великая — Бескровная»
    - 4. Прилуки
    - 5. «Гвардкав»
    - 6. Загадка Крымова
    - 7. Октябрьский переворот
    - 8. Советский рай
    - 9. Исход из рая
    - 10. Киевские олеографии
    - 11. Павло Скоропадский
    - 12. Державна праца
  - Рассказы
    - Адмиральша
    - Чудо на Висле
    - Каушен
    - Оружие богов
    - Танненберг
    - Лилиан Грей
    - Ольгин штаб
    - Желтая опасность
    - Красный главком
    - Татищев и Долгоруков
    - Атака ямбургского полка

- Абракадабра
- К. Попов
  -
  - Сомкнем штыки!
  - Боевое крещение
  - «Молекулярная» работа
  - Желтые дьяволы
  - Ночное
  - Наследство офицера

Юрий Галич, Константин Попов
Красный хоровод

Сборник

«Мы дни суровые забудем…»

В вечерней мгле катились эскадроны,
Был слышен храп и топот конских ног.
Вперед, вперед!.. Там слава, там знамена!..
Звени труба и сабельный клинок!

Юрий Галич

Уроженец Варшавы, «отчетливый» кадет Полоцкого кадетского корпуса выпуска 1895 года, Георгий Иванович Гончаренко (будущий писатель Юрий Галич) едва ли полагал, что, став взрослым, займется литературным трудом, и что истинная слава сочинителя придет к нему лишь за рубежами Отечества под конец его недолгой жизни. В письмах родственников я разыскал упоминание о нем моего прадеда, в письме к прабабушке, где он писал о братьях Георгии и Иване, собиравшихся погостить в их семье в пору летних каникул. «…***а вообще я рад, дети Nadine, серьезный Georges и беспечный младший Jean приедут к нам теперь. Пусть покажут нашей „молодежи“, что есть подлинные, отчетливые кадеты, и вдохнут в них дух бодрости… Уверен, что и нашим детям их общество будет весьма кстати; они теперь взрослые, и пусть наши… перенимают у старших родственников их сдержанный и разумный характер***…». Мой дед вспоминал, что когда наконец родственники-кадеты прибыли, то сразу же, по-военному, отправились представиться главе семейства. На вопрос, чем он собирается заниматься на отдыхе, Георгий отвечал, что еще в корпусе увлекся сочинениями Ивана Анненкова и намерен читать их и далее, и (что более всего поразило родственников) намерен «заняться литературой». Здесь необходимо добавить, что литературой в то лето Георгий Гончаренко так и не занялся, окунувшись с головой в обыкновенную летнюю жизнь, как и многие его сверстники. Но идея о литературных занятиях так поразила и увлекла моего деда, что позже он, отказавшись от военной карьеры, посвятил себя сочинительству.

На правах младшего родственника, мой дед принимал самое живое участие в летних развлечениях в доброславской усадьбе своего дяди в Полесье, где энергичный Жорж учил братьев обращаться с охотничьим оружием. Сам Жорж иногда уезжал

погостить к друзьям, в известную усадьбу Бутурлиновку, стоявшую на берегу речки Сердобы, верст за тридцать от города. Там мужская половина гостей и хозяев развлекалась охотой на дрофу. По доброте сердечной Георгий и Иван иногда приглашали туда и своего младшего родственника. Мужское общество иногда разнообразили визиты соседских красавиц. «Как-то верхом примчалась Зина Волконская. Провела только сутки, закрутила, взбаламутила всех, перессорила между собой и умчалась…», — напишет впоследствии ироничный Жорж. А когда лето заканчивалось, и наступали дни учебы, братья возвращались к своим делам: Жорж и Жанчик — в корпус, а их кузены — к гимназической жизни.

Все братья Гончаренко в равной степени тяготели к домашнему уюту, помогавшему пережить серость будней. По вечерам в доброславской усадьбе часто пересказывались прапрадедовские истории. Он был известным человеком, и круг его друзей и знакомых составляли не просто увенчанные сединами герои турецкой войны и туркестанских походов, но люди поистине исключительные, ставшие историческими фигурами еще при жизни. За боевые успехи бравый полковник Гончаренко был однажды приглашен на высочайший завтрак в походный шатер императора. Растроганный успехами бригады Гончаренко, Александр II запросто обнял и расцеловал бравого офицера, приговаривая: «А где были бы турки, если бы не твоя бригада?..»

В ходу были рассказы прапрадеда о его долгой дружбе с внуком великого Суворова — князем Александром Аркадьевичем, и о молодых эскападах с ровесником, ротмистром лейб-гвардии Гусарского полка, будущим российским фельдмаршалом Иосифом Гурко. Разумеется, «уютные древности», как называл их сам Георгий Иванович, хорошо вспоминать вечерами, когда трещат дрова в камине и за окном тихо падает снег. В полыхавшей огнем Гражданской войны России, когда генерал Гончаренко только начинал свою литературную деятельность, воспоминания о предках показались ему «милым анахронизмом», о котором он мыслил написать в более подходящее время.

Написание семейной хроники не состоялось. Прапрадед был человеком замечательным во многих отношениях. Будучи вторым ребенком в многодетной офицерской семье, где помимо него было еще 17 человек детей, он оказался в 17 лет на военной службе, приняв участие в подавлении польского мятежа. Затем — долгие годы службы, участие в Венгерской кампании 1848 года, первый орден Св. Анны 3-й степени, полученный за участие в ней… Бытовала в нашем семействе и некая «династическая

тайна», относившаяся к истории одного из родственников, женившегося в царствование Николая I на молоденькой фрейлине императрицы Александры Федоровны, Марии Парижской — особе весьма загадочного происхождения. Появилась она на свет в 1815 году, через девять месяцев после посещения Парижа тремя европейскими монархами во главе с Александром I, и была названа некоторыми историками «побочной дочерью» русского царя…

Жизнь Георгия Ивановича Гончаренко до Великой войны 1914–1918 годов оказалась поровну разделенной между военной службой и литературными упражнениями. Ставши выпускником Николаевского кавалерийского училища в 1897 году, он служил в Гатчине на должности строевого офицера лейб-гвардии Кирасирского Ее Величества полка. В Великую войну полковник Георгий Гончаренко возглавил 19-й Архангелогородский драгунский полк, за отличное командование которым в мае 1917 года был удостоен Георгиевского оружия. Тогда же, приказом главнокомандующего генерала от инфантерии Корнилова, Георгий Иванович был назначен на пост начальника штаба Гвардейского кавалерийского корпуса в Петрограде. Появилась возможность чаще бывать дома, и, если выдавались свободные дни, посвящать их литературным упражнениям и общению с родными и сослуживцами, старыми знакомыми по 1-й Гвардейской дивизии. Многих своих настоящих друзей Георгий Иванович потерял еще задолго до развала империи. Круг этих друзей был неслучаен и сформировался в мирное время в обстановке общей увлеченностью литературой, родственными и сословными связями и привязанностями.

Еще до войны Георгий Иванович, насколько было возможно, посещал «литературные четверги» гофмейстера Высочайшего двора и поэта Константина Случевского, доброго приятеля великого князя Владимира Александровича, с которым поэт немало путешествовал вместе. Там, на салонных чтениях, молодой Гончаренко беседовал с великими философами и литераторами своего времени, а знаменитый Владимир Соловьев даже обещал подковать «хромого Пегаса» молодого стихотворца, которого он иронии ради, именовал «фельдмаршалом».

Поэт отчасти предвосхитил судьбу своего визави. Хотя Гончаренко и не получил высший воинский чин Российской империи, его военная карьера в предвоенную пору неуклонно шла в гору. Заметной вехой его биографии стала учеба в Николаевской академии Генерального штаба.

Еще со времени Полоцкого кадетского корпуса, Георгий начал собирать свою библиотеку, экономя на столь обычных для

мальчика удовольствиях как покупка сладостей. Книги эти были дополнением к обширной библиотеке его отца, Ивана Юрьевича Гончаренко, изрядно пополнившего её в годы жизни в Варшаве. Унаследовав библиотеку после скоропостижной смерти отца, Георгий Гончаренко не только продолжил собирание книг, но и заботливо переплетал их, придавая собранию не только содержательную, но и формальную ценность.

Уволившись из армии в декабре 1917 года, Георгий Иванович поспешно покинул Петроград и отбыл в Киев, где ненадолго установилась власть генерал-майора Павла Петровича Скоропадского. Перед отъездом Гончаренко навестил своего друга, князя Юрия Ивановича Трубецкого, у которого впервые познакомился с будущим поэтом эмиграции и будущим зятем Юрия Ивановича графом Петром Андреевичем Бобринским. Молодой человек собирался в Добровольческую армию, и был решительно настроен, принять участие в борьбе против большевиков в качестве артиллериста на любой, даже рядовой вакансии. В холодном и смертельно опасном для офицеров императорской армии Петрограде 1917 года за столом в гостиной у Трубецких сидели два поэта и читали друг другу стихи — Юрий Галич и Петр Бобринский… О чем были эти стихи, мы, вероятно, уже не узнаем. Возможно, о том, о чем позже написал в эмиграции граф Бобринский: «***Мы дни суровые забудем,// Блеск нетерпимый этих дней,//Когда вернемся в морок буден// Жестокой родины своей.// Ища в последствиях причины,//В угаре тлеющей лучины,// В сугробах зим погребены,// За явь беспечную мы примем// Не пошлинами вековыми — // Морозом кованные сны//…И гасит в преддекабрьской мути// Мгновенный пламень революций// Возвратное дыханье зим.// Рукой поднятые железной // Мы над разверстой звездной бездной // Обвороженные летим»***.

Жизнь и служба, а также множество «открытий» природы гетманской власти в Киеве превосходно описаны Георгием Гончаренко в повести «Красный хоровод». Связавшись с представителями Добровольческой армии в городе, генерал Гончаренко выехал в Одессу и прибыл в группировку добровольческих войск под командованием генерала Николая Николаевича Шиллинга.

Девятнадцатый год стал трагическим для Георгия Ивановича. Жена умерла от тифа, дочь Наташа вместе с бабушкой остались в большевистском Петрограде на попечении тетушки. Жизнь в этом городе для людей их сословия была небезопасной, и вскоре стараниями родственницы, они перебрались в деревню, где та служила сельской учительницей. Связь с ними прервалась, хотя

Георгий Иванович пытался поддерживать переписку с дочерью в надежде на встречу. Не довелось ему увидеть и внучку, родившуюся у Наташи в 1933 году.

В апреле 1919 года генерал-майор Генерального штаба Георгий Иванович Гончаренко приказом главнокомандующего Вооруженных сил Юга России был зачислен в резерв чинов при штабе Деникина. Бездействие томило Гончаренко, а отступление частей ВСЮР, Новороссийская катастрофа и вынужденный отвод войск в Крым предрекали скорый конец Белой борьбы на Юге России. Новый главнокомандующий Русской армией барон Врангель не препятствовал тому, чтобы генерал Гончаренко был откомандирован в резерв сухопутных и морских сил Временного правительства Приморской областной земской управы. Через Константинополь на борту гражданского судна Георгий Иванович в компании нескольких офицеров прибыл на Дальний Восток. В течение года, находясь в резерве, он смог заниматься журналисткой и писательской деятельностью.

Казалось, что для него Гражданская война закончилась, хотя в первой половине 1921 года он и получил новое назначение внештатным генералом для поручений при командующем войсками Временного Приамурского правительства. Соотношение сил на Дальнем Востоке стремительно менялось в пользу большевиков. Народ, как водится, безмолвствовал, тем самым облегчая красным военный и политический захват власти. Усилился отток беженцев, ибо слухи о зверствах красных партизан и регулярных частей Красной армии множились день ото дня, тысячами увлекая людей с насиженных мест в неизвестность. Становилось ясно, что предстоит скорая разлука с родиной.

Генерал Гончаренко выбрал путь вынужденной эмиграции, но, покидая Дальний Восток, устремился к западным рубежам России, где русская культура еще не была окончательно утрачена, и где жило немало его сослуживцев и соотечественников. Поселившись в 1923 году в Риге, в квартире своих прежних знакомых по Петербургу, Георгий Иванович занялся наконец литературной работой. Несмотря на то, что до 1917 года писательская слава не сопутствовала ему, в рижском литературном сообществе 1920-х годов писатель Юрий Галич сразу занял положение маститого литератора, высоко оцененного его знаменитыми современниками — Петром Моисеевичем Пильским в Риге и Петром Николаевичем Красновым в Берлине.

Круг общения Галича в Риге не был столь широк. Он был любим всеми знавшими его людьми, добр и корректен с незнакомыми, вежлив и доброжелателен, но продолжал жить в

замкнутом мире своих внутренних переживаний. В эмиграции он так и не женился, оставшись верным памяти жены и считая, что в его годы «смешно обзаводиться семьей». Настойчивым поклонницам он неизменно отвечал: «Я был слишком избалован столь красивой и хорошей женщиной, каковой была моя жена, и знаю, другой такой у меня не будет…»

Жизнь бывшего генерала Гончаренко в Риге состояла из работы над книгами, переписки с дочерью, общением с добрыми знакомыми, но даже такая разнообразная деятельность не могла заменить утраченного мира прежней России. С волнением он наблюдал из окна своей квартиры вступление в Ригу советских войск в 1940 году. На улицах появились красные флаги, запестрели приказы и листовки, запрещающие, упреждающие, угрожающие. Наконец, в городе появились представители НКВД, начавшие вызывать на беседы эмигрантов и лиц без подданства — всех тех, кто не успел покинуть страну. На «беседах» вкрадчиво расспрашивали о жизни за границей, интересовались бытом и жизнью эмигрантов, сокрушались, что те «не поняли революцию». Жестокая машина коммунистического террора понемногу набирала обороты. В обмен на жизнь и гарантию спокойного существования при советской власти от эмигрантов, особенно военных, требовали доказательства лояльности режиму. Их принуждали оповещать обо всех подозрительных фактах поведения знакомых, писать отчеты о беседах и встречах с людьми их круга, настаивали на секретном сотрудничестве и осведомительстве.

12 декабря 1940 года, после ряда подобных «бесед», пребывая в состоянии моральной подавленности, генерал-майор Георгий Иванович Гончаренко покончил жизнь самоубийством, повесившись на электрическом проводе в своей рижской квартире, в доме по улице Аспазии. После него осталась неоконченная повесть о юности под названием «Когда малиновки звенят», над которой писатель трудился последнее время. Стараниями его рижской знакомой Евгении Петровны Квесит, генерала похоронили на Покровском кладбище Риги.

О. Г. Гончаренко

Ю. Галич
Красный хоровод

1. Карпаты

Стоял белый, ясный, тихий январь.

Кавалерийская бригада занимала горную позицию на Карпатах. Участок был глухой, малодоступный, дикий. В тылу была Надворная, впереди — венгерская граница и австрийские окопы…

Смена происходила еженедельно.

Сделав переход в двадцать пять верст, бригада останавливалась, слезала с коней и, оставив их при коноводах, подымалась в горы.

Брали проводников и шли узенькою тропою, змеившейся по берегу неведомого ручья, пересекали утопавший в пуховой перине ельник и буковый лес, измотались на скалистых кручах. Тащили на вьюках горные пушки, тянули пулеметы на салазках и, шаг за шагом, упираясь палками в снег, скользя и падая, ругаясь и подбадриваясь смехом и шутками, подымались выше и выше.

Шли несколько часов, делая время от времени приостановку, чтобы перевести дух, подтянуть отставшие хвосты, походные двуколки и кухни…

В горах царила величавая тишина.

Ни птицы, ни зверя, ни единого существа. Только вились петлями кабаньи следы да заячьи тропы. Искрился снег и голубело небо. По склонам чернел лес, задумчивый, недвижный, молчаливый. А впереди, как заповедный рубеж, отмеченный на карте красной линией фронта, белел снеговой хребет.

К полудню, после утомительного перехода, бригада занимала позицию. Один полк, с конно-горным артиллерийским взводом, располагался на небольшой площадке, среди гор, ночуя в низких, сырых и холодных, наспех сработанных саперами, землянках. Другой — венчал своими спешенными эскадронами четыре голые вершины, с кольцевым окопом и жидким проволочным заграждением.

Коноводы возвращались в Пнюв…

На берегу застывшего ручья, возле базальтовой скалы, с которой в полдень стекали хрустальные капели, стоял дом лесника.

Здесь помещался штаб.

Дом был сколочен из сосновых бревен. В нем находилась печь, скамейки, нары, колченогий стол. Когда трещал мороз и в окна стучалась январская стужа, в избе было тепло и уютно.

Печь накалялась до красна, огонь лизал обугленные головни и алым светом полыхал по стенам… Горела керосиновая лампа…

Пел самовар… Ду-ду! — дудел бригадный телефон… Пять офицеров полкового штаба сидели за столом, писали донесения, беседовали, пили чай…

Стоянка на горной позиции располагает к беседам, к обмену мнениями, к разговорам на различные темы.

Затерянная среди гор, как крошечная точка, на общем тысячеверстном фронте, оторванная от больших путей, бригада жила своею жизнью. Внешних впечатлений было немного. Сведения почерпались, главным образом, из армейских сводок да случайно попадавших в руки старых газет.

Беседовали о предстоящей весенней кампании и прекращении достаточно всем надоевшей войны. Само собой разумеется, никто не сомневался в конечной победе над истощенным противником. Настроение было устойчивое и бодрое, подкрепляемое уверенностью в близкой развязке и заключении достойного мира.

Одновременно, тайком, передавалось многое другое.

Говорили что-то о конституции, не совсем точно уясняя себе значение этого слова, болтали о предстоящем государственном перевороте, возглавляемом якобы Ставкой и великими князьями. Пронесся даже фантастический слух о заточении императрицы в Соловецкий монастырь.

Трудно сказать, каким образом все эти слухи долетали из тыла на занесенные снегом вершины. Приносились ли они лицами, командируемыми в столицу по служебным делам или просто, в порядке летучей армейской почты, передавались из ближайшего центра, в форме интимной беседы, которая тотчас становилась известной, волнуя и командный состав и людей…

Нужно признаться, что ореол царя, никогда, впрочем, не бывший значительным, к третьему году войны поблек окончательно и мерк со дня на день. Все ставилось в вину этому незадачливому, несчастному человеку, взнесенному капризом судьбы на тяжелый русский престол в роковой час русской истории.

И затяжная, в связи с технической отсталостью и неудачным командованием, неслыханно кровопролитная, опустошительная война. И назначения на высшие посты в государстве бездарных, недостойных, вызывавших общественное негодование лиц. И сплетни о шпионаже и вероломном предательстве, свившие якобы гнездо в Царскосельском дворце — все это, косвенно или прямо, относилось к царю и непопулярной царице.

В особенности раздражала распутинская история, раздутая до невероятных пределов, подрывавшая уважение к короне, набросившая мрачную тень на святость и чистоту царских

чертогов. Много здесь ложного, преувеличенного и несправедливого, но доля истины все же имелась. Убийство старца было встречено ликованием…

Я позволил себе коснуться вскользь этой острой и до сих пор еще волнующей темы, чтобы отметить, что и на фронте, в самой глухой и затерянной его точке, отголосок общего настроения имел свое место. Может быть, сравнительно незначительное, ибо главное внимание было все же устремлено вперед, туда, в смутно синевшие за Быстрицею-Надворнянскою дали, где за вражескими окопами начиналась венгерская граница и мерещился загадочный Кересмеж…

Ваше сиятельство, князь Николай Петрович Вадбольский, мой уважаемый начальник дивизии!.. Драгуны — Архангелородцы девятнадцатого полка — полковник Петровский, Карганов и Алексеев, ротмистр Кубаркин, Алябьев, Орфенов, Чебеняев, Бухаров и барон Драхенфельс, господа офицеры и солдаты, мои боевые друзья!..

Если попадутся вам на глаза эти строки, быть может, разбудят они в вашей душе воспоминания о далеких карпатских днях, от ясного утра к оранжевому закату, и от заката к веющей черными мохнатыми крыльями ночи…

Я бы воспел их, как сказку, как лирическую поэму, достойную, может быть, стихотворного ритма!..

На кручах, среди снегового безмолвия, под горячим золотом солнца и в студеном мраке ночей, бригада стояла на страже, верная боевому закону.

Было несказанное очарование в богоданной природе, величавой и пышной, не оскверненной человеческой пошлостью, лучезарной и чистой, словно только что вышедшей из рук Творца.

Белый ковер, ослепляющий до боли в глазах, раскинул во все стороны бриллиантовые узоры, затопил долины и бездны, запушил вершины и склоны. А на нем, словно шапка сказочного волшебника, окаймленная голубыми песцами, чернеет вековой, дикий, непроходимый лес.

Прозрачен разреженный воздух, и если взглянуть сверху вниз, на австрийскую позицию, лежащую, за скованным ледяным панцирем, горным потоком, три версты расстояния превращаются в каких-нибудь триста шагов… Удивительный обман зрения!.. Все видно, как на ладони… Стальная сеть заграждений, амбразуры и брустверa, запорошенный снегом блиндаж… В бинокль можно разглядеть даже безусое лицо молодого солдата, облокотившегося, в раздумье, на винтовку, с острым жалом ножа…

В полдень дымятся походные кухни, ползет острый запах

каши и щей. Гусары резерва сидят на солнце в расстегнутых куртках, чинятся, смазывают оружие, балагурят, разражаясь крепким здоровым хохотом, перекидываются, как малые дети, в снежки.

Господа офицеры покуривают табак, беседуют между собой или же, на крошечных лошаденках гуцульской породы, взбираются на горы и поверяют сторожевые заставы. Иногда, не более, как раз на день, прозвучит выстрел:

— Та-ку!

Это коза или олень вышел на часового. Это значит, что в одном из эскадронов будет на ужин свежее мясо. Тысячезвучным эхом выстрел облетает горы, долины, ущелья и замирает вдали…

Я сижу на стволе поваленного бурею дуба и гляжу в синие дали, где обрываются горы и лежит, среди венгерской равнины, таинственный Кересмеж… Светлые образы ласкают умиротворенную душу… Снеговое безмолвие и величавый покой полны непередаваемого очарования… Порою, мне чудится благовест… Я не знаю что это такое — горный обвал или журчанье потока, хрустальная музыка ледяных капель или просто игра обостренного слуха?.. Но порой чудится звон далеких колоколов, создающий фантастическую иллюзию, погружающий сознание в область несказанных миражей… Дон-дон-дон!.. Огненный лик улыбается прощальной улыбкой и готов скатиться за лиловые горы… В вечереющем небе вспыхивают ясные горные звезды… Таинственная мелодия звучит все реже, все глуше…

«Вечерний звон,
Вечерний звон,
Как много дум
Наводит он…»

Сейчас, на третьем году войны, я почувствовал впервые необъяснимое утомление, не столько, впрочем, физического, сколько морального свойства. Бессонные ночи, напряженные дни, нервная тревога тридцати бесконечных и страшных месяцев не проходят бесследно… Чувства требуют отдыха… Душа жаждет покоя!..

Ко всему этому, я стал обнаруживать в себе признаки какого-то странного охлаждения к тому ремеслу, которому посвятил себя с юных лет. Оно рисовалось мне в несколько иных формах. Подойдя теперь к нему совершенно вплотную, я обманулся во многом.

И точно, если в ремесле кровавого бога войны раньше, может быть, наблюдалась доля известной романтики, сейчас не осталось

и тени. Романтика осталась только в воображении восторженных юношей да на пергаменте старинных гравюр, запечатлевших батальные эпизоды и подвиги отдельных, воспетых, может быть, с излишней щедростью героев.

Взамен романтики — серая, скучная проза.

Вместо эффектных кавалерийских атак, мгновенных и сокрушительных, как удар молнии — бесконечное сиденье в зловонных траншеях. Вместо героических подвигов — война на истощение сил, со всеми сопутствующими ей спутниками: холодом, голодом, пожарами и дымом развалин, сыпняком и жгучей тоской по прекрасному…

Сейчас, в этой позиционной войне, не может быть ничего, напоминающего конную атаку Домбровского под Соммой-Сиеррой, ни дерзкого броска ротмистра Бехтольсгейма в бою под Кустоцией, ни подвига самого Бонапарта на Аркольском мосту.

Зейдлиц и Цитен, бессмертные гренадеры и маршалы великого корсиканца — Ланн, Ней, Мюрат, партизаны отечественной войны — Сеславин, Фигнер и Дорохов, кавказские орлы — Слепцов, Бакланов, герои севастопольской обороны и других исторических битв и кампаний — француз Камбронн, американец Морган, русский майор Горталов — все это легендарные фигуры прошлого, которое не повторится.

Дерзость, отвага, личный пример, подвиги мужества, чести, великодушие, с обменом рыцарскими любезностями на полях брани — «Mtssieurs les Angliais, tirez les premiers!» — уступили место единоборству машин, бездушной технике, бесстрастным законам экономики, химии и механики…

Кто близко соприкоснулся с оборотной стороной батальной медали, кто слышал раздирающие сердце стоны тяжелораненых, хрипение умирающих и заживо погребенных, кто видел сотни, тысячи, гекатомбы молодых человеческих тел, смрадных, истерзанных и распухших, в различных позах устилающих поля битвы, впервые невидящие глаза в ликующее ясное небо, или частокол, выстроенных в шеренги, безвременных могильных крестов, кто наблюдал, наряду с этим, упадок общественного одушевления, равнодушие и вакханалию сытого, праздного, распутного тыла — тот не мог не ощущать всеми нервами ужасов современной войны…

Современная война хороша, может быть, издали или в воображении. На близкой дистанции, она представляет чрезвычайно однообразное, смертельно-скучное и порою совершенно невыносимое зрелище…

Здесь, на тихой карпатской позиции, в уединении с величавой природой, впервые в моем сознании закопошились

новые мысли. Впервые я усомнился в правоте того дела во имя которого уже принесено, с обеих сторон, сколько неисчислимых жертв.

Во имя чего, ради каких интересов, из каких, может быть, высших, но не понятных для огромного большинства людей соображений?

Для того, чтобы утопив землю в слезах и в крови, перекроить карту Европы на новый лад и создать новый повод для будущих, еще более гибельных столкновений.

Бессмысленность решения международных тяжб при помощи разрывных пуль, отравленных газов и тяжелых орудий, становилась для меня очевидной. Затраченные миллиарды и миллионы человеческих жизней, к сожалению, самых сильных, самых отборных, являлись бесцельными и преступными.

О, прогресс, культура, цивилизация, какова ваша ценность, если от зари христианства, пройдя через двадцать столетий, наряду с великими завоеваниями мысли и духа, не нашли ничего лучшего, как принести с собой новые усовершенствованные методы в технике человеческого взаимоистребления!..

Здесь, в эти ясные, светлые, успокоительные часы, я впервые почувствовал некоторое сомнение в верности того пути, на который не столько, может быть, по влечению, сколько по семейным традициям, встал двадцать лет тому назад.

Оглянувшись на этот путь, я не имею, в сущности, права быть им недовольным.

Я проделал его легко, без особых усилий, в благоприятно сложившейся обстановке. Военная служба выковала характер, дисциплинировала ум, подчинила чувства рассудку. Эта служба развернула в моей жизни ряд прекрасных страниц. Наконец, с точки зрения служебной карьеры, открывает передо мной безграничный простор.

Мне тридцать девять лет. Я сохранил силы и свежесть, возможные лишь на военной службе. Состою пять лет в чине полковника Генерального штаба, имею значительный опыт, высшие боевые отличия, представлен к производству в чин генерала. Впереди меня ожидает командование кавалерийской дивизией, может быть корпусом или армией.

Но на военную службу, как и на всякую службу вообще, я ставлю, кажется, крест. Вторая половина моей жизненной дороги сложится иным образом. К счастью, я не обладаю чрезмерно развитым честолюбием.

С окончанием войны, если судьбе будет угодно сохранить меня невредимым, я намерен взять полугодовой отпуск и подать в отставку. Я поселюсь в своей усадьбе и буду жить для своих

близких и для себя, отдаваясь своим страстям — охоте и путешествиям.

Кроме того, я сделаю попытку заняться литературным трудом. Я напишу книгу о Великой войне, простую правдивую книгу, но не в форме исторического или военно-научного повествования, а в виде небольших бытовых очерков. В ней будет изложено все, что я видел собственными глазами, что перечувствовал собственным сердцем, на страдном пути от берегов Балтийского моря до снежных вершин Карпат…

А сейчас — командую пятнадцатый месяц драгунским полком и хотел бы закончить войну на этой должности. Она меня удовлетворяет в несравненно большей степени, нежели штабная работа.

О, какое это великое наслаждение стоять во главе тридцати шести смелых, решительных, достойных во всех отношениях офицеров и тысячи таких же отборных солдат, из различных губерний обширного царства российского — вологодских, рязанских, саратовских, каменец-подольских, повинующихся малейшему слову, знаку или намеку, с пламенным сердцем исполняющих мою волю!..

За эти пятнадцать месяцев, я сроднился с полком, как только можно сродниться в тревожной боевой обстановке, перед лицом ежеминутно веющей смерти, на переходах по всему фронту, среди блестящих удач и горечи поражений. Мне тяжело будет расстаться. По этой причине, я уже дважды отказался от предлагаемых назначений и, с некоторым волнением, ожидаю третьего предложения, на которое должен буду ответить согласием…

Я вспоминаю, как совсем недавно, каких-нибудь две недели тому назад, с нами прощался командир нашего, 2-го кавалерийского корпуса, великий князь Михаил.

Он получил почетное назначение на должность генерал-инспектора кавалерии.

Вблизи полуразрушенной Надворной, у деревни Красна, на фоне голубеющих Карпат, великий князь сделал нам прощальный смотр.

На сером токийском жеребце, в серой черкеске и папахе, в сопровождении небольшого штаба, великий князь объезжал кавалерийскую бригаду, построенную на залитой ярким солнцем снеговой поляне:

— Здорово, архангелогородские драгуны!

— Здорово, иркутские гусары!

Я перед бригадой коротким галопом скакал на своей «Лилиан Грей». Под звуки трубачей мы проходили церемониальным

маршем, салютовали и отвечали на приветствие по правилам кавалерийского устава. Пестрели бело-красные флюгера на пиках, неслось серебряное ржание коней, сверкали снеговые хлопья из-под копыт драгунских и гусарских эскадронов.

Вечером, в деревне Майдан Гурный, мы чествовали великого князя прощальным ужином.

Было просто и весело. Гремела музыка. Офицеры пели, рассказывали, декламировали. В особенности отличался один прапорщик, бывший артист опереточной сцены, с большим искусством передававший модные военные песенки, высмеивавшие старого Франца Иосифа и немецкого кайзера:

«Будем мы,
Тра-та-та,
Воевать,
Тра-та-та,
А на прочее нам наплевать!»

Великий князь смеялся от всей души. Я сидел рядом с ним и вместе с ним вспоминал наши юные годы. Великий князь остался тем же простым, скромным, доверчивым человеком. Но с внешней стороны сильно изменился.

Он постарел, наметились морщины, волосы заметно поредели, от прежнего румянца не осталось следа. И тем не менее, он все-таки напоминал мне того красивого юношу, каким я знал его когда-то по совместной службе в кирасирском полку.

Великий князь был болен серьезно желудочною болезнью. Он часто уезжал с фронта в орловское имение Брасово. А сейчас покидал нас совсем:

— Вы не поверите, как жалко уезжать!.. Как будто расстаюсь навеки!

Предчувствия его не обманули.

Это была последняя встреча с великим князем, милым, славным моим сослуживцем и командиром, о котором храню светлую память.

Вместе с тем, это были последние дни, проведенные мною, под одной кровлей, в дружной бригадной семье…

И был такой день, яркий, светлый, бестрепетный день, когда мне подали телеграмму.

Я стою у базальтовой скалы, по которой стекают хрустальные капли, гляжу на застывший ручей и на сверкающий снег, с оттисками чьих-то следов.

По моему мнению, это выдра, маленькая, бойкая выдра, та самая, которая каждую ночь подходит к домику лесника и,

покружившись с какими-то таинственными целями, сбегает обратно к ручью и исчезает в одном и том же северном направлении. Все это можно прочесть по следам, как по следам же я открываю ночные визиты зайчишек, быстролетный бег коз, рандеву диких свиней…

Полковой адъютант передал телеграмму. Я вскрыл и прочел официальные строки:

> «Не встречается ли препятствий к назначению вас военным представителем в главную квартиру главнокомандующего итальянским фронтом?»
>
> *Генерал Головин.*

Этот запрос был для меня неожиданным. Однако, мне было известно, что отдельные офицеры Генерального штаба получают командировки в союзные армии. Это производилось не столько по военным, сколько по политическим соображениям.

Два чувства боролись в моей груди.

Поездка на итальянский театр, в штаб генерала Кадорны, новое путешествие, новые впечатления, само собой разумеется, отвечали моим желаниям. Я сознавал, что так или иначе, в самом ближайшем будущем, мне придется расстаться с полком, как бы я не упорствовал. Нужно воспользоваться, на этот раз, соблазнительным предложением, которое достается на долю не каждого.

После короткого размышления, я ответил согласием.

В волнении протекло несколько дней. Сознание рисовало заманчивые картины. Я имел шансы получить предлагаемую командировку.

Мною было упущено только одно обстоятельство.

Будучи первым кандидатом по фронту, я мог не оказаться таковым же по Ставке, в которой не было, кстати, прочно налаженных связей.

Так оно и случилось. Назначение мое не состоялось.

Вместо предполагавшейся Италии, я получил приказание ехать в Прилуки и занять должность начальника штаба Второй кавалерийской дивизии, с правами бригадного генерала…

Двадцать пятого февраля, после сердечных проводов, я расстался с полком и с горной позицией.

Оглянувшись в последний раз, я увидел охотничий домик и стоявшую возле него группу людей… Я увидел подымавшийся к небу вертикальными струйками дым драгунских костров и зазубрины снегового хребта, за которым, как фантастический призрак, как влекущее марево, лежал загадочный Кересмеж…

2. Под стук колес

Я не историк, не публицист и не научный исследователь событий, отыскивающий причинную связь между звеньями одной и той же цепи, разлагающий каждое явление на составные части, подвергающий их критическому анализу и, в совокупности всех трудов, представляющий обществу точный, ясный, непогрешимый вывод.

Я неизвестный, маленький человек, впервые выступающий на литературном поприще, выросший в специальной военной среде, сроднившийся с нею всем существом, не свободный, конечно, от многих ее условностей и предрассудков, но в то же время, в силу ряда причин, с неизменным интересом, и даже с долею некоторого сочувствия, следивший за развитием русской общественной мысли.

Таким образом, с политической точки зрения, я бы счел себя примыкающим к умеренно-прогрессивному лагерю, стремившемуся вполне законными мерами, в соответствии с имевшимися возможностями, направить страну на путь широких, разумных, необходимых реформ.

В борьбе самодержавия с этой общественностью, симпатии, естественно, лежали на стороне последней, но симпатии тайные, в силу служебного положения не могущие быть проявленными открыто, увеличивавшиеся по мере злосчастных ошибок престола и власти.

Вместе с тем, сохранилась, однако, верность монархическим принципам и идее, как сохранительнице лучших традиций русского прошлого, как эмблеме государственного могущества, сковавшего в нерасторжимое целое великую страну.

Апокалипсические события грядущих дней не поколебали моего символа веры, но дали лишнее доказательство, что без единой национальной, честной и сильной власти, соответствующей политической зрелости страны, великое государство не выйдет из того состояния социального, экономического и политического распада, в который поверг его помутившийся разум народа, роковые ошибки престола и вихрь не в меру затянувшейся, неудачной войны.

Само собой разумеется, что эти события обрели во мне не столько апологета, сколько идейного и физического противника и одну из бесчисленных жертв.

Но кроме того, на мою долю выпала роль наблюдателя, по прихоти своевольной судьбы соприкоснувшегося достаточно близко с отдельными актами великой русской трагедии.

Все пережитое я пытаюсь передать на страницах моей маленькой повести, под условием, что личные впечатления, штрихи и отрывочные заметки не будут восприняты, как вполне объективный и полный, претендующий на абсолютную точность, в особенности, в своих поверхностных заключениях, труд.

Со своей стороны, я буду как можно более искренним.

Я продолжаю повесть с того прочно сохранившегося в памяти дня, когда автомобиль санитарной летучки доставил меня из Пнюва в маленькую, грязную, забитую повозками тыла, расположенную у подножия гор — Коломыю.

Само собой разумеется, что прямой путь из Коломы и в Прилуки лежит в стороне от железной дороги на Петроград.

Но если принять во внимание поверстный срок и любезность непосредственного начальника, предложившего кратковременный отпуск для устройства домашних дел, станет понятным, почему неведомые Прилуки отошли временно на задний план, уступив место хорошо знакомой невской столице…

Февраль на исходе.

По этому случаю, как первый вздох, как ласкающее предчувствие, наблюдается сеяние южной весны. На полях еще лежит снег, но какой жалкий, в бурых проплешинах, с островами жирного чернозема!.. Потоки червонного золота льются с ясного неба… И дымится земля, и щекочет весенними ароматами…

Весна с одной стороны, а с другой, стук вагонных колес, мягкое покачивание рессор, уют комфортабельного купе и сознание быть предоставленным всецело себе на протяжении нескольких дней — все это располагает к легким, радужным размышлениям.

— Трах-тах-тах! Трах-тах-тах! — звенит металлическая симфония, со своим несколько однообразным, убаюкивающим ритмом.

А перед глазами еще стоят снеговые вершины и зазубрины голубого хребта, ущелья и кручи, занесенные пушистым ковром, задумчивое безмолвие леса, горный ручей и хижина лесника, возле которой виднеются несколько крошечных точек.

— Не поминайте лихом, друзья!

Я покинул вас навсегда, со всеми планами и надеждами, о которых бывало, в минуты досуга, так горячо велась беседа за кружкой наполовину остывшего чая.

— Прощайте!

В памяти стоят слова напутственных пожеланий, последняя беседа с начальником, передавшим, под строгим секретом, неожиданное известие. Без сомнения, оно будет встречено мною с удовлетворением. В ближайшем будущем, по представлению

Ставки, состоится мое назначение командиром гвардейского полка, по всей вероятности лейб-гвардии Кирасирского Ее Величества.

Двадцать лет тому назад я начал в этом полку военную службу!.. Этим же полком я закончу свою боевую карьеру!.. Подобное совпадение следует признать исключительным!..

Между тем, промелькнул тернопольский вокзал, наполненный офицерами всех родов войск, как всегда шумный, как всегда залитый электрическими огнями, создающими особое настроение.

В окна глядит вечереющая волынская равнина.

— Трах-тах-тах! — выстукивает валторна колес, мелькают столбы, проносятся встречные поезда, бегут в такт знакомые рифмы:

«С севера болота и леса,
С юга степи, с запада Карпаты,
Тусклая над морем полоса,
Балтики зловещие закаты.
А с востока — дали, дали, дали,
Ветер, солнце, песни, облака,
Золото и сосны на Урале
И руды железная река…»

Я нахожу особое развлечение в беседе с дорожными спутниками.

Сначала, уже немолодой инженер путей сообщения передает свои наблюдения над галицийскими железными дорогами, посвящает в детали железнодорожного дела, из коих до сих пор держу в памяти одну характерную мелочь.

Спрашивается, по какой причине на русских дорогах отдавалось предпочтение деревянным шпалам перед металлическими?

По словам инженера, это объясняется не богатством лесного материала, а главным образом тем, что деревянные шпалы способствуют лучшему сохранению дорогостоящего подвижного состава…

Знакомство с артельщиками, перевозящими под охраной конвоя денежные пакеты, дает повод к беседе на новые темы.

Вспоминаются эпизоды из прежнего, разбойные нападения «эксов» и революционеров различных мастей, во имя борьбы с самодержавным режимом, пополнявших подобным образом свои тощие кошельки. Вспоминается, между прочим, известное в свое время ограбление киевского государственного банка, на Липках,

передаваемое мне, как свидетельство очевидцев. Один из артельщиков при этом был даже ранен…

Незаметно протекает волынская ночь.

А утром — Киев в пышном зимнем уборе, мать городов русских, с золочеными маковками раскинутых на семи днепровских холмах церквей, с седоусым Днепром, с Купеческим садом в серебряной россыпи и тяжелых снеговых гроздьях, с бойким Крещатиком, с Семадени и с Франсуа, с веселой киевскою толпой, с розовощекими киевлянками, с суетой столичного тыла.

О, милый, столь любезный моему сердцу град, в котором и юность, и зрелость, и золотые детские годы отмечены неувядаемыми следами!..

Наступит час и я вновь возвращусь под твои изливающие негу покровы и снова моя нога, в поисках ласкового приюта, будет попирать твои гостеприимные стогна!..

Чем дальше на север, тем морознее и тоскливее…

Уже нет ничего, напоминающего вчерашнее веяние галицийской весны… Снег, снег и снег!.. Запорошенные леса и синеватый иней обледенелых полей… Нахохлившиеся вороны, проволока телеграфных столбов, станционные здания, прикорнувшие сиротливо в сумраке зимнего вечера…

Могилев — с комендантом и рослыми жандармами на перроне… Ставка — головной мозг тысячеверстного фронта, стратегический центр, от которого разбегается целая сеть микроскопических нервных сосудов, к Балтийскому морю, к болотам Полесья, к горным вершинам Карпат…

Высшие полководцы, представители союзных держав, царская свита и Его Величество — Император…

— Трах-тах-тах!.. Трах-тах-тах! — звенит металлическая симфония… И снова падает ночь, вторая ночь, в течение которой удается задремать лишь на рассвете.

Причина заключается в капитане Бобкове, капитане туркестанских стрелков, герое с тремя ранениями и Георгиевским крестом на груди.

Ах, совершенно непередаваема эта стрелковая одиссея, насыщенная тихими окопными ужасами, газами ядовитых снарядов, смрадом гниющих на проволоке человеческих тел!.. Человеческой доблестью, человеческой низостью, отвагой и малодушием, дерзким вызовом року и слепою покорностью, с пьяным лозунгом в периоды кратковременных тыловых развлечений:

— Хоть час да мой!..

Принадлежность к одному и тому же военному цеху придает нашей беседе специальный характер. Из-под спуда извлекается

старый багаж, исторические примеры, героические эпохи, начиная от сотворения мира до нынешних дней.

Дело, конечно, не в том, в какой мере та или иная боевая эпоха лишена налета романтики или, наоборот, насыщена ею. Дело в том, что не право, а меч является, по-видимому, высшим арбитром, призванным разрешать тяжбы между народами на нашей, трижды грешной земле. И это значение он сохранит еще на тысячелетия…

От седой древности, от разрушенных царств, со времен какого-нибудь вавилонского Гаммураби, этого Карла Великого далекой, покрытой пылью и прахом эпохи, от ассирийцев и финикиян, от персидского Ксеркса, мидийцев и парфян — в классический мир, к великому царю македонян, с гоплитами и македонской фалангой, к нумидийским всадникам, к Карфагену, к Ганнибалу и Каннам, к железным легионам Юлия Цезаря… От печенегов и скифов, вандалов и готов — к гуннам Атиллы и Каталаунским полям, к норманам, тевтонам и франкам, к Ронсевалю, к Роланду, к Карлу Мартелу, в такое же кровавое Средневековье…

От походов великолепного рыцарства — к сарацинам и маврам, к татарам Батыя и монголам Тимура, к оттоманам, венграм и византийцам… От чешских дружин Яна Жижки и кантональных «баталий» Арнольда Винкельрида — к кондотьерам Сфорцы и Малатесты, к ландскнехтам Валленштейна и Тилли, к Густаву Адольфу, к Тюренну и Евгению Савойскому, к Оливеру Кромвелю, к Карлу XII, к прусскому Фридриху, к русской Екатерине, к великой эпохе Наполеона…

А потом, столетие новейшей истории — гуманитарных наук, великих открытий и великих человеческих кровопусканий…

Да, меч, тяжелый железный меч, является, к сожалению, верховным судьей, и до конца мира, пока на земле остается два человеческих существа, ему, по всей вероятности, принадлежит решающее значение!

В конце концов, не есть ли это закон, вытекающий из основного закона борьбы за существование, который неизменно наблюдается в природе, в каждом органическом атоме?

Не есть ли это роковая необходимость или стихийное бедствие, не подвластное укрощению человеком, подобно потопу, вулканическим катаклизмам, голоду, моровому поветрию, уносящим миллионы живых и здоровых существ, в виде необходимой поправки к другому закону, вызывавшему, в свое время, опасения Мальтуса?..

Если сравнить прошлое с настоящим, трудно определить какому времени следует отдать предпочтение.

Основываясь на истории и военной науке, можно отметить, что древние и средние века заняты сплошь ремеслом массового человекоубийства. Это взаимоистребление на полях брани, когда противники сходились на длину меча или какой-нибудь сарисы, отличалось особым кровопролитием. Процент павших в рукопашном бою поражает своею относительною величиной, пленные истреблялись, мирное население уничтожалось, не исключая женщин и грудных младенцев. Болезни и мор довершали работу оружия.

В связи с новейшею эрою в истории человечества, в кровавых тяжбах между народами наблюдаются, правда, некоторые антракты. Однако, эти антракты компенсируются, в пользу бога войны, такими неисчислимыми жертвами, при очередных взрывах, с которыми трудно сравнить даже всю эпоху Крестовых походов или Тридцатилетней войны.

Статистики успели привести ряд интересных цифр.

Так, один день битвы на Марне повлек за собой расход чугуна и стали, равный выпущенному в течение всей франко-прусской войны 1870 года.

В боях под Верденом сгорело, как ворох соломы, двадцать восемь германских дивизий.

В мартовских боях на Сомме, ценою уничтожения шестидесяти четырех дивизий, немцы растреплют союзные армии французов и англичан, и поставят Антанту на край гибели.

После битвы «за гавани», последует еще более грандиозная «битва за Париже», в которой примет участие 152 германских дивизии. Наконец, последует «битва за мир», в которую будет брошено все.

В заключительных боях, решивших судьбу великой кампании, германские армии потеряют 700 000 ранеными и убитыми, 360 000 пленными, 6000 орудий, 33 000 пулеметов.

Соединенные Штаты Америки, в последние месяцы войны, расходуют на свою армию один мильон долларов в минуту.

Общая сумма военных издержек сражавшихся государств составит примерно 70 миллиардов английских фунтов.

Если разложить эту сумму серебряными рублями, они образуют гигантскую ленту, которою можно опоясать земной шар тысячу раз.

Количество убитых бойцов, поставленных в затылок друг другу, составит цепь, длиною в 7000 километров, почти равную протяжению Великого сибирского пути, от Петербурга до Владивостока.

Если убитых построить в густые колонны, по восемь человек в шеренге, и пропустить церемониальным маршем, подобный парад

займет десять суток.

Не подтверждают ли эти цифры ту мысль, что культура и цивилизация не внесли серьезного изменения в неумолимый закон, согласно которого, известная часть человечества, в известные сроки, вычеркивается одним ударом из списка живых существ?..

Никаким Гомерам не описать кровавый хаос, именуемый великой войной, не воспеть битв, равных коим не было на земле от сотворения мира!..

Беседа переходит снова на актуальные темы.

Само собой разумеется, капитан Бобков, как истинный патриот, верит в близкую победу над упорным противником. Ценою страшного напряжения, миллионами раненых и убитых, потрясением всего организма, заплатила Россия за свою темноту и техническую отсталость. Но победа — не за горами!..

Победа смоет позор поражений, даст стране уверенность в своей силе, укрепит зашатавшийся трон, проложит новые пути к могуществу, величию, славе!.. Император, с высоты престола, передает народу часть прав и, без сомнения, переходит в историю — Великим!..

Так говорит капитан Бобков.

А мне вспоминаются, в эту минуту, слова плененного под Трембовлей прусского майора:

— С целым миром воевать невозможно!.. Мы будем, вероятно, раздавлены!.. Но Николай II никогда не будет Великим!..

Эти слова сидят в мозгу, точно гвоздь.

Часто они приходят на ум и не понять их символического значения…

Россия надорвалась, это верно, но не сломан позвоночный хребет, не затронуто сердце… Еще последнее, небольшое усилие, месяц, другой, может быть, третий — и победа, решительная и окончательная, обеспечена…

Разве до некоторой степени не справедлива старая истина, что «Россия проигрывала сражения, но выигрывала кампании»?

Только бы продержаться!..

Только бы не сдать в последний момент!..

Тем более, что союзники не ставят активных задач. Наше состояние им известно. Весь цвет русского войска, весь кадр, гвардейские части, все лучшее и отборное, уложено в первый же год войны. Задача теперь заключается в том, чтобы стоять на занятой линии, приковать к ней поредевшие массы противника, лишить его возможности переброски сил на западный фронт, на котором решится судьба великой европейской трагедии…

Все это было так просто и ясно, что не вызывало никакого

сомнения, и картина грядущей победы рисовалась с полной определенностью.

Но слова майора смущали и волновали. Образ царя, маленького, незаметного человека, с застенчивою улыбкой, с неуверенными движениями, тихого, скромного, лишенного природой всех внутренних и внешних черт венценосца и самодержавного владыки, в самом деле не укладывался в сознании рядом с эпитетом — Великий…

В окно глядит белое зимнее утро.

Мороз становится все сильнее и стужа проникает в вагон. У царскосельского вокзала последняя остановка. Пассажиры наполняют проходы, обмениваются рукопожатиями, прощальными пожеланиями:

— Всяких благ!

— Иван Петрович, советую остановиться в «Астории»!

— Милости просим!..

— Не забудьте, Караванная № 12!..

— Весьма приятно! — бросает на прощанье капитан туркестанских стрелков. — Значит — победа, а конституция — дело девятое!..

Поезд подпрыгивает на стрелках. В мглистом петербургском тумане плывут семафоры, станционные будки, контуры серых зданий.

На дебаркадере пустынно.

— Носильщик!

Студент в синей фуражке, с красной повязкой на рукаве, подходит к дверям вагона и произносит с явно подчеркнутым торжеством:

— Ни носильщиков, ни извозчиков!.. В Петрограде — революция!

— То есть как?

— Ниспровержение существующего строя! — с улыбкой объясняет студент. — Господин полковник, рекомендую снять шашку!.. Военные подвергаются эксцессам!..

3. «Великая — Бескровная»

Эти слова, при всей своей неожиданности, не произвели на меня особого впечатления. Я отнесся к известию почти равнодушно и поймал себя тотчас на мысли:

— Революция!.. Черта с два!.. Армия в полном порядке!.. Мало ли что может прийти на ум в петроградском болоте!.. Забастовка каких-нибудь мастеровых — это еще не революция!

Да и большинство пассажиров отнеслось к словам студента без видимого волнения, недоумевающе переглянулись, пожали плечами, кое-кто сдержанно улыбнулся. Только одна, сравнительно уже немолодая дама, в каракулевом саке, с красивыми, строгими чертами, слегка побледневшего от утомительной ночи лица, кинулась обратно в вагон, упала на ближайший диван и истерически зарыдала:

— Я не хочу!.. Не надо!.. Назад, назад!

С группою офицеров, я направился к коменданту.

Упитанный прапорщик, в щегольском френче с выпущенным поверх крахмальным воротничком, какой-нибудь помощник присяжного поверенного или секретарь благотворительного дамского комитета, и стоящие рядом с ним, два усатых жандарма, кстати обезоруженные, что невольно бросалось в глаза, проявляли непозволительную растерянность.

Прапорщик не принимал ни вещей, ни оружия, которое некоторые из офицеров пытались ему вручить на сохранение, слезливо моргал глазами из под стекол пенсне и убедительно упрашивал покинуть комендантскую комнату, в которую по его словам «уже залетают пули».

Загородный проспект был заполнен толпой.

Это было море голов, над которыми, точно кровавые пятна, реяли красные флаги. Раздавалось пение марсельезы. С рыканьем пролетали автомобили, с какими-то статскими лицами, с молодыми девушками, с женщинами, с красными лоскутами в руках.

В серых солдатских шинелях, в серых папахах, сдвинутых на затылок, с пулеметными лентами, перехваченными крест на крест, с винтовками за плечами, беспорядочными, нестройными толпами, под предводительством каких-то чумазых, взлохмаченных, размахивавших офицерскими шашками оголтелых солдат, проходили воинские команды. В густой толпе продвигалась процессия, с алыми знаменами, с яркими золочеными лозунгами на полотнищах. Доносились слова нового гимна:

Вставай, проклятьем заклейменный!

Подобная же толпа заполняла окрестные улицы и широким потоком присоединялась к шествию…

Все это было до того противно и мерзко, в особенности, вид распущенного солдатского сброда, с наглыми лицами, с вызывающими движениями, все это находилось в таком резком противоречии с порядком на фронте, где царит смерть и железный закон дисциплины, что в груди закипала жестокая злоба.

Не удивление и не возмущение, а именно злоба проникала насквозь и готова была прорваться наружу. И хотелось, чтобы произошло то, что могло бы, при других обстоятельствах, произойти каждый час, каждый миг, и послужить грозным сигналом.

Хотелось, чтобы из первого же попавшегося переулка, какой-нибудь смельчак в офицерских погонах, какой-нибудь поручик или капитан, кто угодно, вынесся на галопе с парой пушчонок, снялся бы с передков и, на свой риск, на свой страх, дал бы два залпа картечью.

Неизвестно, что осталось бы от всей революции?..

Но ни поручиков, ни капитанов, ни полковников таких не было. А был ясный, морозный, солнечный день и упругий снег, мягко поскрипывавший под ногами… Были запруженные толпой улицы невской столицы, красные флаги и бродившие по всем направлениям солдаты петроградского гарнизона…

Никем не задерживаемый, но встречаемый иной раз враждебными взорами, приостанавливаясь на перекрестках и, с болью, ядом и горечью, наблюдая революционное зрелище, я дошел беспрепятственно до одной из рот Измайловского полка.

Старик швейцар, бывший семеновский унтер, Карл Иванович, снял галунную шапку:

— С приездом, барин!.. Что делается-то у нас, не приведи Господи!.. Народ совсем с ума посходил!

На лестнице встретилась квартирантка:

— С приездом, полковник!.. Позвольте пожать вашу руку!.. Дождались, наконец!.. Но вы, кажется, недовольны?

Дверь открыла мне Лялька.

От изумления, она сделала большие глаза, вскрикнула и, как всегда, с обычной застенчивостью, прикоснулась ко мне губам. Мой приезд ее чрезвычайно обрадовал и одновременно успокоил.

Вскоре в квартире раздался звонок.

Сосед, делопроизводитель Измайловского полка, счел долгом

поделиться только что полученными сведениями.

Министры, за исключением бесследно скрывшегося Протопопова, арестованы. Арестован и командующий войсками, старый, горбоносый, глубокомысленный педагог, генерал Хабалов.

Государственная дума, в составе Временного комитета, приняла полноту власти. Но одновременно образовался какой-то Совет рабочих и солдатских депутатов.

В городе беспорядки.

Толпа громит окружной суд на Литейном проспекте. Из Литовского замка освобождают уголовных преступников. Полиция разбежалась. В городе происходят убийства. Очень тревожно в Кронштадте, в котором бесчинствуют матросы.

С фронта, для подавления беспорядков, двигаются войска. Настроение глухое, смутное, обостренное. Можно ожидать всего.

— Господи Иисусе, что же это такое!

И взволнованный делопроизводитель усиленно засморкался…

«Великая — бескровная», как, впрочем, каждая революция, с первых шагов уже обагрилась человеческой кровью.

В нескольких шагах от моей квартиры, был растерзан, на глазах своей жены, командир эскадрона николаевского кавалерийского училища, Павлоградского гусарского полка, подполковник Георгий Левенец. Я близко знал его с детских лет, мы бы ли однокашниками по кадетскому корпусу и впоследствии встречались неоднократно.

Бедный Жора, талантливый спортсмен и скакун, славный, сердечный, доброжелательный малый, от головы до кончика ног преданный своему делу!..

Уже насчитывались десятки жертв среди офицеров петроградского гарнизона и столичной полиции.

В Царском Селе был поднят на штыки Третьего Гвардейского стрелкового полка, полковник Григорий Шестериков, мой одноклассник по тому же кадетскому корпусу, награжденный, в свое время, за выдающиеся успехи, тремя золотыми продольными фельдфебельскими нашивками. Это был твердый, решительный офицер, имевший мужество заявить своему батальону, что не нарушит царской присяги…

В Обводном канале, толпа утопила начальника одного из артиллерийских заводов, генерала Борделиуса. На Литейном мосту убит известный профессор, член Французской академии наук, генерал Забудский.

В Кронштадте, стал жертвой зверской расправы известный порт-артурский герой, главный командир и военный губернатор

Кронштадта, доблестный адмирал Вирен…

Движение ширилось, разрасталось.

Это уже не походило на уличное выступление кучки несчастных, сбитых с толку, рабочих. Это был бунт, умело подготовленный, тонко рассчитанный, удачно приуроченный в отношении времени и точки своего приложения. А может быть, впрочем, просто стихийный взрыв, стремительно выросший от поджога маленькой спичкой в бурное пламя?..

На другой день, я направился в Таврический дворец.

Ни трамваев, ни извозчиков, конечно, не было, и все расстояние, в несколько верст, пришлось сделать пешком, проходить по растревоженным, как гигантский муравейник, площадям и проспектам мечущегося в каком-то горяченном бреду города, наблюдать те же возбужденные толпы столичного люда, массы разнузданной черни, вышедших из повиновения и окончательно распоясавшихся солдат.

В Таврическом дворце, революционный пульс ощущался с особою силой.

Весь район был заполнен солдатами запасных частей — волынцами, московцами, лейб-гренадерами. К подъезду дворца ежеминутно подлетали автомобили. Незнакомые люди, в котелках, в кепках, в мерлушковых шапках кавказского типа, выходили к солдатам, произносили какие-то речи.

В самом дворце шныряли и бегали по всем направлениям люди — депутаты, офицеры, солдаты. Какие-то барышни раздавали бутерброды и разливали чай. В толпе выделялась грузная, характерная фигура председателя Думы — Родзянко. Неподалеку стоял и что-то, с убеждением и пафосом, говорил среброусый и среброустый депутат Милюков. Промчался полковник Генерального штаба, депутат Борис Энгельгардт, назначенный на должность революционного коменданта. Быстрой походкой прошел человек с темным ежиком на голове, с бледным, бритым, утомленным лицом провинциального женпремье. Это был — Керенский…

В одной из зал находились арестованные министры.

Сквозь застекленную дверь можно было видеть массивную фигуру Хвостова, высокого, седого, с черными щетинистыми бровями, бывшего министра юстиции Щегловитова, совсем дряхлого, всего только несколько дней тому назад назначенного премьера — князя Голицына, наконец, военного министра, мрачного метафизика-канцеляриста — генерала Беляева, в пенсне, с испуганным, унылым лицом, как нельзя больше оправдывавшего в эти минуты присвоенную ему кличку — Мертвой Головы…

Гул голосов на мгновенье стих.

В сопровождении гвардейцев Литовского полка, в раздавшейся толпе, подталкиваемый под зад прикладами, прошел плотный старик, без фуражки, с совершенно круглой, лысой, сверкавшей, как бильярдный шар головой, в шинели с красными генеральскими лацканами, с сорванными погонами. Лицо его выражало недоумение и растерянность.

Еще недавно, этот ловкий, умный, весьма обаятельный в обращении человек, обласканный царскими милостями, занимал пост военного министра. Женщины и привычки старого бонвивана его погубили. Смешно сказать, но в связи с военными неудачами, общественное мнение обвинило его даже в измене. Все это, конечно, вздор. Однако, преступная небрежность в подготовке военного аппарата и в снабжении армии не может быть отрицаема.

В эту минуту я пожалел не его, а тот мундир, который гаельмовался подобным образом.

В здании Армии и Флота, на Литейном проспекте, в три часа дня был назначен «офицерский митинг».

В зале было полно. Со всех сторон виднелись знакомые лица. Неподалеку от входных дверей, в ветхом, замызганном пальтишке, с предусмотрительно срезанными с погон царскими вензелями, стоял генерал-адъютант Куропаткин. Его лицо смышленного мужичка, хозяина чайной или плутоватого целовальника, выражало живейшее любопытство. В острых щелочках глаз скользила хитренькая улыбка.

Рядом стоял бывший варшавский генерал-губернатор, неудачный главнокомандующий Северо-Западным фронтом в первый период войны, Генерального штаба генерал Жилинский, болезненный, изможденный, с желтым геморроидальным лицом, с повисшими книзу усами, настоящий «живой труп», как его называли в столичных кругах.

Тут же находился финляндский генерал-губернатор, генерал от кавалерии Бекман, маленький, серьезный, сосредоточенный. Я знал его еще со времен моего детства, когда Бекман командовал в Ахтырке драгунским полком.

В желтых лампасах забайкальского казачьего войска, с желтыми лацканами шинели, стоял бывший командующий 1-й армией, генерал от кавалерии Павел Карлович Ренненкампф. Он находился под следствием за неудачно проведенную операцию в период лодзинских боев, был лишен придворного звания и окончательно растерял свои лавры знаменитого полководца. Его лицо Тараса Бульбы, с седыми подусниками и широким лоснящимся носом, выглядело мрачным и недовольным.

Я заметил в толпе и высокую, кривошеею фигуру бывшего военного министра, генерала от инфантерии Поливанова, главного интенданта Шуваева, начальника Генерального штаба Аверьянова, и целый ряд прочих, менее значительных лиц…

Но вот, молодой щеголеватый полковник, в погонах главного артиллерийского управления, золотых с белыми кантами, легким прыжком вскочил на стол, и, потрясая какой-то бумажкой, огласил заблаговременно составленную резолюцию. В этой резолюции, от имени офицеров столичного гарнизона и офицеров прибывших с фронта, приветствовался переворот и выражалась готовность поддержать силой Временный комитет Государственной думы. Никаких прений, никакого голосования, за недостатком якобы времени, не производилось.

Я вспоминаю, как на смену полковнику, на стол взобрался пожилой штабс-капитан армейской пехоты, с измятым, бородатым лицом, в грязной солдатской шинели.

— Господа офицеры! — выкрикнул штабс-капитан охрипшим голосом. — Я старый социал-демократ! Но в эту минуту я призываю всех к единению!.. Да здравствует армия!

Это звучало патриотически и вызвало шумные одобрения.

Потом на тот же стол вскочил молодой прапорщик:

— Господа офицеры!.. Я старый социал-революционер!.. Да здравствует революция!

Кто-то крикнул, кто-то зашикал. Оратор поспешно соскочил и смешался в толпе полушубков, бекешей, походных шинелей.

Было необычайным наблюдать выступления офицеров в роли ораторов, слышать их речи, признания в какой-то партийной принадлежности. Было удивительным видеть старых заслуженных генерал-адъютантов на этом оригинальном собрании. Подобное чувство разделялось, видимо, многими, выражалось в недоумевающих взглядах, в любопытных улыбках, в бросаемых замечаниях.

Потом, офицеры подходили по очереди к столам, за которыми сидели молодые поручики в модных английских френчах, при аксельбантах, с тщательно завитыми усиками и напомаженными проборами. Офицеры показывали удостоверение или отпускной билет и получали записку на право ношения оружия.

Настроение было неопределенное, отчасти подавленное, у отдельных офицеров, наоборот, даже приподнятое. Боевой капитан, с георгиевской ленточкой в петлице шинели, в котором я тотчас признал моего вчерашнего спутника, туркестанского капитана Бобкова, громко, во всеуслышание, бросал:

— Завтра мы покажем всей этой сволочи!.. Пусть только

придет гвардия с фронта!..

По слухам, какие-то войска, в самом деле двигались на Петроград.

Для обороны столицы были приняты известные меры. Депутат Гучков, принявший на себя обязанности военного министра, метался по всем вокзалам и, как утверждали, лично расставлял пушки. Вечером, его автомобиль подвергся загадочному обстрелу. Сидевший рядом с ним адъютант, молодой князь Вяземский, был тяжело ранен в живот и вскоре скончался…

Между тем, в рядах гарнизона, под влиянием этих слухов, стало наблюдаться некоторое смущение и даже тревога. Десять юнкерских училищ и подавляющее большинство офицерского состава было настроено отнюдь не революционно. Преображенцы и Семеновцы занимали выжидательную позицию.

С другой стороны, необходимо отметить, что разраставшееся движение захватило в свою орбиту не только уличные массы, но и другие круги населения — мелкую торгово-промышленную буржуазию, представителей свободных профессий, часть либеральствующего чиновничества и даже военных, по преимуществу, из центральных учреждений военного министерства. Я бы отметил здесь влияние некоторого гипноза, увлекающего, в этих случаях, человеческую натуру на путь протеста против существующей власти, и сочувствия тем, новым, широковещательным, пленяющим воображение лозунгам, которые несла на своих знаменах возбужденная, торжествующая толпа…

В этом лихорадочном настроении, полном предположений, противоречивых слухов, догадок протек еще день. Газеты не выходили. Обыватель получал сведения из официальных летучек и листков, разбрасываемых с автомобилей.

На следующий день, 2 марта, пронеслись слухи об отречении государя.

Еще через день, слухи стали совершившимся фактом. Двинутые на столицу войска получили приказание возвратиться. Настроение офицерского состава упало. Наблюдалось не столько сожаление, сколько тревога за будущее.

В самом деле, какое, в сущности, сожаление мог возбуждать, в идейном смысле, слабый, безвольный царь, окруживший себя близорукою камарильей и мужиком-проходимцем, с каким-то непонятным упрямством, до последней минуты цеплявшийся за свои самодержавные прерогативы, в критический час не сумевший защитить их мужественною рукою?

А между тем, по моему мнению, это было возможно.

Вопрос только в том, надолго ли удержался бы зашатавшийся

окончательно трон и не отразилось бы подавление революции отрицательным образом на будущих судьбах страны.

Впрочем, едва ли эти самые судьбы оказались бы ужаснее тех, которые выпали вскоре на долю России…

Интересно отметить подробность, при каких условиях образовалась первоначальная власть, в лице Комитета.

Всего три дня тому назад, 27 февраля, в связи с роспуском по высочайшему повелению Государственной думы, последняя выделила из своего состава так называемый Временный комитет, состоявший из двенадцати лиц — бывшего президиума и нескольких дополнительных членов.

Комитет не ставил себе широких задач и имел целью исключительно поддержание связи с правительством.

Однако, при вспыхнувших беспорядках в столице, эта связь тотчас прекратилась. Премьер-министр князь Голицын, военный министр генерал Беляев, командующий войсками генерал Хабалов не подавали ни малейших признаков жизни. Члены Временного комитета, при этих условиях, обратились к своему председателю, с предложением принять власть в свои руки.

Усматривая в этом акт революционного характера, Родзянко категорически отказался.

Между тем, беспорядки и волнения разрастались. Поджоги, бесчинства черни, убийства и самосуды стали принимать угрожающие формы. Временный комитет, заседая в кабинете председателя, продолжал настаивать на своем предложении. Верные правительству части тщетно пытались получить какие либо указания от высших военных властей. Все растерялось и разбежалось.

Командующий запасными частями лейб-гвардии Преображенского полка, полковник Мещеринов, сообщил вечером по телефону председателю прогрессивного блока, депутату Шидловскому, что полк передает себя в распоряжение Временного комитета.

Это известие послужило, кажется, решительным толчком в вполне естественных колебаниях Родзянки, побудив его уступить настойчивым просьбам Комитета:

— Я принимаю власть! — произнес Родзянко. — Прошу вас, господа, беспрекословно мне повиноваться!.. Александр Федорович! — добавил Родзянко, обращаясь к Керенскому. — Это, в особенности, относится к вам!..

Можно еще отметить, что подпольная организация, первоначальная ячейка будущего Совета рабочих и солдатских депутатов, ютившаяся где-то в районе Финляндского вокзала, на другой день была водворена, при содействии Керенского, в

здание Таврического дворца.

Улица и тюрьма вошли в храм…

С отречением государя наступило, как будто, некоторое успокоение, в том смысле, что исчез призрак ожидавшегося междоусобия и борьбы низложенной власти с новым правительством.

Одновременно началась травля царской семьи. Пошлые инсинуации, обвинения государя и государыни в измене, в порочной жизни, вплоть до обнажения альковных тайн, бессмысленная, глупая ложь не сходили со столбцов вновь появившихся газет. В этом отношении пальму первенства заслужил несомненно шебуевский «Пулемет», циничный листок, пользовавшийся известным успехом. Впрочем, и серьезные органы печати не щадили красок по адресу павшей династии.

Наблюдались позорные сцены.

На Невском проспекте, молодой прапорщик, стоя на табурете, размахивал карикатурным изображением бывшего императора:

— Николай Кровавый!.. Три целковых!.. Кто больше?

Аукцион этот не имел, впрочем, успеха. Проходившая публика, с брезгливостью, отворачивалась.

С вывески одной из аптек, кучка мастеровых срывала позолоченные гербы. Проходивший в военной форме француз, в расшитой галуном кепи, поднял за крыло валявшегося на панели императорского орла, швырнул высоко на воздух и закричал:

— Вив ля Репюблик!

Тяжело, больно и оскорбительно было наблюдать эти гнусные сцены, которые жгли точно удар хлыстом по лицу, которые свидетельствовали о забвении русскими людьми всяких границ национального достоинства, чести, великодушие.

К сведениям об отречении государя и наследника престола, я отнесся с неоправдываемым спокойствием:

— Вместо императора Николая II будет царь Михаил II!

Сведения об отречении великого князя, в свою очередь, не вызвали во мне особой тревоги:

— Учредительное собрание изберет форму правления!.. По всей вероятности это будет конституционная монархия!

Лялька, моя чуткая Лялька, не разделяла моего оптимизма:

— Милый, этим не кончится!

Она опускала глаза, но тотчас, как бы опасаясь моих укоров в душевной слабости, принимала бодрый, вполне решительный вид, прижималась ко мне и смеялась…

4. Прилуки

При всех недостатках, природа наградила меня, может быть, с излишнею щедростью, этим голубеньким оптимизмом, при наличии которого душевные скорпионы, муки, терзания и даже удары переносятся с относительной легкостью и, взамен их, снова и снова расцветают иллюзии с призрачными цветами.

Жизнь принесла не мало разочарований. Не раз и не два она заставила усомниться в чистоте человеческих отношений, в искренности друзей, в незыблемости, казалось, прочно сложившихся идеалов. Но эти разочарования и эти сомнения не носили трагический отпечаток и горький осадок их, разбавляемый новыми чувствами и впечатлениями, рассеивался с завидною быстротой.

Я хочу этим выразить, что даже столь драматические события, которые разыгрались на моих глазах в Петрограде, коренным образом расходившиеся с моими взглядами, с военной этикой и установившимися традициями, уничтожившие одним взмахом все те святыни, которым я поклонялся, не уничтожили св мне веры в русских людей и в светлое будущее России…

Да, конечно, очень часто впоследствии или вот, как сейчас, сидя снова в железнодорожном вагоне и направляясь к новому месту служения, я предаюсь меланхолическим думам и размышляю о происшедшем.

Как могло случиться, что трехвековой царский престол, с великим историческим прошлым, преодолевший все испытания, выпавшие на его долю, казалось вросший на вечные времена в русскую землю, оплот и святилище огромного большинства русских людей — в один час, в один миг, словно карточный домик под порывом случайного ветра, рухнул и уничтожен русскими же руками?

Как могло произойти то невероятное, на первый взгляд, явление, что не подпольные заговорщики, сеятели политической смуты, не изуверы и бунтари революционного и социалистического толка, а цвет русской интеллигенции, культурные представители буржуазии, аристократии и даже члены царского дома стали идейными вдохновителями государственного переворота, направленного против самодержавной власти?

Наконец, как случилось, что все бывшие верные слуги режима, патриоты и убежденные монархисты, высшие военачальники — великий князь Николай Николаевич, генерал-адъютанты Алексеев, Рузский, Брусилов, Сахаров, Эверт,

главнокомандующие фронтами и армиями, взнесенные на эти ступени и щедро обласканные тою же царскою властью, могли восстать против этой власти и потребовать отречения государя?

Если прибавить к этому, что решительно никто, за исключением разве единичных лиц, не пытался стать на защиту несчастного монарха, что все ближайшее окружение, в лице, казалось, наиболее преданных, испытанных слуг — дворцового коменданта свиты Его Величества генерала Воейкова, генерал-адъютанта адмирала Нилова, флигель-адъютантов Нарыкина, Мордвинова и других, императорского конвоя и прочих, наиболее близких к престолу частей, стремительно разбежались в самый ответственный час, картина трагического крушения становится потрясающей.

Да, старый «Люцернский Лев», сохраняющий в поколениях память о героической страже Тюльерийского дворца, может, в данном случае, сделать только недоумевающую гримасу!..

Дело, конечно, не в том, что фактическими исполнителями февральского бунта, решившего участь режима, стали запасные солдаты столичного гарнизона, мастеровые и петроградская чернь. Почва для этого выступления была психологически подготовлена другими и ими же был дан первый сигнал.

Драматизм положения заключается в том, что не столько самодержавный режим и монархическая идея, отнюдь нет, сколько неудачный выразитель их, в лице императора Николая II, в конце концов, отшатнул от себя те национально настроенные, монархические и даже консервативные круги, у которых преданность венценосцу не заслоняла чувства любви к России.

И я прихожу к краткому заключению:

Пробил двенадцатый час!.. Мера терпения переполнилась!.. Бессильная, бездарная, близорукая власть, в интересах страны, не могла, очевидно, больше существовать!

Вопрос теперь в том, насколько новая власть окажется совершеннее и могучее той, на голове которой держался до сих пор тяжелый венец Мономаха?..

Подобные размышления занимали меня всю дорогу, вплоть до того момента, когда простившись с вагоном и пересев в широкие штабные сани, я не очутился на прилукском большаке, утопавшем в мокром, грязном снегу.

Прилуки, как следовало ожидать, не уездный городок родной полтавской губернии, а небольшое местечко в десяти верстах от Минска — главной квартиры северо-западного фронта.

Штаб Второй кавалерийской дивизии помещался в роскошном замке минского помещика графа Адама Чапского. Начальником дивизии состоял генерал-лейтенант князь Юрий

Иванович Трубецкой.

Кто из петербуржцев, а особенно из военных, не помнит эту сухощавую, маленькую фигурку в синей черкеске императорского конвоя, в бородке французского короля Генриха IV, с рыжеватыми, чуть приподнятыми кверху усами, честного русского патриота и бессменного члена яхт-клуба?

Князь Трубецкой называл себя «опальным князем».

Я не знаю в чем выражалась эта опала. Смутно, впрочем, припоминается, что после смерти в Ливадии дворцового коменданта, генерал-адъютанта Дедюлина, и последовавших придворных интриг, командир императорского конвоя князь Трубецкой не получил освободившейся должности, на которую крепко рассчитывал и которую даже временно исполнял.

Это объяснялось тем, что с одной стороны, министр Двора, барон Фредерикс проводил в дворцовые коменданты своего зятя, генерала Воейкова. С другой стороны тем, что князь Трубецкой, третировавший Распутина подобно многим другим близким к императору лицам, как например — генерал князь Орлов, Джунковский, Комаров, флигель-адъютант полковник Дрентельн, мало-помалу утрачивал расположение царской четы.

Бывший конногвардеец, именитый, богатый, он имел данные сделать большую карьеру. Но при дворе больше не состоял, а с производством в генерал-лейтенанты лишился даже свитского звания…

Война застала князя в должности начальника Второй кавалерийской дивизии или, как ее называли — «лейб-дивизии», по той причине, что все четыре полка были шефскими и носили царские вензеля.

Князь Трубецкой, говоря откровенно, не был звонким военачальником и не обнаруживал больших боевых дарований. По складу натуры, это был мягкий, деликатный, изнеженный сибарит, предпочитавший послеобеденную партию в бридж всяким тактическим и стратегическим комбинациям в открытом поле. Князь пользовался, однако, в дивизии общей любовью и уважением. Подкупала его выдержка, спокойствие, широкая барская манера. Офицеры прозвали его в шутку — «Юрием Гордым».

С именем князя Юрия Трубецкого у меня связаны довольно острые воспоминания, относящиеся к первому периоду «великой бескровной» и, в частности, к тем дням, когда по особому назначению, два полка дивизии, Павлоградские гусары и казаки, были вызваны в Петроград для подавления беспорядков. С отречением государя, полки эти были тотчас возвращены обратно.

Штаб дивизии, как сказано выше, помещался во дворце графа Чапского, вместе с которым проживали два его сына-пажа и три молоденькие «грабянки». Дивизия, составлявшая личный резерв главнокомандующего генерала Гурко, как надежная кавалерийская часть, еще не затронутая революционной заразой, стояла сосредоточенно в окрестных деревнях.

Моя встреча с князем носила сердечный характер. Первая фраза, обращенная с улыбкой ко мне, была выражена в такой форме:

— Юрий Иванович, очень рад вашему назначению!.. Мы ведь с вами двойные тезки!

Нужно ли упоминать, что сердечные отношения с князем, установившиеся с первых же дней, не прерывались вплоть до его ухода. Работа протекала в условиях самой широкой самостоятельности, облегчаемая вдобавок давнишним знакомством со всем командным составом дивизии.

Командиры бригад — генералы Павлищев и Юрьев, командиры полков — полковники Протопопов, Муханов, граф Толь и Упорников, командиры конноартиллерийского дивизиона и батарей — полковник Бурков, Пассек, Бабанин, даже младшие офицеры — все это были мои старые знакомые и друзья, многие еще с того времени, когда в чине молодого капитана Генерального штаба я отбывал в одном из полков дивизии цензовое командование эскадроном.

Революционная пропаганда не преминула вскоре перекинуться на дивизию и, в связи со знаменитым «Приказом № 1», учреждением полковых комитетов, усиленной агитацией специальных агентов, в короткий срок затуманила солдатские головы.

Началось с того, что солдаты потребовали снятия с погон вензелей, тех императорских вензелей, которыми еще так недавно гордились.

Потом заставили командиров полков и офицеров, с красными бутоньерками в петлицах, принять участие в праздновании дня 1 мая. Один из офицеров, молодой горячий улан, барон Эльсен, растоптавший бутоньерку ногами, едва не был растерзан на части.

Потом, солдаты вспомнили восточно-прусский поход 1914 года и потребовали выдачи денежных сумм за «крупу», которую, объедаясь когда-то прусской индюшатиной, выплескивали вместе со щами из походных кухонь на землю.

Наконец, дело дошло до неисполнения приказаний.

— Первый эскадрон улан не вышел на боевую стрельбу! — доносил полковник Муханов.

— Второй эскадрон драгун не вышел на конное ученье! — доносил полковник Протопопов.

— Третий эскадрон гусар отказался нести службу на станции! — доносил полковник граф Толь.

Подобные донесения командиры полков направляли в штаб дивизии почти ежедневно. При этом, нужно заметить, что в основу неисполнения приказаний, солдаты клали некоторый, с их точки зрения, заслуживающий даже одобрения мотив.

Так например, отказ от боевой стрельбы объяснялся необходимостью беречь патроны отказ от выхода на конное ученье объяснялся требованием сбережения конского состава. Ясно, что подобными уловками прикрывалась апатия, лень, общая распущенность и упадок воинской дисциплины.

Главное внимание солдаты обратили все-таки на денежный ящик…

В то же самое время, в Минске, рядом со штабом главнокомандующего, известный впоследствии большевицкий комиссар Позерн, устраивал на площади митинги и открыто призывал солдат к бунту.

Главнокомандующий, генерал Гурко, угрожая отставкой, требовал от Временного правительства принятия решительных мер. Правительство продолжало свою самоубийственную политику. Катастрофа надвигалась неотвратимо. Это хорошо видели те, на которых правительство, еще более бездарное нежели царское, смотрело, как на опасных, неисправимых реакционеров.

Безумное заблуждение!

Я готов свидетельствовать честью, что вслед за отречением государя, освобожденный им от данной присяги на верность, уже далеко не составлявший прочную однородную касту, офицерский состав не держал в уме никаких мыслей о каком-либо контрперевороте, с целью реставрации, и готов был служить Временному правительству не за страх, а за совесть.

Это не было, к сожалению, понято.

Офицерский состав — основание всякой вооруженной силы, продолжал служить мишенью для очередной травли, оскорбительных выпадов, незаслуженных обвинений.

Армия стала на путь разложения.

Революция углублялась.

Нужно было иметь крепкие нервы и волю, чтобы не упасть духом, не потерять мужества и нести свой тяжелый крест до конца.

В эти безотрадные, невыразимо скорбные дни, князь Юрий Иванович Трубецкой держал себя с большим достоинством.

Только в интимной беседе звучала порой горечь бессилия, разочарование в русском солдате, опасение за печальный исход войны.

По личному приказанию главнокомандующего приходилось выполнять невероятные задачи. Благодаря такту и выдержке, князь выполнял их удачно…

Я не могу не вспомнить, при этом случае, поездки в казачий полк, еще какой-нибудь месяц тому назад носивший вензеля цесаревича.

В день Благовещения, сделав верхом по невылазной весенней распутице двадцать пять верст, князь прибыл в полк в тот момент, когда с минуты на минуту готова была пролиться кровь. Командир полка, полковник Упорников, и все офицеры были арестованы казаками. У каждой избы стоял часовой с вынутой шашкой. Офицерам были предъявлены чудовищные обвинения.

Бунт был поднят приезжим агитатором, субъектом совершенно дегенеративного вида, просидевшим войну в психиатрической лечебнице.

В зале сельской школы собралась возбужденная толпа казаков, две-три сотни потерявших человеческий образ людей, требовавших немедленной расправы. Злоба, наглость, животная трусость — все прорвалось наружу. Толпа угрожала, подступала с криками к князю, в своей обычной черкеске, с белым крестом на груди, спокойно стоявшем в кругу обезумевших казаков.

— Станичники, успокойтесь!

Только два слова, произнесенные твердым, властным голосом. Эти слова произвели впечатление. После получасовой беседы, волнение улеглось, офицеры были освобождены, агитатор исчез.

В виде компенсации, казаки упросили князя дать разрешение на уширение казачьих лампас на пол вершка — и весь инцидент был этим исчерпан…

В мае князь покинул дивизию.

Он попал в число генералов, подлежавших, в революционных условиях, исключению со службы, не столько, может быть, в порядке боевой аттестации, сколько за принадлежность к старой русской родовитой семье.

Когда я доложил телеграмму, князь усмехнулся и произнес:

— Усекновение младенцев!.. Это гучковские штучки!

Вторую кавалерийскую дивизию принял бывший командир лейб-улан Генерального штаба, генерал-майор Дмитрий Максимович Княжевич.

Я хорошо его знал, еще как кавалергардского офицера, как толкового, деятельного и, вместе с тем, весьма приятного

человека. Смелый охотник, увлекавшийся на досуге облавами на крупного зверя, главным образом, на медведя, достаточно энергичный и решительный офицер, он время от времени подвергался припадкам необъяснимой душевной прострации, и в эти периоды был склонен, как утверждали, к опрометчивым действиям.

Однако, за время совместной службы, я не обнаружил в моем начальнике ничего, что могло бы его выделить из среды вполне нормальных людей. Служебные отношения не оставляли желать ничего лучшего. Это были даже не отношения подчиненного и начальника, а совместная, дружная, деятельная работа по сохранению последних остатков дисциплины в частях, по успокоению солдатских масс и подбодрению офицерского состава.

К этому времени полки дивизии были сосредоточены на железнодорожных узлах — в Гомеле, Минске, Смоленске и Лунинце, для поддержания порядка на станциях и в окрестных районах.

Деятельность начальника штаба в этот период заключалась, главным образом, в беспрерывных поездках по отдельным частям, улаживании различных недоразумений между солдатами и офицерским составом, в борьбе с полковыми комитетами, находившихся под влиянием бессовестных демагогов.

Это была каторжная работа, трепавшая нервы до последней возможности! Сколько раз, в минуты душевной слабости, обуреваемый тягостными предчувствиями, я давал себе слово порвать с этою деятельностью, плюнуть на все и уйти.

Только доля офицера, сознающего необходимость оставаться на посту до последней минуты, заставляла изменять принятому решению и продолжать мученическую, в полном значении слова, работу.

Противник на фронте отошел на задний план. Все внимание поглощалось противником в собственных рядах, сплошь и рядом, незримым, тайным, подстерегающим из-за угла, сеящим недоверие, смуту, злобу, ожесточение, ненависть.

О, будь прокляты люди, создавшие из доблестной русской армии тупое, дикое, презренное стадо!

Моя деятельность приобрела вскоре своеобразные формы, о которых считаю уместным сказать несколько слов.

Однажды, глубокой ночью, меня разбудил телефон.

Начальник штаба главнокомандующего, по личному приказанию генерала Гурко, предложил мне немедленно выехать в Гомель.

Дело в том, что направлявшийся из Петрограда на фронт

эшелон лейб-гвардии Финляндского полка, со знаменитой третьей ротой «товарища Ленина», не пожелал ехать через Лунинец, а потребовал направления его через Киев. Необходимо, во что бы то ни стало, вплоть до применения силы, заставить эшелон подчиниться распоряжению.

Через час, сидя в вагоне, прицепленном к дежурному паровозу, я мчался в Гомель.

Я умышленно перегнал эшелон и к рассвету, прибыв на станцию, приступил к выполнению плана. Прежде всего, приказал к прибытию эшелона приготовить обед. Затем, вызвав начальника гарнизона, осведомился о настроении подчиненных ему людей, приказал выстроить на вокзале учебную роту, а командиру драгунского полка, ко времени прибытия эшелона, произвести в непосредственной близости полковое ученье.

На вопрос, можно ли рассчитывать на применение, в крайнем случае, огнестрельного оружия, и начальник гарнизона и командир полка меланхолически развели руками.

Кроме того, я вызвал председателя местного совдепа, токаря по металлу, объяснил обстановку, предложил оказать содействие. Польщенный вниманием, токарь изъявил полное согласие.

Но вот подошел эшелон. Батальон рослых гвардейцев, в порядке революционной свободы вываливший из вагонов в расстегнутых гимнастерках, без поясных ремней, босиком, устремился немедленно к котлам с дымящейся кашей и щами. Начальник эшелона, молодой прапорщик, робким голосом доложил, что батальон желает ехать на Киев.

Через полчаса начался первый акт.

Председатель совдепа взобрался на табурет и выступил с вполне разумной, горячей, делавшей честь его искренности, речью. Солдаты слушали с любопытством, видимо соглашались, но неожиданно, из задних рядов, раздался голос:

— На Киев, товарищи?

— На Киев! — загудела толпа.

Вопрос, клонившийся к благополучному завершению, был тотчас сорван. Тщетно председатель совдепа, надрываясь до хрипоты, пытался образумить людей, наконец, даже угрожал революционной расправой. Его больше не слушали, смеялись, дразнили, стягивали с трибуны. Обругав солдат последними словами, токарь слез с табурета и скрылся.

Моя попытка в свою очередь потерпела неудачу.

Нужно сказать, что маневрирование драгун и стоящая на перроне вооруженная учебная рота произвели все-таки известное впечатление. Солдаты насторожились, неожиданно подтянулись, с вниманием отнеслись к моим словам, уже кое-где послышались

отдельные возгласы:

— Да мы что!.. Мы согласны!.. Как начальство прикажет!

Но вот, из задних рядов снова раздался голос:

— На Киев, товарищи?

— На Киев! — загудела тысяча голосов…

До позднего вечера эшелон болтался на станции. Комендант, начальник службы движения, молодой прапорщик пытались меня убедить в бесцельности дальнейшего упорства. Я сам устал и готов был уже сознаться в бессилии, и даже вытащил бланк телеграммы, чтобы донести штабу фронта. В уме неожиданно мелькнула новая мысль, последнее средство, после которого оставалось сложить оружие.

Я вызвал делегатов и заявил, что разрешения не даю, что отступить от приказания главнокомандующего не смею, что если эшелон направится самовольно на Киев и у Финляндского полка, находящегося в окопах, по этой причине не окажется хлеба — вина за это упадет на эшелон и, смею думать, ему не поздоровится от своих же финляндских солдат.

Делегаты удалились. Через четверть часа неожиданно заявили, что эшелон подчиняется моему приказанию. Еще через четверть часа, с чувством огромного облегчения я наблюдал, как воинский поезд увозил эшелон лейб-гвардии Финляндского полка, с третьей ротой «товарища Ленина», в указанном ему направлении…

Сколько усилий, напряжения, времени отнимала такая работа по «уговариванию» солдат русской революционной армии и не становилась ли победа на фронте, при этих условиях, совершенно проблематичной?..

Первого июня я получил новое назначение.

Я был назначен начальником штаба Гвардейского кавалерийского корпуса. Я принял это известие с полным удовлетворением. По многим причинам оно отвечало моим желаниям.

Во первых, это было очень лестное назначение. Быть начальником штаба корпуса, составленного из двенадцати полков гвардейской конницы, являлось тем идеалом, о котором можно было только мечтать. Этот корпус — цвет русской вооруженной силы, наиболее блестящая ее единица, с лучшим командным, строевым и конским составом.

Но самое главное заключалось в том, что я ехал снова на юго-западный фронт, на котором провел два лучших боевых года, на котором революционный распад еще не отразился в такой губительной степени. В этом отношении, если перейти на язык математики, можно установить формулу: глубина революционной

заразы в войсках является величиной обратно пропорциональной удалению этих войск от столицы!..

И вот, я снова в железнодорожном вагоне.

Моей спутницей является красивая женщина средних лет, в костюме сестры милосердия. Она работает в какой-то общине, но сейчас покидает эту работу. В ее словах звучит горечь и разочарование. Все усилия, все заботы затрачены бесполезно:

— Я ненавижу теперь солдата! — говорит моя спутница.

Из дальнейшей беседы удается узнать, что она является супругой моего бывшего главнокомандующего, генерала Гурко. Те унижения и оскорбления, которые пришлось вынести этому твердому, стойкому, не склонному идти на компромиссы военачальнику, одному из тех полководцев, которыми русская армия вправе гордиться, отразились на психике этой женщины, через какой-нибудь год трагически погибшей на англо-французском фронте…

Потом моим спутником стал молодой инженер, просветивший меня по части, так называемых «товарных недель». Оказывается, что незадолго до печальной памяти февральских дней, по указаниям из центра, товарные составы задерживались на известных узловых пунктах.

С какой целью?..

Может быть, для ремонта или разгрузки?..

Ничего подобного!

Никакого ремонта не требовалось.

По словам инженера, это производилось из тонкого политического расчета. Эта мера имела целью уменьшить приток съестных припасов к столицам, создать недовольство, вызвать толпу на улицу и, инсценировав «революцию», иметь повод для заключения сепаратного мира.

Таков якобы был план правых кругов, преследовавший две цели, одним ударом убивавший двух зайцев: прекратить войну с монархической Германией и пресечь «крамолу» на улицах Петрограда.

Не знаю, насколько все это правдоподобно, равно, как и указание инженера на то, что ежедневные доклады начальников частей петроградского гарнизона о ненадежности войск умышленно клались под сукно, а также о причастности к перевороту представителей союзных держав, главным образом, английского посла, сэра Джорджа Бьюкенена.

Впоследствии, мне приходилось неоднократно выслушивать подтверждение этих слов. Но в эту минуту я не придавал им никакого значения.

Впрочем, кто знает тайные мотивы и побуждения, которыми

руководствовалась иностранная дипломатия в последний период императорского режима?..

5. «Гвардкав»

Гвардейский кавалерийский корпус, по сокращенной терминологии — «Гвардкав», стоявший на крайнем фланге Южного фронта, в составе 9-й армии генерала Эрдели, не принимал активного участия в знаменитом «июльском» наступлении, когда боевой порыв самых свободных войск в мире, завершился оглушительной катастрофой под Биткувом и Манаювом.

Действия корпуса свелись к артиллерийской атаке. Другими словами, тридцать шесть легких пушек «Леконара», то есть лейб-гвардии конной артиллерии, три дня подряд долбили западный берег Стохода, приковывая к этому участку внимание немцев. Одновременно производились поиски разведчиков и выступления отдельных ударных групп…

В общем развале армии, корпус имел право считаться одною из наиболее прочных и надежных частей.

Когда в соседней пехотной дивизии, солдаты подымали на штыки своего начальника, генерал-лейтенанта Гиршфельда, и заодно прибывшего армейского комиссара Линде, в Гвардейском кавалерийском корпусе еще не наблюдалось даже ни одного случая самоуправства или неисполнения приказаний.

Когда в той же пехотной дивизии «товарищи» пригрозили открыть огонь по нашей батарее, стрелявшей в противника, сотня атаманцев с нагайками, высланная в прикрытие артиллерии, очень быстро охладила их пыл.

Да, настроение в конных частях ни в какой степени нельзя было сравнивать с таковым в пехотных дивизиях, лишенных крепкого унтер-офицерского кадра, старого опытного офицерского состава.

Однако, отдельные лица были вполне на высоте положения. Я никогда не забуду того впечатления, которое на меня произвел один из молодых командиров полков, украшенный золотым оружием и Георгиевским крестом. К сожалению, в памяти не сохранилась его фамилия, но ясно припоминается эпизод, свидетельствующий об исключительной доблести.

Однажды, проходя по участку позиции и обнаружив в полосе между проволочным заграждением и бруствером развевавшийся на шесте белый флаг, сработанный из обыкновенной солдатской «дачки», командир полка обернулся к сопровождавшему его ротному командиру с приказанием:

— Убрать!

Молодой прапорщик, пригнувшись, сделал несколько робких

шагов и, не выдержав свиста пролетавших пуль, вернулся обратно.

И здесь, на глазах притаившихся в окопах солдат, командир перекрестился, вскочил на бруствер, спустился к проволочному заграждению и сорвал древко с полотнищем.

Я припоминаю как этот мужественный герой, сидя в своей убогой землянке, со слезами на глазах, передавал мне о том, в какое жалкое, трусливое, подлое стадо превратила революция его солдат. А последний приказ по дивизии требовал выделения из рядов полка ста отборных людей, для сформирования «ударного» батальона. Можно себе представить к чему сводилась боеспособность полка, с выделением этих людей?

Все это было, к сожалению, печальною истиной, по поводу которой можно было негодовать, терзаться и гореть пламенной ненавистью к разрушителям армии, сознательно и несознательно творившим великое преступление.

Но остановить разрушение и вдохнуть в армию прежний дух, при создавшейся обстановке, казалось было уже невозможно…

Штаб Гвардейского кавалерийского корпуса, занимавшего позицию на Стоходе, по обе стороны железнодорожного полотна на Ковель, имея в ближнем тылу станцию Переспа, помещался в усадьбе Пожарки.

Владелица этой усадьбы, некая польская графиня, по имевшимся сведениям, сбежала с каким-то австрийским полковником, оставив в нашем распоряжении обширный барский палац и старый запущенный парк, не лишенный поэтического очарования.

Командиром корпуса, после генерала Хана Нахичеванского, смелого, но достаточно невежественного в военном смысле начальника, отрешенного от командования с первых дней революции, был назначен молодой генерал-лейтенант Арсеньев.

Евгений Константинович Арсеньев, бывший петергофский улан, участник китайской и японской кампаний, считался блестящим строевым офицером. Высокий, стройный блондин, с приветливыми чертами лица, он принадлежал к числу тех людей, к которым судьба отнеслась с исключительной благосклонностью. Выделившись из среды сверстников боевыми заслугами, генерал Арсеньев в короткий срок достиг высоких военных ступеней.

Война застала его в чине полковника и в звании флигель-адъютанта. Награжденный Георгиевским крестом, минуя командование армейским полком, Арсеньев, в изъятие общего правила, получил полк синих гатчинских кирасир, после непродолжительного командования бригадой и Первой гвардейской кавалерийской дивизией, принял настоящую

должность.

Я же стал начальником его штаба вслед за самоубийством моего предшественника, генерала барона Винекена, не выдержавшего революционного потрясения и покончившего с собой в припадке черной меланхолии.

Мои отношения с генералом Арсеньевым приняли, с первых шагов, безукоризненную форму. Несомненно здесь играло роль и давнишнее знакомство. С другой стороны, натура моего молодого начальника располагала к самой сердечной симпатии.

Независимо, этого, штабная работа облегчалась содействием целого ряда даровитых помощников, из которых я должен назвать Генерального штаба подполковника Дурново, капитана Баторского и капитана Иордана, конногвардейца штабс-ротмистра барона Врангеля, конногренадера штабс-ротмистра Лайминга, гродненского гусара поручика Поклевского-Козелл и штабс-ротмистра барона Дервиза, лейб-драгуна поручика Феденко-Проценко и других.

Наконец, весь командный состав, начальники всех трех дивизий — генералы князь Эристов, Абалешев, Арапов, командиры бригад и командиры полков — полковник князь Леонид Блецкий, Аленич, князь Бекович-Черкасский, Данилов, Навроцкий, Миклашевский, князь Кантакузин, Гребенщиков, князь Эристов, Лазарев, Орлов и Греков, командир лейб-гвардии конной артиллерии полковник барон Велио, даже главноуполномоченный отдела Красного Креста, бывший курляндский губернатор Набоков — все эти лица были мне близко знакомы и удельный вес каждого не составлял для меня тайны.

Из начальников отдельных частей, в особенности, мне бы хотелось отметить командиров обоих уланских полков — полковников князя Эристова и Миклашевского.

Сравнительно прочное состояние частей, при большом проценте старых солдат, блестящем офицерском составе и богато обеспеченной материальной части, выделяли Гвардейский кавалерийский корпус из состава всей русской армии.

В сущности, это не был корпус. Это была, в свою очередь, маленькая армия, если принять во внимание, что кроме трех конных дивизий и трех спешенных стрелковых полков, к корпусу было придано огромное количество вспомогательных единиц — автомобильных колонн, санитарного, дезинфекционного, шоссейно-дорожного отрядов, гвардейского саперного батальона, инженерного отделения радиотелеграфной станции, починочной мастерской, банного отряда и даже отделения военно-экономического общества.

Все это усложняло управление корпусом, лишало его необходимой подвижности, крайне затрудняло расквартирование. Благодаря боевой обстановке, разложение корпуса шло медленным темпом, части не выходили из подчинения, строевой порядок почти не нарушался.

Это происходило, к сожалению, лишь до тех пор, пока корпус не сняли с позиции, возложив ее оборону на 4-й конный корпус генерала Гилленшмидта, под временным командованием генерала Краснова, и не отвели в армейский резерв, в районе станции Шепетовка.

Кстати, несколько слов о Якове Гилленшмидте.

Многие помнят, конечно, этого бравого, красивого, стройного офицера еще по тому времени, когда затянутый в капитанский мундир гвардейского конного артиллериста, он с достойным успехом, вместе с братом своим Александром, выступал на тысячных гунтерах, на конкурах Михайловского манежа.

Отличившись на русско-японской войне, в хайченском набеге, получив Георгиевский крест, свитское звание, Гилленшмидт стал на путь блестящей карьеры, командуя последовательно Нижегородским драгунским полком, кирасирами Его Величества, кавалерийской дивизией, наконец, конным корпусом, сохранив до конца верность монархическим принципам.

После отречения государя, генерал Гилленшмидт надел в последний раз бережно хранившуюся старую шинель с царскими вензелями, собрал офицеров своего штаба и обратился к ним с краткой, но выразительной речью:

— Петербургские мастеровые устроили революцию!.. Император отрекся!.. Да здравствует Его Величество Государь Император!

Эта речь стала известной корпусному комитету, поднялась травля и Гилленшмидт ушел…

Части Гвардейского кавалерийского корпуса были сосредоточены на крупных железнодорожных узлах — в Ровно, Казатине, Киеве, Знаменке, для поддержания порядка на станциях. Отдельные эскадроны и даже полки высылались во все стороны для усмирения бунтующей революционной солдатчины.

Между прочим, дивизион лейб-улан принял участие в разгоне солдатских банд, громивших Славуту. К сожалению, дивизион прибыл поздно. Знаменитый замок уже горел, а его владелец, престарелый князь Сангушко, был убит вместе со своей племянницей и ксендзом.

Растлевающее влияние тыла не замедлило отразиться на корпусе самым отрицательным образом…

Сколько воспоминаний, и светлых и мрачных, воскрешающих

яркие страницы прежней жизни и терзающих сердце картинами бесславного заката старой императорской гвардии!

Трудно передать все пережитое и совсем невозможно воплотить в небольшом очерке ту бесконечную вереницу отдельных сцен, смену лиц, настроений, полный упадок духа и прилив свежей энергии, непрестанную борьбу со злыми, темными, разрушительными силами, задавшимися целью раздавить последний осколок старого русского войска.

Сколько исключительной доблести было проявлено офицерским составом в этой непосильной борьбе, сколько героических подвигов, затмевающих, может быть, все виденное на фронте!..

Все наиболее стойкое, твердое, не склонное идти на уступки революционной стихии мало-помалу было вынуждено оставлять свои полки, прикомандировываться к авиационным частям и покидать, вместе с тем, ряды гвардейского корпуса. Ставить препятствия этим уходам было нельзя. Можно было только наблюдать с глубокою грустью, как с каждым днем редеют полки, бригады, дивизии.

В некоторых полках, как например в лейб-гусарском — избранном полку русской конницы, в котором проходили службу едва ли не все русские императоры, насчитывалось не более десяти человек.

Князь Леонид Елецкий, только что назначенный командиром кавалергардов, мой однокашник и друг по николаевскому училищу, под давлением солдатской массы, был вынужден оставить полк.

Высокие назначения потеряли соблазн. Назначенный начальником Первой гвардейской кавалерийской дивизии, будущий донской атаман, генерал Африкан Петрович Богаевский, кажется, с сожалением расстался со своей забайкальской дивизией.

В среде высших начальников стали наблюдаться апатия и растерянность. Начальник Второй гвардейской дивизии, генерал Абалешев, окончательно потерял «сердце» и упал духом. Не предчувствовал ли, несчастный, свою трагическую кончину?

Нельзя было совершенно узнать командира одной из бригад, генерала Маслова. В запущенной, доходившей до пояса бороде, он напоминал какого-то схимника, и никто не признал бы в нем бывшего щеголеватого лейб-улана, бессменного дирижера на придворных балах…

Крайне раздражала и требовала огромного расхода энергии борьба с агитаторами-солдатами. На каждом митинге приходилось брать слово, в спокойной, сдержанной форме

уличать во лжи предыдущих ораторов, путем цифровых данных разбивать их аргументы, приводить соответствующие примеры, взывать к патриотизму невежественных людей, будить совесть, вносить необходимое успокоение.

Лично с агитаторами приходилось вести, с глазу на глаз, продолжительные беседы и, под предлогом соблазнительной служебной командировки или отпуска, удалять из частей. Между тем, руки чесались от желания выхватить револьвер и просверлить негодяю череп.

Упадок общего настроения, гнетущие сознание мысли, потеря веры в благополучный исход войны — отражались на всем. Даже генерал Арсеньев, общий любимец корпуса, хладнокровный, спокойный, не терявший присущего самообладания в острые минуты боевых напряжений мало-помалу утрачивал душевное равновесие и, в интимной беседе, сознавал бессилие дальнейшей борьбы.

Нужно ли говорить, что при такой обстановке служба теряла свое значение и что пожалованный мне, за выслугу лет, чин генерала не наполнил меня особым восторгом…

В конце августа, в дни так называемого «корниловского выступления», когда 3-й конный корпус генерала Крымова медленно приближался к столице, фронт неожиданно подтянулся.

Снова загорелась надежда. Войсковая масса притихла в ожидании результатов похода. Казалось, что злокачественная революционная язва, свившая гнездо на тлетворных берегах Невы, будет, наконец, вскрыта железной рукой и вырвана из русского тела.

Это был последний, может быть, представившийся случай предотвратить надвигавшуюся анархию.

Нужно заметить еще раз, что с отречением государя, число сторонников реставрации значительно сократилось, вернее их вовсе не стало. Было, правда, несколько гвардейских офицеров, не пожелавших принимать новой присяги и вручивших рапорты об отставке. Временное правительство, насколько известно, не чинило препятствий и дало этим рапортам ход.

В своей же основной массе, офицерский состав честно протянул руку Временному правительству, как единственной законной власти.

Не предугадывая ее дальнейших форм, не разбираясь по своей политической безграмотности в ее оттенках, офицерский состав, уже сильно разбавленный по своему классовому признаку другим элементом, состоявший уже на девять десятых из демократических слоев населения, считал новую власть

национальною русскою властью, которая, как говорилось в ее обращении, «в единении со всеми живыми силами страны, направит армию на путь долгожданной победы и заключения славного мира».

Временное правительство, становясь, между тем, все бессильнее и ничтожнее, бесславно катилось к гибели и увлекало за собою, страну. Оно мало-помалу отшатнуло от себя офицерский состав. В сознании последнего, единственным выходом из положения представлялась военная диктатура, которая могла бы, опираясь на остатки вооруженной силы, восстановить авторитет власти и пресечь дальнейшее углубление революции.

Имя такого диктатора, если и не произносилось вслух, зато было у всех на устах. С именем Верховного главнокомандующего, популярного генерала Лавра Георгиевича Корнилова, связывалась последняя надежда…

В один из этих последних, роковых дней, сделав в автомобиле около двухсот верст, я прибыл в Ставку фронта — в Бердичев.

На вокзале повстречался со старым приятелем, генералом Константином Константиновичем Мамантовым.

Как истинный спортсмен, он только что совершил пробег из Житомира и вестовой казак вываживал его запотевшую чистокровную английскую лошадь.

С Мамантовым я не виделся больше двух лет, с тех первых дней войны, когда он командовал в нашей дивизии 6-м Донским казачьим полком. Он нисколько не изменился, так же юношески стройна была его фигура, так же свежо и красиво было лицо, и разве только в пушистых усах засеребрились кое-где предательские нити…

На одной из улиц встретил бывшего командующего 2-й армией, своего давнишнего начальника, генерала от кавалерии Сергея Михайловича Шейдемана, хорошо знавшего меня еще со времен моей юности. Он дружески обнял меня, расцеловал и от души рассмеялся, увидев на моих плечах генеральские погоны.

Да, время бежит с удивительной быстротой.

Бедный старик!.. Через какой-нибудь год, он погибнет в большевицкой тюрьме… А Константин Константинович Мамантов прогремит на Добровольческом юге, в качестве смелого партизана и, заговоренный от вражеской пули, станет жертвою сыпняка…

Едва простившись и не успев даже подъехать к зданию штаба, я стал свидетелем совершенно необычайной картины.

Оренбургский казачий полк, с шашками наголо, скакал наметом по главной улице. Навстречу ему, из ближайшего

переулка, выкатились три броневые машины. Публика шарахнулась в сторону. Казаки остановились, подумали и повернули назад.

А в вестибюле штаба взорам представилась новая сцена.

Группа молодых офицеров, потрясая обнаженными шашками и револьверами, кричала:

— Солдаты и офицеры, не предадим генерала Корнилова!

В другом углу, более многочисленная группа солдат, размахивая винтовками, кричала в свою очередь:

— Товарищи!.. Смерть изменнику, генералу Корнилову!

Штаб находился в состоянии полной растерянности. Из комнаты в комнату бегали офицеры, чиновники, писаря, взволнованные до предела, с искаженными лицами, с дрожавшими от испуга руками. В комнаты врывались вооруженные банды солдат, кого-то арестовывали, куда-то уводили. По слухам, уже арестован главнокомандующий фронтом генерал Деникин, его молодой начальник штаба генерал Марков, командующий 9-й армией генерал Эрдели, генералы Орлов, Эльснер и другие.

По совету друзей, я не задерживался. Мне удалось избегнуть ареста, проскочить через одну из застав, перехвативших дороги из города, и к вечеру прибыть в штаб Гвардейского кавалерийского корпуса, чтобы совершенно неожиданно очутиться на скамье подсудимых…

В тенистом парке усадьбы, за несколькими столами, с зажженными лампами сидела группа солдат. Шло экстренное заседание корпусного комитета, под председательством лейб-гусарского унтер-офицера Тарасова, достаточно толково, к слову сказать, разбиравшегося в своих высоких обязанностях. Настроение было крайне приподнятое. Сотни солдат сгрудились у столов. Другие, прибыв по вызову, с лошадьми, с походными сумками, с полным вооружением, стояли под каштанами старого парка. По адресу генерала Корнилова неслись угрожающие выкрики:

— Изменник!.. Предатель!.. Смерть генералу Корнилову!

На повестке стоял вопрос:

«Арестовать ли офицеров гвардейского корпуса за сочувствие выступлению и за принадлежность к офицерскому союзу?»

Начались прения.

Много злобы, ненависти, грубой и беззастенчивой лжи пришлось выслушать от целого ряда доморощенных демагогов, как своих собственных, так и не замедливших появиться из ближайшего тыла. Бравых кавалеристов «Гвардкава» трудно было узнать. Неудача корниловского выступления резко изменила

настроение солдатских масс.

Большинством голосов прения были, наконец, прекращены. Офицерам не дали высказаться. Приступили к выработке резолюции. Положение, если можно так выразиться, спас унтер-офицер из охотников, лейб-улан Нехорошев, маленький московский присяжный поверенный, очень искусно сказавший несколько заключительных слов и повлиявший на смягчение резолюции.

Импровизированный суд сменил гнев на милость и ограничился лишь выносом офицерскому составу «предупреждения»…

Последний этап связан с перемещением корпуса в еще более глубокий тыл, по соседству со Староконстантиновым, в котором находился штаб 7-й армии, генерала Рерберга.

Части корпуса, по санитарным условиям, были расквартированы в широком районе, а корпусный штаб помещался в Драчах, усадьбе польского пана Заблоцкого.

К этому периоду относятся наиболее горькие воспоминания.

Ни комфортабельная усадьба, ни изысканная любезность помещика, ни свежая девичья прелесть его миловидных племянниц — панн Ирены и Гальжки, щебетавших звонкими голосами шопеновские романсы или патриотический гимн — «Еще Польска не сгинела!», не заглушили в груди чувства невыразимой тоски, гнета, может быть, даже отчаяния.

Все валилось из рук… Терялся проблеск малейшей надежды… Катастрофа надвигалась неумолимо…

Однажды ко мне явился командир стрелкового полка Третьей гвардейской кавалерийской дивизии, молодой уланский полковник барон Притвиц, остроумный, находчивый, не теряющий доброго настроения офицер, переименованный друзьями, в шутку, на демократический лад — Притвичуком.

Барон, расстроенный совсем не на шутку, докладывает о серьезной вспышке в полку и умоляет прислать армейского комиссара.

В тот же день прибыл Тихон Иванович Макалыш.

Это был пожилой человек, с седыми щетинистыми щеками и усами, одетый почему-то в австрийскую куртку, с огромным маузером на поясном ремне. В дореволюционное время Тихон Иванович занимал скромную должность монтера в севастопольском адмиральском дворце. В настоящее время, за выдающиеся заслуги и за вполне сознательное отношение к завоеваниям революции, состоял в роли армейского комиссара.

Тихон Иванович Макалыш был принят в штабе корпуса подобающим его высокому положению образом, информирован о

создавшемся положении в стрелковом полку, приглашен к обеденному столу.

В его распоряжение был отдан один из самых исправных «роллс-ройсов», на котором Тихон Иванович, по окончании трапезы, отбыл в взбунтовавшийся полк.

К вечеру Тихон Иванович Макалыш и полковник Притвиц, оба ликующие от одержанной ими победы, вернулись в штаб корпуса. В стрелковом полку состоялось полное примирение между солдатами и офицерским составом. Комиссар, на глазах у всего полка, облобызался с командиром, солдаты покачали и подбросили обоих на воздух, инцидент был ликвидирован самым благополучным образом.

В ближайшие дни, поощренный успехом, Тихон Иванович предпринял поездку по остальным частям корпуса, всюду внес необходимое успокоение, везде был предметом дружных, шумных, неподдельных оваций. А в лейб-гусарском полку, терзая рыбу ножом и чокаясь с офицерами полным стаканом, до того был обласкан, что застрял на трое суток.

К сожалению, через какую-нибудь неделю, авторитет комиссара поблек. Солдаты стали встречать его обидным хохотом, свистом, оскорбительными словами:

— Переодетый генерал!

Настроение в частях вновь обострилось. Печальные инциденты следовали один за другим. Вмешательство комиссара подливало масло в огонь.

И Тихон Иванович уехал.

И расставаясь с офицерами штаба, не выдержал, оросил щетинистые щеки слезами и произнес:

— Спасибо, друзья!.. Век буду помнить.

Потом, приподнявшись на сидении автомобиля и погрозив кулаком в пространство, добавил по неизвестному адресу:

— Скоты!

Через месяц от доблестного «Гвардкава» осталось одно только воспоминание…

Травился фураж, сжигался семенной клевер, спускались пруды для ловли племенных маток. По всем направлениям трещали выстрелы и вдогонку стаям пролетных гусей свистели пули. Окрестные помещики забрасывали штаб бесконечными жалобами и приезжал даже владелец соседнего «Августина», претендент на корону польского короля, граф Август Потоцкий.

Революция углублялась.

В борьбе Корнилова с Керенским, последний одержал решительную победу… Армию обезглавили… У офицерского состава вынули душу…

«Гвардкав» рассыпался с молниеносной быстротой.

Но в утешение нужно сказать, что развал произошел без пролития крови, без насилий и тех обид, которые выпали на долю офицерского состава в других частях многострадальной императорской армии.

Солдаты поделили между собою деньги и полковое имущество, распродали мужикам лишние вещи и попрощавшись, в отдельных случаях, даже горячо со своими офицерами, растеклись по домам — кто одиночным порядком, кто целой компанией, кто пешком, кто по железной дороге, кто в конном строе, целыми эскадронами.

В частности, мой вестовой, Пугачов Василий, даже растрогал меня своею преданностью и бескорыстием. И только после строгого приказа принял на память о совместной службе в «Гвардкаве» скромный денежный подарок и полосатую английскую попону, из которой скроил себе великолепную тужурку.

6. Загадка Крымова

В памятные осенние дни семнадцатого года, когда после очередного июльского выступления большевиков было решено, на основе переговоров Керенского с Корниловым, занять Петроград войсками с фронта, выбор Верховного главнокомандующего остановился на генерале Крымове.

Керенский пытался было противодействовать этому назначению, но Корнилов настоял на своем.

Я считаю долгом посвятить несколько слов этому главному действующему лицу неудавшегося корниловского похода, которого знал очень близко еще со времени совместных академических дней, с которым неоднократно встречался впоследствии, который производил на меня впечатление человека, отмеченного судьбой…

Штабс-капитан артиллерии Александр Михайлович Крымов окончил академию Генерального штаба в 1902 году.

Крупный, представительный, рослый, он импонирует не только фигурой. Сильная, волевая натура, апломб, безапелляционность суждений, несколько грубоватая, может быть, самоуверенность, какая-то особая скептически-насмешливая манера и многое из того, что не поддается точному определению, выделяют его из среды сверстников.

Даже академическое начальство отмечает его по-своему и, не в пример прочим молодым слушателям, относится к артиллерийскому штабс-капитану с чувством исключительного доверия и некоторой завидной почтительности. Это не отношение профессора к ученику, а нечто напоминающее отношение равного к равному. Крымов серьезен, обладает ясным и трезвым мышлением, определенность и логика звучат в каждой фразе…

Крымов отличается на русско-японской войне.

Стойкое упорство 4-го зарубаевского корпуса на ляоянских позициях, отбившего все атаки и завалившего подступы японскими трупами, обязано твердости молодого капитана Крымова, временно исполнявшего обязанности начальника штаба.

Генерал Зарубаев, впоследствии генерал-адъютант и инспектор пехоты, имел видимо основания, указывая на свой Георгиевский крест, говорить:

— Этот крест — это Крымову спасибо!

Одновременно, добродушный старик вспоминал, с улыбкой, крутой нрав своего ближайшего помощника, не очень сдержанного на язык, не стеснявшегося порой в выражениях даже

по адресу прямого начальника. В этих случаях, генерал Зарубаев посылал в соседнюю комнату своего адъютанта с просьбой, чтобы «капитан не так громко его ругал!»

По аналогии мелькает исторический эпизод.

Сравнивая в этом случае Крымова с маршалом Неем и, с большою натяжкой, сопоставляя старика Зарубаева Наполеону, можно провести параллель, когда после бородинского боя, император французов предлагал «храбрейшему из храбрых» умерить свой пыл и неподходящие выражения…

С окончанием Русско-японской войны, Крымов возвращается в Петербург, читает лекции в военных училищах, заведует практическими занятиями в офицерской кавалерийской школе.

Крымов остроумен, насмешлив. Однако, это не легкомысленный весельчак, балагур, зубоскал, склонный потешать окружающих при всяком удобном и неудобном случае. Это человек несколько замкнутый, молчаливый, не способный кидать слова на ветер, человек с весом, в буквальном и в переносном смысле. Шутка в его устах приобретает особую силу…

Вспоминается такой случай.

На красносельском военном поле, полковник Крымов руководит тактическими занятиями офицеров.

Генерал Брусилов — начальник школы, полковник Химец — его помощник. Временно исполнявший обязанности последнего, молодой, хлыщеватый полковник Божерянов, гарцуя на чистокровной лошади, подъезжает к Крымову и небрежным тоном, в роли контролирующего начальника, задает вопрос:

— Полковник, что вы здесь делаете?

— Решаем тактические задачи! — отвечает спокойно Крымов.

— Вздор! — усмехнувшись говорит Божерянов. — Предлагаю решить кавалерийскую задачу!

Дав шпоры, Божерянов скачет на стоящий перед ним барьер. Офицеры, во главе в Крымовым, несутся за ним.

Происходит изумительный случай. Лошадь на всем скаку останавливается перед препятствием и длинные ноги полковника Божерянова, обтянутые красным сукном, мелькают в воздухе. Через мгновенье, лошадь скачет по красносельскому полю, оглашая его радостным ржаньем, а полковник, с растерянным видом, сидит на земле, смахивая пыль со своих циркулей, в красных гусарских чакчирах.

— Это все, что вы имели нам предъявить? — спокойно говорит Крымов. — Плохо решаете вы кавалерийские задачи!

И, при дружном хохоте офицеров, отъезжает прочь.

Вскоре, Крымов принимает в командование Аргунский полк

Забайкальского казачьего войска и проводит два года в глухом даурском урочище, на границе с Монголией.

Великая война застает его в должности генерала для поручений при командующем 1-й армией.

На Крымова возлагаются особые функции. В случае осложнения на каком либо участке фронта, туда командируется Крымов.

Вспоминается такой эпизод.

Шестая кавалерийская дивизия получила серьезную боевую задачу. Дивизия вела бой в спешенном порядке. Положение становилось опасным. Отскочившие соседи обнажили фланги и дивизии угрожал обход. Пули залетали уже на позицию артиллерии и батареи прекратили огонь. Начальник дивизии, после короткого колебания, отдал приказ об отходе.

В самый разгар напряженных действий прибыл генерал Крымов. Оглядевшись, оценив обстановку, он слез с коня, лег на траву, набросал на бланке полевой книжки несколько строк и молча протянул начальнику дивизии:

«От имени командующего армией, приказываю перейти в наступление!»

— Слушаю, ваше превосходительство! — ответил, взяв почтительно под козырек, несколько оторопевший, значительно старший в чине начальник дивизии, неотразимый Нарцисс тевтонских кровей, генерал-лейтенант Владимир Христофорович Рооп. Был отдан новый приказ… «Ордр — контр-ордр», и в результате — блестящий успех… Противник не выдержал и отступил… Позиция была удержана…

В течение войны, Крымов успешно командует Уссурийской конной бригадой, потом дивизией, награждается Георгиевским крестом и оружием, получает в командование 3-й конный корпус. Значительно опередив всех своих сверстников, Крымов уже выдвигается на пост командующего армией. За Крымовым устанавливается репутация твердого, решительного начальника.

Человек прогрессивного образа мыслей и, вместе с тем, монархист по убеждениям, Крымов очень остро переживает кризис клонящегося к закату режима.

Кто наблюдал Крымова в этот период, тот не мог не заметить происшедшей в нем перемены. Тревоги войны и политической обстановки отразились на нем чрезвычайно. Он осунулся, сдал, постарел сразу на несколько лет и только отчасти напоминал того сильного, уверенного в себе, дышавшего хладнокровием и спокойствием молодого полковника, каким был до войны.

Нервы его истощены. Были минуты, когда они не выдерживали. Были моменты, когда твердокаменный Крымов

рыдал, как женщина.

Наступает февральская революция и, наконец, один из ее последних этапов, в котором Крымов нашел свою смерть.

Интересно приподнять край завесы и познакомиться, в самых общих чертах, с тою подготовительною работой, которая должна была содействовать замыслам Ставки.

На Невском проспекте, в доме под № 104, помещалось «Общество Бессарабской железной дороги». Эта вывеска прикрывала организацию, известную под именем «Республиканского центра». Один из активных членов организации декларировал политическую программу приблизительно в такой форме:

— Если царский режим был во многих отношениях неудобен, режим Временного правительства становится нетерпим. Необходимо с ним покончить!

Другими словами, «Республиканский центр» был скрытой контрреволюционной организацией, далекой как от уклона влево, так, впрочем, и от восстановления монархии, задавшийся целью включить разбушевавшееся революционное море в рамки обыкновенной буржуазной республики.

Происходили периодические заседания и доклады. Шла разработка планов, привлечение новых членов, установление связи, обсуждение финансовых мероприятий. И, само собой разумеется, безграничное словоизвержение, за которым укрывалось бессилие всей затеи.

Обращал внимание бравый поручик в черкеске, с лихо закрученными усами, при арсенале оружия, с бесчисленным количеством всяких нагрудных значков, орденов, нарукавных нашивок. Его речи производили сильное впечатление. Поручик щеголял перед статскою, по преимуществу, публикой своим мужеством и с похвальной решимостью заявлял, что с помощью одной сотни наведет порядок на весь Петроград:

— Клянусь своей головой!.. Мои восемнадцать ранений!.. Моя служба в отряде Мищенки!.. Я владею шашкой, как Толстой владел пером!

Таковы были реплики воинственного поручика, известного впоследствии под именем князя Авалова-Бермондта…

Однако, дальше красивых фраз организация не пошла. С корниловским выступлением организация стушевалась и не подавала признаков жизни. Никакой поддержки движению она не оказала.

Можно себе представить какую поддержку получил бы Корнилов, если бы вместо тайных организаций, вроде пресловутого «Центра», в столице нашлось несколько ударных

батальонов, на чем настаивал, между прочим, молодой штабс-капитан в форме саперного офицера.

Мнение штабс-капитана не было принято во внимание. Да и сам штабс-капитан заставил говорить о себе много позднее, когда предводительствуя Красною армией, разгромил в 1918 году Киев.

Это был — Муравьев, покончивший впоследствии самоубийством на чешском фронте, когда, после перехода к левым эсерам, факт его измены был установлен большевиками.

Крымовский корпус заключал в себе три дивизии — «дикую», Уссурийскую и 4-ю Донскую. Все эти части, в особенности, составленная из кавказских горцев «дикая» дивизия, считались вполне надежными для выполнения хирургической операции над большевиками.

В Проскурове, во время посадки, не обошлось без инцидента.

Местный совдеп устроил обструкцию. Председатель совдепа в вызывающей форме вмешался в распоряжения. Крымов молча слушал направленную к нему истеричную речь председателя:

— Это все?.. Теперь я скажу несколько слов! — спокойно заключил Крымов и так же спокойно вытянул из за голенища нагайку.

Впечатление было огромное.

Председатель бухнулся в ноги и, при хохоте казаков, стал умолять о пощаде. Совдеп разбежался. Посадка протекла в полном порядке…

Конный корпус начал движение на Петроград.

Движению корпуса чинились всевозможные затруднения, в особенности пресловутым «Викжелем» и распоряжениями командующего Северным фронтом, генерала Черемисова. Эшелоны умышленно задерживались в пути. Провиант и фураж не доставлялись. Агитаторы вели бешеную пропаганду, и 4-я Донская дивизия уже обнаруживала известную неустойчивость.

За ужином на станции Луга, Крымов сидел в обществе офицеров своего походного штаба. Крымов был в мрачном, подавленном настроении. На вопрос одного из подчиненных ответил:

— Что будет завтра — не знаю!.. Знаю только, что браунинг при мне!

Эта фраза наводит на размышления.

Не предчувствовал ли Крымов грядущую неудачу?..

Не сознавал ли, что не сила противников, а собственная слабость приведет к катастрофе?..

Не ощутил ли всю тяжесть ответственности перед страной и историей, наложенную на него в эти роковые минуты?..

Движение на Петроград было приостановлено.

Из столицы прибыли депутации. Во главе многих из них стояли старые офицеры. Так например, мусульманскую депутацию возглавлял хорошо многим известный, офицер с прекрасной боевой репутацией, бывший елисаветградский гусар, полковник Султан Гирей.

Начались переговоры и митинги, окончательно сорвавшие успех дела. В частях началось колебание. Прибывший от Керенского, Генерального штаба полковник Самарин убедил Крымова в необходимости переговоров с Керенским для координации действий.

Крымов прибыл в столицу. Произошла непродолжительная беседа. Вместо «координации действий», Крымов попал в западню.

Предприятие рухнуло в одно мгновение. Операция, которая при успехе, так или иначе отразилась бы на всем течении последующих событий, потерпела полную неудачу.

В тот же день Крымов покончил с собой.

Во всей этой истории и, в частности, в крымовской смерти, много неясного, загадочного, недоговоренного.

Убийство или самоубийство? Я не свидетель крымовской смерти и, с понятною осторожностью, отношусь ко всем слухам и версиям.

Зная Крымова, могу допустить, что утративший прежнее самообладание, он был в состоянии, при встрече с Керенским, которого искренно презирал, и последовавших с ним объяснений, в минуту гнева нанести ему оскорбление и даже оскорбление действием. При этой попытке, быть может, Крымов заплатил собственной жизнью.

Одно время, местом действия упорно называлась почему-то квартира на Захарьевской улице, а имя Савинкова фигурировало в качестве убийцы.

Все это, конечно, бездоказательные предположения.

В одинаковой степени Крымов мог покончить с собой.

Кто знал Крымова, тот едва ли заподозрил бы в нем будущего самоубийцу. Это не неврастеник, не идеалист и не слабонервный романтик, кончающий с собой в минуту аффекта. Крымов — человек силы, воли, мужества, активной борьбы.

Однако, безвыходность обстановки, крушение веры в благоприятный исход возложенной на него военно-политической задачи огромной важности и значения, непереносимый стыд за то неловкое положение, в которое он, Крымов, попал как заяц, благодаря предательским сетям своих ничтожных врагов, в связи с наблюдавшимся уже в нем некотором душевном распаде, весьма возможно заставили его прибегнуть к содействию того самого

браунинга, о котором он намекал накануне своим приближенным. Крымов погиб и хоронили его с необъяснимой, какой-то воровскою поспешностью…

7. Октябрьский переворот

Революция углублялась и Временное правительство умирало, быстрою, верною смертью…

О дальнейшем сопротивлении германским армиям, о продолжении войны, о какой либо государственной работе, широких планах, разумных демократических реформах, направленных ко благу народа и ценных по практическим результатам, не могло быть речи.

Временное правительство, в лице социалистических министров, еще продолжало бессильными руками цепляться за власть, производило в составе кабинета какие-то перетасовки, пыталось потоками фраз отдалить час неизбежной развязки. Торжествовала демагогия и жалкая утопия озлобленных фантастов, угар невежественных масс, расчет предателей России.

В армии, во флоте, балтийском и черноморском, разложение частей и судовых команд дошло до предела. Каждый день приносил известия о бессудных расправах над беззащитным офицерским составом — истинных мучениках безумного русского чертопляса.

В Выборге убит командир 42-го корпуса, генерал от кавалерии Владимир Алоизиевич Орановский, зверски убиты Генерального штаба генералы Степанов, Васильев и драгунский полковник Карпович.

В Луге, в конском запасе, убит бывший командир кавалергардов, генерал граф Менгден, конногренадер полковник Эгерштром, молодой лейб-гусарский штабс-ротмистр граф Клейнмихель.

И сотни, может быть, тысячи других, мне неизвестных, на всех пунктах тысячеверстного фронта и тыла, уже потрясенных до основания, уже опоенных ядом классовой ненависти и злобы.

Лик большевизма ширился и рос…

О, как помню я эти ненастные, мокрые и тоскливые, притихшие, словно кролик перед разверстой глоткой удава, дни рокового октября!

Ни мыслей, ни желаний!.. Все жертвы и усилия затрачены бесплодно!.. Война проиграна бессмысленно и нелепо!.. Апатия, уныние, тоска глядели из петроградского тумана и слякоти скользких булыжников и торцов!.. Предчувствие великой катастрофы сверлило грудь!

Лик большевизма, с ощеренными клыками, с всклокоченной гривой, дикий, звериный, пещерный, ширился и рос…

Тогда, как муха, заметавшаяся в паутине, «верховный вождь»

и призрачный властитель, Керенский, сознав, наконец, тщету дальнейших словоизвержений, в холодный, серый день примчался в 3-й конный корпус, стоявший возле Гатчины, под командой генерала Краснова.

Тот самый корпус, который с Крымовым во главе, три месяца тому назад, был двинут приказанием Корнилова на Петроград. Тот самый корпус, который, не окажи Керенский противодействие, предательство и трусость, быть может, предотвратил дальнейшую безумную игру.

Был созван экстренным порядком корпусной комитет, и в тесном помещении народной школы Керенский произнес свою последнюю речь.

Он нервничал, был возбужден и бледен, глядел усталыми, воспаленными глазами, но говорил с подъемом, экзальтированно и горячо, бросая одновременно короткие и резкие, как удар бича, ответы на вопросы с мест.

И вот, после фразы — «кучка безответственных, безумных и преступных лиц, пытаясь посягнуть на облеченную высоким доверием народа власть Временного правительства…», из задних мест раздался медленный, тяжелый голос:

— Нет больше Временного правительства!

Керенский взметнулся, но тотчас овладел собой и выкрикнул среди насторожившегося в гробовом молчании зала:

— Кто вам сказал?.. Я премьер-министр!.. Я надеюсь, что 3-й корпус исполнит свой долг!

3-й конный корпус исполнил свой долг. После непродолжительной перестрелки у Пулкова, Краснов был арестован, а Керенский исчез.

Временное правительство прекратило существование…

Мне повезло отчаяннейшим образом и час переворота застал меня в вестибюле гостиницы «Астория».

У выходных дверей уже стояла стража, рослые гвардейцы Кексгольмского полка. Ревели пролетавшие автомобили. Доносились отдельные выстрелы — последнее сопротивление несчастных юнкеров.

Мы сидели втроем — генерал Бискупский, бывший гродненский гусар полковник Юматов и я, вспоминая, как двадцать лет назад, при несколько иной обстановке, все трое одновременно командовали взводами в «славной гвардейской школе». И тот и другой были совершенно спокойны, курили сигары, пригубливали коньяк и с любопытной улыбкой созерцали неожиданное зрелище.

В вестибюле слышался оживленный разговор публики, нервный смех, шутки, отдельные восклицания.

Я попрощался и вышел…

Кругом — пустынно, мертво. Только у Полицейского моста виднеется толпа народа. Незнакомец в защитном френче, в распахнутом пальто с погонами ветеринарного врача бросается навстречу и возбужденным голосом кричит:

— Назад!.. Здесь арестовывают офицеров!

По набережной Мойки бегут две запыхавшиеся дамы:

— Скорей назад!.. У Мариинского дворца стреляют!

Через полчаса, из окон комендантского управления наблюдаю вместе с писарями и офицерами, как по Садовой тянутся колонны — мужчины и женщины, с винтовками, с охотничьими дробовиками, с чайниками, с тележками, с санитарными двуколками. И висят мокрые красные флаги. И зловеще дрожат звуки революционного гимна. И гудит нестройно марширующая толпа:

— Смерть Керенскому!

На улицах тоскливо… Моросит дождь… Газеты и зрелища прекратились… Все замерло… Гудит фабричная труба… Трещит винтовочный огонь…

— Тра-та-та-та!..

Через неделю новой властью, не ожидавшей столь легкого успеха и растерявшейся в первые минуты, был взят определенный курс.

Посыпались декреты.

Великая страна стала на путь национального самоубийства…

Керенский исчез и на высокий пост Верховного главнокомандующего вступил его начальник штаба, генерал Духонин.

Армия агонизировала и доживала последние дни.

Отдельные попытки пресечь вооруженной рукой дальнейшее углубление революции и остановить распад страны не достигали цели, и боевые эшелоны, спешно перебрасываемые к Петрограду с Южного фронта, уже на параллели Витебска и даже Гомеля, заражались общим настроением и превращались в бушевавшую солдатчину.

В самой Ставке, среди наиболее испытанной и верной части, Георгиевского полка, подымалось глухое брожение и недовольство.

Все крупные военачальники покинули ряды.

Алексеев, Брусилов, Рузский, Гурко, Эверт, главнокомандующие фронтами и армиями — были давно отстранены от занимаемых постов. Корнилов и Деникин, Эрдели, Глеб Ванновский, Лукомский и Кисляков, Романовский и Марков — находились в заключении в Быховской тюрьме.

Часть генералитета, как Бонч-Бруевич, Черемисов, Егорьев и Парский, Новицкий, Незнамов, Снессарев, Балтийский, Потапов, Павел Лебедев, даже бывшие свитские генералы — Зайончковский и Гутор, одни сознательно, другие из «шкурных» побуждений, усердно «выявляли» свою революционную лояльность…

Одинокий, с горстью помощников и подчиненных, сознавая трагизм создавшегося положения, Духонин, тем не менее, на предложение совнаркома сдать власть, ответил категорическим отказом.

О, честный, благородный, верный своему солдатскому долгу человек!.. Каким мы знали тебя по академической скамье, таким остался ты, как часовой на посту, до своего мученического конца!..

В начале ноября, в Ставке состоялось последнее заседание, на котором, с неотразимой убедительностью, была представлена участникам картина полного развала армии.

На фронте и в тылу войска выходят окончательно из повиновения. На всех дорогах тучи дезертиров и самовольно расходящихся людей. Идет грабеж и расхищение казенного имущества. Командный состав терроризован. Ужасы революционного безумия охватывают все большие и большие районы.

Главнокомандующий Северным фронтом, генерал Черемисов, требует подчинения Ставки себе. Длинный, лысый, нескладный, напоминающий верблюда, Бонч-Бруевич, в свое время протеже старика Драгомирова, перескочивший с неслыханною легкостью и цинизмом в стан красных победителей, угрожает революционною расправой. Главнокомандующий Румынским фронтом, бывший начальник академии, генерал Щербачов, на предложение Духонина занять пост Верховного главнокомандующего, ответил краткой телеграммой:

— Предпочитаю быть с румынами!

Речь уполномоченного по гражданской части, Вырубова, прозвучала на собрании похоронною молитвой:

— Все хирургические операции бесцельны… Болезнь проникла глубоко!.. Уговаривать дальше нет сил!.. Опереться не на кого!.. Гражданская война затянет смуту и вызовет излишнее кровопролитие!.

Так говорил Вырубов, закончив речь следующими словами:

— Народ, как маленький ребенок, тянется к огню… Массы идут за теми, кто больше обещает… Дадим народу обжечься… Если мы дрянь, а не великий народ, как мы это думали, то под тяжелыми ударами молота истории от нас останется мокрое

место… Если же мы нечто другое, во что я глубоко верю, то под тем же молотом из нас создастся крепкое ядро, может быть, в восемьдесят миллионов, может быть, всего в шестьдесят, может быть без выходов в море, но с здоровым национальным эгоизмом… И с этим ядром мы восстановим Россию!

Одновременно было получено известие, что в Могилев направлен из Петрограда прапорщик Крыленко, а генерал Духонин объявлен «врагом народа»…

На следующий день, из красной столицы прибыл в Ставку Генерального штаба генерал-майор Одинцов.

Он прибыл в Могилев, командированный с секретным поручением от совнаркома. Оппортунист, беспечный, легкомысленный сангвиник, живой и подвижный, невзирая на свою кругленькую фигурку, Сергей Иванович Одинцов, однокурсник Духонина по академии, был как нельзя более подходящ для этой роли.

Он принят был немедленно и, в дружеской беседе, на «ты», со свойственной ему легкостью в мыслях, изложил обстановку и пытался убедить Духонина в бесцельности дальнейшего упорства.

Он говорил что персонально Ленин против него, Духонина, «милейшего Николая Николаевича», не чувствуете ни малейшей вражды. Что соображения внутренней политики вынуждают к отстранению его с поста Верховного главнокомандующего. Что личная безопасность и материальное обеспечение, в виде достойно заслуженной пенсии, вполне гарантированы, а объявление «врагом народа» учинено из тех же политических соображений, в угоду требованиям масс. Принимать это близко к сердцу не следует.

Он говорил, наконец, что «все образуется», что армия будет оздоровлена и поднята, в ближайшее время, на необходимую высоту, что нет никаких оснований сомневаться в победоносном окончании войны:

— Нельзя идти наперекор и тормозить историческое течение событий!

Не думается, чтобы Одинцов сознательно вводил Духонина в заблуждение. Верней всего, как увлекающийся человек, он заблуждался сам, не разбираясь глубоко в действительности, приняв за чистую монету все обещания, полученные от ленинских клевретов.

Казалось, убежденный этим разговором, Духонин был готов склониться перед требованиями новой власти. Но вслед за отъездом Одинцова, стал снова колебаться…

А вечером, ведет по аппарату Юза разговор с Киевом, достойный быть запечатленным в анналах великой русской

смуты. С ним говорит Петлюра — военный министр украинской Рады.

— Генерал Духонин! — говорил Петлюра. — Вы высший и последний представитель законной русской власти!.. Я жду вас в Киеве, где как Верховный главнокомандующий вы станете во главе Вооруженных сил!.. Моя программа — война до конца и верность союзным обязательствам!.. Я жду вас, приезжайте, захватив самое необходимое, и в Киеве вы организуете ставку из штаба Юго-Западного фронта!.. Приезжайте, пока не поздно, пока есть еще возможность выехать из Могилева!

Столь неожиданное предложение Петлюры, казалось, создавало выход из трагической обстановки. В самом деле, не суждено ли там, на юге, на берегах Днепра и в древней русской колыбели, еще сравнительно только задетой общим шквалом, вторично заложить устои государственности и, восстановив армию, с успехом продолжать борьбу на фронте и с петроградской коммуной?

Ближайшие сподвижники Духонина не связанные исключительным положением последнего, руководствуясь реальными соображениями, горячо ухватились за эту мысль. После непродолжительного обмена мнениями, Духонин согласился с этим планом, сулившим самые заманчивые перспективы. Помимо политических соображений, до некоторой степени и личные чувства влекли его, как киевлянина, в днепровскую столицу, в которой, кстати, проживала и его семья.

События, между тем, развивались с головокружительной быстротой. Времени терять было нельзя и, с разрешения Духонина, исправлявший должность начальника штаба, полковник Кусонский, уже отдал необходимое распоряжение о немедленной погрузке эшелона.

Но на следующий день, обстановка изменилась уже настолько, что выехать в стоявшем под парами эшелоне было нельзя. Все находилось под контролем. Незримые сети плелись кругом и сам Духонин, фактически, был уже пленником каких-то неизвестных лиц.

Настойчивые уговоры подчиненных, убеждавших его, во имя спасения родины и продолжения борьбы, уехать из Могилева каким бы то ни было путем, склоняют Духонина окончательно решиться на этот шаг. Медлить нельзя ни минуты…

Сорокасильный Бенц, с потушенными огнями, уже готов к отбытью. Три вооруженных офицера с необходимыми вещами, деньгами, документами уже сидят в автомобиле, в нервном ожидании, прислушиваясь к малейшим звукам, доносящимся из скрытого во мраке переулка.

Закутанная в плащ, подходит чья-то фигура.

Это — Духонин.

Короткая речь, прощальное пожатие руки и автомобиль скрывается во тьме.

Духонин остается…

Расстрелянный большевиками чиновник Нейман в своем посмертном дневнике сообщает.

«Рано утром, двадцатого ноября, к могилевскому вокзалу подходит петроградский поезд, и прапорщик Крыленко с эскортом из трехсот матросов крейсера „Аврора“ вступает в Могилев.

Через час он в кабинете верховного главнокомандующего.

Прапорщик Крыленко, по революционной кличке — „Товарищ Абрам“, приземистый, коротконогий, сутулый, с небритой рыжею щетиною на щеках, в защитной куртке, с небрежно надетым и неуклюже висящим боевым снаряжением, ведет полушепотом беседу и отвозит Духонина в свой вагон. В двенадцать часов дня, Верховный главнокомандующий и Крыленко сидят в салон-вагоне и пьют кофе.

Перрон наполнен разношерстною публикой, толпою праздных солдат, вихрастыми матросами с „Авроры“, хмельными, возбужденными.

В салон-вагон входят три матроса. У одного из них плакат из синей оберточной бумаги, на которой выведено мелом:

„Смерть врагу народа Духонину!“
Военно-революционный суд отряда моряков.

Крыленко вскакивает с места:

— Товарищи!.. Оставьте!.. Генерал Духонин не уйдет от справедливого народного суда!

Один из матросов неуверенно подходит к Духонину, трогает за плечо и глухо бросает:

— Пойдем!

Крыленко садится, склоняет голову на стол, закрывает лицо руками.

На площадке вагона происходит борьба.

Сильный физически человек, Духонин держится за поручни и не уступает натиску трех палачей. Выстрел из нагана в затылок сваливает его с ног.

Изувеченное тело терзается толпой…

Жутко, мрачно, тоскливо в красной столице…

Все попряталось, все забилось по щелям, притихло и сникло — и не узнать блистательного града Санкт-Петербурга, с шумными перспективами, с залитыми огнями стеклами

магазинов, ювелирных дел мастеров, гастрономических лавок, пассажей, ресторанов, отелей, с зимней музыкой на катках, с румяными девичьими щечками, с монументальными „фараонами“, в башлыках и в наушниках, греющихся у дымных костров, с дворцовыми гренадерами в мохнатых шапках, стоящими у чугунных статуй, с вороным рысаком в щегольской одиночке — пади, пади! и золотой каской конногвардейца, утонувшей в бобровом воротнике…

Только серый камень дворцов да запорошенные первым снегом бульвары да могучая, пережившая на своем веку всякие виды Нева, остались те же, без изменения, что и год, десять, сто лет назад…

Падает, кружится снег…

Белые хлопья замели улицы, сугробами выросли на обезлюженных площадях, навалили горы за городскими заставами… Не дымят и молчат фабричные трубы… Остановилась столичная жизнь и метет белый саван, погребая город, словно покойника:

— Быть Петербургу пусту!

Только рявкают грузовые машины, с красными флагами, с бандами вооруженных людей… Боязливо жмутся прохожие… Виснет тусклый желтый декабрь…

А вечером, когда на Невском проспекте зажигаются фонари, на углах виднеются широкие, крепкие фигуры, с оскаленными зубами, блудливо шелестит шелк и слышен наглый хохот…

Порхает, сыплет, кружится снег…»

Трах-тах-тах! и только эхо
Откликается в домах,
Только вьюга долгим смехом
Заливается в снегах…

8. Советский рай

Неотвратимое произошло.

Двуглавый орел сменился пятиконечной звездой, а вместо желтого императорского штандарта заколыхались красные флаги.

Восемь месяцев власти Временного правительства оказались легкомысленным карнавалом с блестящим фейерверком речей, с цветами маниловского прекраснодушия, с огнями жалких революционных утопий, с серпантином несбывшихся ожиданий.

Но облетели цветы…

Догорели огни…

Наступили скверные будни…

Крушение Временного правительства не вызывало во мне ни малейшего сожаления. Его попытки остановить анархию потоками бесплодных словоизвержений внушали отвращение. Его заслуги, вольные и невольные, в деле разрушения армии, предательство по отношению к Корнилову — вызывали презрение и ненависть.

Наконец, фигуры — маленького присяжного поверенного Керенского, этой неудавшейся смеси российского Мирабо с Хлестаковым, вождей революционной и социалистической демократии — «селянского министра» Чернова, кавказских демагогов — Чхеидзе и Церетели, истеричных, экзальтированных, одурманенных девиц — Марусей Спиридоновых, блаженных «бабушек революции» Катерин Брешко-Брешковских — прекраснодушных русских барынь-идеалисток, пытавшихся насадить на земле райскую жизнь, которая тотчас превращается в адское пекло, беспочвенных социалистических сектантов, политических авантюристов с фальшивым ореолом мучеников, пострадавших от «гонений царизма», интернациональной мрази и доморощенных пророков-марксистов и прочего, еще более мелкого, жалкого «гоцлибердановского» стада — символизировали такое политическое фиглярство, фанфаронство и ханжество, такое скудоумие государственной мысли, партийную догму, бессилие, ничтожество, преступное непротивление злу, запечатленное одним метким словом «керенщина», что даже приход к власти нового, на этот раз, циммервальдского штурмана, с его острожною кликой, не вызывал особой обиды:

— Чем хуже — тем лучше!

Таков был девиз известной части русского общества, в особенности военных кругов, окончательно разочарованных двуличной, лицемерной, совершенно импотентной деятельностью

Временного правительства. Мне хорошо известно, что необходимость смены политических декораций считалась многими даже желательной, как ускорение процесса той болезни, после которой наступит выздоровление страны от охватившего ее тлетворного социалистического недуга…

В начале декабря я очутился в глухом захолустье, затерянном среди лесов, болот, непроезжих далей Псковщины.

Хотелось отдохнуть, забыть политику, не видеть грустную картину разложения, не слышать бред разнузданной толпы… Подальше от людей, ничтожных, злобных, зараженных ядом городов!.. Поближе к деревенскому приволью, к матери-природе!..

Однако, и в деревне стало неспокойно.

Крестьяне глухо волновались, косились на помещичьи усадьбы, произвели разгром зажиточных имений, рубили лес, делили скот, передрались между собой.

У власти стала голытьба и уголовный сброд…

Лечась от моральных и физических ран и тяжелых переживаний, я провел скучную, печальную зиму. Ни общества, ни писем, ни газет, за исключением циничной «Правды», «Северной Коммуны» и прочих бездарных и кощунственных листков.

Унылая, тревожная, томительная жизнь среди сгущенной атмосферы всяких слухов, в районе там и сям шныряющих разбойных банд… Война проиграна позорно и нелепо!.. Все жертвы и трехлетний труд обречены насмарку!.. Ни признака просвета, а впереди — недоеданье, голод, медленная смерть!..

Разгон Учредительного собрания, произведенный при трагикомичной обстановке матросом Железняком, угасил последние надежды.

Убийство Духонина, зверская расправа с Кокошкиным и Шингаревым, позорная комедия в Брест-Литовске, самоубийство бывшего сослуживца, благороднейшего Владимира Евстафьевича Скалона, одного из подневольных участников «похабного мира», возмутительный расстрел капитана первого ранга Щастного, убийство, где-то на перегоне, около станции Дно, бывшего начальника штаба Верховного главнокомандующего, генерала Янушкевича, трагический выстрел донского атамана, генерала от кавалерии Каледина, бессудные расправы и казни во флоте и в армии, в тылу и на фронте — наполняли сознание безысходной скорбью и горечью…

— Свобода, сколько преступлений совершается твоим именем! — воскликнула когда-то свободолюбивая госпожа Манон де Роллан, подставляя свою красивую головку под нож гильотины…

В середине февраля, через округу, в диком отступленье прокатился фронт, оставив на пути, совместно с целыми полками дезертиров, бесчисленное множество оружия, повозок, лошадей, запасов и военных материалов. За пять рублей крестьяне покупали коня с седлом и сбруей. За три целковых любители приобретали пулемет. Сдиралась на подметки кожа и резина бросаемых автомобилей. А горы сахара, муки, различных круп, обильно поливаемых дождями, валялись по мокрым, распустившимся дорогам.

Немецкие войска остановились в сорока верстах, заняв оккупационную зону.

Как тяжело, мучительно на сердце!..

С тупым отчаяньем проводишь день за днем!..

Жизнь потеряла красоту и ценность!..

Пришла весна и принесла надежду. Зеленою бахромой убрались березки. Снег таял на полях. А на заре тянули вальдшнепы и бормотали со всех сторон тетерева…

Когда лужский военный комиссар объявил волость в осадном положении и, под угрозою революционных кар, приказал верноподданным, в двадцать четыре часа, сдать для учета огнестрельное оружие, пришлось, скрепя сердце, снять с гвоздя свой бескурковый зауэр № 125 025 и пойти в совдеп.

Был десятый час утра.

Совдеп, помещавшийся в двухэтажном здании бывшей волостной школы, еще не приступал к работе и, как подобает всякому высокому, уважающему себя учреждению, спал.

Напротив совдепа — москательная лавка и заезжий двор Василия Загуменного. Расстроенный хозяин то выглянет на улицу, то забежит во двор. Пестрый петух копается в навозе, выклевывая овсяные зерна. На луговине пасется гнедая кобыла, с запавшими боками.

— Беда барин! — говорит Василий и ведет в хату. — Беда!.. Пропадать!.. Опять энта гвардия прикатила!..

Через окно, выходящее во двор, видна группа спешивающихся всадников, в защитных солдатских рубахах, со шпорами, при шашках и винтовках. Все рослый, бравый народ с драгунской выправкою. Все будто по-старому — и форма и седловка. Не хватает только погон на плечах да вместо царской кокарды темное пятно на околыше.

Слышится обычная ругань, матерщина, прибаутки, смех. Лошадей завели под навес, отпустили подпруги, вынули железо.

Стук в дверь прекращает дальнейшие наблюдения.

В хату ввалился коренастый детина, с буйною копной на голове, с запахом винного перегара, в поношенном френче, при

золотой шашке, маузере, с букетом разноцветных ленточек на широкой груди:

— Балахович!

Это было в июне восемнадцатого года и громкое имя мне тогда ничего не сказало.

Однако, за кружкой чая разговорились. И поняли друг друга с полуслова. Шутка сказать — лейб-курляндский улан и царской службы штабс-ротмистр, а сейчас, мать их в прорву — товарищ!..

Вскоре нашли общих знакомых — начальника дивизии, князя Юрия Гордого, начальника штаба — Гатовского, разжалованного царем из полковников в рядовые за оскорбление действием бригадного командира, князя Арсения Карагеоргиевича.

Ясно — не самозванец!

После курляндских улан, не поладив с начальством, мой собеседник перекинулся на северный фронт, к Радко Дмитриеву, под самую Ригу. Служил в партизанском отряде капитана Пунина, подвизаясь в тирульском болоте. Потом, в революционном порядке, вместо Берлина, перекатил через Псков и осел с молодцами на самой демаркационной линии, наблюдая за немцами.

А сейчас — командир партизанского отряда «Имени товарища Троцкого» и прислан в волость для укрощения бунтующих мужиков. Товарищ Балахович смущен этим обстоятельством, оправдывается и поносит советскую власть:

— Черти полосатые!.. Посадили на собачий паек!.. Разведка это только так, для блезару!.. Усмиряй мужичье, не то на Волгу пошлем против чехов!.. Или на Дон, против деникинских белогвардейцев!.. Как вам это пондравится?

Он советуется со мной относительно предстоящего похода, чтобы «мужичье ненароком не взяло его в переплет»… Ведь он же, ей Богу, единомышленник, белогвардеец, контр!..

Бывший штабс-ротмистр внимательно разглядывает зауэр, вскидывает в плечо, прицеливается и ведет по воображаемой птице:

— Важная флинта!.. Двойной чок!.. Три кольца да еще с «геркулесом!..» Небось целковых двести заплачено?

Штабс-ротмистр обещает содействие:

— Военком Матюкевич — стервец, но человек интеллигентный и в водке толк понимает!.. Не беспокойтесь!.. В два счета устрою!.. Как честный русский офицер!

Через неделю, получив расписку совдепа, но не получив обратно ружья, поехал в Лугу, к самому военкому.

Долго шатался по пыльным улицам и — проплеванным комнатам и коридорам, встречая на себе не слишком

сочувственные взгляды, пока рябой писаренок уездного подрайкома не объяснил дорогу:

— На петроградской саше!.. А номера, стало быть, нету!.. Спросите, товарищ, там и укажут!

Пройдя версты полторы, по необъяснимой догадке, остановился у нарядного одноэтажного домика. Подошел к дверям, позвонил наудачу. Из окошка выглянула незнакомая личность с очками на носу, и пытливо уставилась, видимо что-то соображая:

— Вам кого?

— Военкома Матюкевича!

Личность нырнула обратно. Через четверть часа дверь открылась. В передней стоял пулемет. Пахло сапожным товаром. Личность, окинув поверх очков, еще раз внимательным взором, повела за собой.

Пройдя ряд нежилых комнат, вошли в кабинет. Боком к окну стоял письменный стол мореного дуба, с двумя канделябрами, с ворохом казенных бумаг, с обоймой, с рассыпанными револьверными гильзами, со стаканом недопитого чая. По одной стене стояла кушетка с подушкой и постельным бельем, по другой — карточный столик с остатками пищи.

Личность уселась за стол, поправила на носу золотые очки и спросила:

— Что вам угодно, товарищ?.. Я военком Матюкевич!..

Думаю, что на моем лице отразилось известное изумление, ибо комиссар улыбнулся не без самодовольства, вытянул кожаный портсигар и, достав папиросу, предложил в свою очередь мне.

В самом деле, мог ли я предполагать в этом маленьком чернявом сморчке с золотыми очками на лиловом носу, грозного лужского военкома, подавлявшего волость громовыми декретами?

Был он в темном матерчатом френче и в крагах на коротких ногах. За поясным ремешком поблескивал второпях засунутый браунинг. Вид, в общем, воинственный.

Изложил свою просьбу:

— Инвалид империалистической бойни!.. Проливаю не рабоче-крестьянскую, а тетеревиную кровь!.. Охота — единственная поддержка семьи!.. Прошу оказать революционную справедливость!

Военком передернулся:

— Как, вы не получили обратно охотничьего ружья?.. Странно, весьма даже странно!.. Это Балахович спер вашу флинту!.. Поезжайте от моего имени!.. Он стоит с партизанским отрядом в усадьбе Думстрея!.. Я ему покажу!.. Этакая каналья!..

Военком искренно волновался.

Он долго меня утешал. Потом разговорился, вспоминал эмигрантскую жизнь при царском режиме, в Лозанне, в Женеве, в Париже… Вспоминал Монмартр и Латинский квартал… Ругал Троцкого, с благоговением отзывался о Ленине и был полон, величайшего энтузиазма…

Через час кричал на меня:

— Вы саботажник! — визгливо кричал военком, размахивая руками, поминутно вскакивая со своего кресла и, как мячик, катаясь по комнате. — Мало того, что мужиков подымаете, но еще изволите насмехаться!

Затем, успокоился:

— Мон женераль, не будем ссориться!.. Я уважаю ваши воззрения!.. Но позвольте заметить, что с точки зрения революционной целесообразности, это, экскюзе, совершеннейшее дерьмо!.. Вы должны послужить революции!.. Вы — спец, человек интеллигентный, с высшим образованием!.. Не то что мы, хамы невежественные!.. Я делаю вас военруком!.. Я пишу вам мандат!.. Мон женераль, оставайтесь ужинать!.. Будет водченка!

И военком выразительно щелкнул себя по бумажному воротничку…

Я с трудом отвертелся и от ужина и от мандата. И провел вечер в партизанском отряде «Имени товарища Троцкого», в бывшей усадьбе Думстрея.

Станислав Никодимович Балахович был сильно «на взводе», ругался последними словами, бил себя в грудь и, как «честный русский офицер», обещал повесить военкома на первой осине.

За ужином он несколько отошел и вместе со своими помощниками, казачьим сотником Перемыкиным, поручиком Звягинцевым и павлоградским гусаром, корнетом Стуканцевым, жаловался на создавшееся положение.

Что делать?.. Как быть?

Того и гляди, немцы ударят от Пскова, а тут — усмиряй мужичье или сражайся с Деникиным!.. Троцкий — шеф, а в карманах у молодцов и господ офицеров до сих пор царские вензеля лежат!.. А главное малейшая пустяковина — «к стенке»…

Было смешно, было грустно.

Прозвучала заря. Эскадрон построился к перекличке.

— На молитву, шапки долой!

Спели хором молитву.

Поздно вечером я уехал…

Только через год мне стало известно что товарищ Булак-Балахович со всем своим партизанским отрядом «Имени товарища Троцкого» перемахнул через проволочные рогатки и

очутился во Пскове, сначала у немцев, потом у эстонцев, потом у Юденича, совершая «геройские» подвиги.

Потом, произвел себя в генералы и нанялся на службу полякам.

Сейчас, этот непревзойденный ландскнехт, по слухам, собирается идти на Москву.

Пожелайте ему всякой удачи.

Но держитесь от него на пушечный выстрел…

В середине июня, ряд причин, заставил меня выехать на несколько дней в Петроград.

Эта поездка не входила в мои расчеты, но до известной степени удовлетворяла желание познакомиться с той обстановкой, которую создала в городе советская власть.

Движение на железных дорогах было еще сравнительно сносным. Существовало прежнее подразделение вагонов на классы. Мешочничество только еще развивалось, и голодные горожане не затопили жадным потоком окрестностей, в погоне за лишним фунтом муки или печеного хлеба…

В Луге, в мое купе вошел человек средних лет, в военном френче, в фуражке, в высоких охотничьих сапогах. Почтительно козырнув, сел против меня, вынул серебряный портсигар, попросил разрешения закурить.

Вскоре мы разговорились.

Он оказался, как можно было предполагать, бывшим военным, штабс-капитаном одного из стрелковых полков. В галицийских боях был жестоко изранен, с раздроблением черепной кости, очутился в австрийском лазарете, а по выздоровлении в концентрационном лагере для военнопленных, близ Линца.

Условия пребывания в лагере, по его словам, были ужасны — голод, болезни, невыразимые нравственные страдания. Четверо офицеров покончили с собой, двое сошли с ума. Мой собеседник просидел в плену четырнадцать месяцев, и в январе восемнадцатого года очутился в Петрограде.

Он служит у большевиков.

Заинтересованный его рассказом, в правдивости которого не сомневаюсь, я воскрешаю этот рассказ в моей памяти…

— Я прибыл в Петроград! — говорит штабс-капитан. — Родных и знакомых не оказалось!.. Все справки не привели ни к чему!.. К физической работе я непригоден, а деньги на исходе!

Бывший штабс-капитан на мгновенье умолк, задумался, усмехнулся и продолжал свою повесть:

— Да, было тяжело!.. Пришлось, в конце концов, войти в сделку с совестью!.. По образованию — я юрист!.. Сейчас работаю

в юридической секции у товарища Урицкого и имею ежедневный доклад!

Мне удалось близко познакомиться с этим новым для меня миром, порой в достаточно интимной обстановке, и я попытаюсь передать вам мои наблюдения…

Вот восемь-девять главных фигур, на которых, пожалуй, держится все — полубезумный, больной маниак Ленин-Ульянов, кровавый паяц Троцкий-Бронштейн, наглый, хищный, корыстолюбивый прелюбодей Зиновьев-Апфельбаум-Радомысльский, трусливый оппортунист Каменев-Розенфельд, Свердлов-Коган, Урицкий, Позерн, садист Бокий, кавказский бандит — экспроприатор Джугашвили-Сталин… Существуют еще сотни всяких псевдонимов и людей с настоящей фамилией, которых никто раньше не знал, кроме департамента полиции, о которых никто ничего не слыхал, которые занимают сейчас большие посты…

Но главное — в этой девятке… Все это люди огромной нервной энергии и темперамента… Трудоспособность их изумительна… Урицкий и Позерн, которых я знаю лучше других, заняты круглые сутки… Доклады и совещания, приемы, участие в митингах, на парадах, бесчисленные речи и выступления — как могут нервы выдержать подобное напряжение, мне непонятно… Впрочем они уже утомлены, издерганы, а заменить их нельзя!

После короткой паузы, в чрезвычайно образной форме собеседник передал мне подробную характеристику большевицких вождей, очень тонкую и остроумную характеристику, свидетельствующую, с одной стороны, о наблюдательности моего спутника, с другой, о том доверии, которое он мне оказал. Впрочем, нужно сказать, что в купе сидело нас только двое и беседа велась осторожно, едва ли не шепотом.

Интереснее всего заключительные слова.

— Я остаюсь при одном убеждении! — сказал штабс-капитан. — Это люди незаурядные и многие даже талантливые, таланты коих, к прискорбию, направлены по неосуществимому, утопическому пути… Они уже разочарованы и, кажется, сознают крушение своих идеалов!.

В самом деле, наблюдавшие жизнь из подполья, на протяжении многих лет оторванные от России, они столкнулись с неожиданною действительностью… С такой темнотой, невежеством, дикостью, с такими необузданными инстинктами и требованиями масс, что, весьма вероятно, предпочли бы отложить свои социалистические опыты до более благоприятного времени и даже, может быть, сохранив награбленные сокровища, повернуть колесо истории вспять…

Но это невозможно, это теперь не в их власти и силе, и опыт должен быть проделан до конца!.. Они обречены на гибель, и единственное спасение ищут в социальной катастрофе в мировом масштабе!..

— А в общем! — так с иронической улыбкой закончил штабс-капитан свою беседу. — Это или великие пророки, или великие преступники!.. Все будет зависеть от окончательных результатов!

Поезд подходил к станции.

Сверкало июльское солнце… На перроне шатались красноармейцы, суетились крестьяне и бабы, прогуливались молодые люди и девушки в летних одеждах… Из-за станционной ограды смеялись гирлянды белой сирени…

Я провел в городе несколько суток, проживая на прежней квартире, которую оберегал от всяких случайностей мой верный слуга.

Он не носил больше гвардейских погон и царской кокарды, взамен которой красовалась небольшая красная звездочка. А вместо своих несложных обязанностей вестового, вкушал корень премудрости и потел над «Балистикой». Ибо числился артиллерийским курсантом в бывшем константиновском училище. Это давало ему одежду, сто рублей денег и полтора фунта черного хлеба.

Где ты теперь мой старый оруженосец и друг, сохранивший верность и преданность до конца, противопоставивший всем искушениям здоровую мужицкую сметку и честность истинного солдата?..

Знаю, что недолго продолжалась твоя наука, что не удалось тебе отстоять порученное добро и, что в один, далеко не прекрасный день, был ты, в общем порядке, не взирая на сопротивление, направлен на чешский фронт, препоясанный золотой шашкой твоего бывшего барина.

Знаю, что судьба сохранила тебя от чешской пули и русского сыпняка, что судьба возвратила тебя вспять к покинутым берегам и что вместо юнкерской «учебы» занялся ты старым столярным рукомеслом.

Наконец, знаю, что сохранил ты обо мне добрую память, и объят тревогою за меня, и болеешь сердцем, прослышав про мою долю в иноземном краю, и ожидаешь моего возвращения…

Был еще один преданный человек, старый швейцар Карл Иванович, который, на свой страх, не заносил меня ни в домовую книгу, не сообщал в местный райком. Таким образом, пребывание мое в городе протекало в условиях конспиративных, гарантирующих относительную свободу.

И я воспользовался этой свободой и тотчас предпринял

некоторые шаги…

Прежде всего я посетил моего старого начальника.

Князь Юрий Иванович Трубецкой, невзирая на начавшийся вслед за убийством Володарского террор, продолжал, вместе с больною княгиней и двумя барышнями-дочерьми, проживать на своей петроградской квартире, по Почтамтской улице, в доме № 4. Как многие простодушные русские люди, он еще не утратил надежды на то, что разум народа одержит верх, что пляска безумия прекратится и что падение кощунственной власти произойдет в близком будущем.

Увы, это были неосуществившиеся надежды!..

Вместо обычной черкески, князь был в сером статском костюме. Но так же тщательно была подстрижена маленькая бородка и так же топорщились кверху седеющие усы.

Князь был растроган, облобызался, пригласил к столу, извиняясь за скромный обед. Хлеба не было и вместо него подавались к бульону ломтики швейцарского сыра. Князь и, в особенности, княгиня, обе барышни и жених одной из княжен, молодой граф Бобринский, находились в грустном, подавленном настроении. Сумбурные большевицкие дни не располагали к веселью. Но чувствовалось, что произошло нечто особенное, пошатнувшее равновесие всегда спокойного, всегда выдержанного и владевшего собой князя.

После обеда князь отвел меня в кабинет:

— Его Величество вчера убит вместе с семьей!.. Я получил сведения из германского консульства!

И «опальный» князь отвернулся, чтобы скрыть слезы…

На другой день, по приказу Урицкого, князь был арестован. Через две недели, внеся крупный денежный выкуп, был выпущен на свободу и тотчас выехал на Украину…

В особняке, по Греческому проспекту, меня встретила молодая, расстроенная женщина с заплаканными глазами. Это была супруга бывшего командира гвардейского кавалерийского корпуса, генерала Арсеньева.

Генерал был арестован и уже несколько дней находился в заключении, в Крестах.

Был арестован хорошо известный мне редактор «Огонька» — Бонди, к которому я было направился на Офицерскую улицу. Случайность спасла меня от западни, в которую я бы несомненно попался, как попались другие.

С тяжелым чувством узнал я о расстреле моих достойных начальников — генерала Бориса Петровича Ванновского и Княжевича, моих офицеров-драгун — адъютанта Павлика Свистунова и ротмистра Алябьева, и многих других знакомых,

близких, друзей…

Я вел себя крайне неосторожно.

Само собой разумеется, это была не бравада, а легкомыслие, излишнее любопытство, недооценка той обстановки, в которой находился каждый интеллигент, особенно офицер, в отношении которых советская власть применяла ряд жестоких репрессий…

Вспоминается один эпизод.

На Забалканском проспекте находилось советское учреждение, ведавшее выдачей разрешений на получение вкладов. В сберегательной кассе лежало у меня тридцать тысяч рублей. Осенью мне удалось дважды выудить по пять тысяч, а в настоящий приезд я явился за остальными.

В комнате № 13 стучали машинки, сидели барышни и черноволосые молодые люди. За отдельным столом, в гимнастерке, сидел комиссар товарищ Большаков, тупой, невежественный, но достаточно добродушный солдат. На этот раз он встретил меня недружелюбно и отказал наотрез:

— Не могу, товарищ!.. При всей солидарности, не могу!

И товарищ Большаков недоверчивым взглядом косился на мой френч со следами погон на плечах, на синие военные брюки, на форменную фуражку:

— Бог же вас знает, может на контрреволюционные цели, а я отвечай!.. Читали последний декрет товарища Ленина?

Арсенал моих доводов не мог его убедить. Все рассуждения были бесплодными. Товарищ Большаков оставался несокрушим, как гранитная глыба, пока не пошел, впрочем, на некоторую уступку:

— Вот ежели разрешит товарищ Урицкий?.. Принесите свидетельство о благонадежности?

Человек осторожный и предусмотрительный едва ли последовал этому дружескому совету. Благоразумие удерживало и меня, тем более, что нелегальное проживание в городе, само по себе, представляло известный риск. Но я нуждался в деньгах и не мог примириться с потерей двадцати тысяч рублей. И в конце концов, я направился по указанному адресу, в целях, правда, лишь предварительной разведки.

В главном чекистском застенке, на Гороховой улице, толпилось немало народу. У дверей стояла вооруженная стража. Взад и вперед бегали люди. Одних уводили, других приводили. Я сел на подоконник и закурил папиросу.

Рядом на табурете сидел человек. Бросалось в глаза его худое страдальческое лицо с острой бородкой. Затасканная куртка военного образца топорщилась на длинной фигуре. Голубые глаза глядели куда-то в пространство безучастно и равнодушно. Его

вид возбуждал сострадание и симпатию.

Дверь в кабинет отворилась:

— Товарищ Дзержинский!

Сосед приподнялся и тяжелой походкой направился к двери. В ту же минуту ко мне подошел человек в кожаной куртке:

— Вам что угодно, товарищ?.. Товарищ Урицкий занят!.. Уходите, немедленно уходите, иначе я вас арестую!

Я соскочил с подоконника и не заставил себя упрашивать…

Большевицкий террор еще не носил массового характера, хотя бессудные казни, расстрелы, убийства были заурядным явлением. Очень тяжело было это сознание абсолютной беспомощности, беззащитности, обреченности, в случае какого-нибудь доноса или предательства. Вся обстановка наполняла душу невыразимым гнетом.

Это нельзя передать.

Это нужно было испытать самому, чтобы до конца дней проникнуться лютою ненавистью к той окаянной власти, которая прикрывшись красивыми лозунгами, несла порабощенной стране ужас, хаос, разрушение, смерть.

Ее звериная кровожадность, невежество, лживость, беспринципность и невероятный цинизм, в соединении с бездушной, бесцветной, безжизненной идеологией какого-то коллективного охолощенного маниака, не имеет, кажется, прецедентов в истории…

Чтобы отвлечь себя от дневных впечатлений, я бродил по вечереющим улицам, по бульварам и скверам, заплеванным подсолнечной шелухой, с грустью глядел на заколоченный Гостиный Двор, на старые вывески пустых магазинов, сравнивая яркое прошлое с гнусной действительностью…

Мимоходом зашел в цирк Чинизелли.

Программа была обычная — дрессированные лошади и собаки, гимнасты, музыкальные эксцентрики, клоуны, эквилибристы, даже чемпионат международной борьбы, с решительной схваткой Георга Луриха и доктора Шварцера, известного под именем Черной Маски.

Зато совсем необычно было другое.

За десять рублей я сидел на балконе, наблюдая не столько цирковую программу, сколько толпу. В глаза кидались демократические косоворотки, картузы, кепки, высокие сапоги. Все это, развалившись, занимало кресла партера, в которых еще так недавно сидел на цирковых премьерах цвет невской столицы — дамы высшего общества, нарядные демимонденки, офицеры гвардейских полков, лицеисты, правоведы, пажи.

Да не будут истолкованы мои слова, как жалобы

рафинированного эстета, не выносящего зрелища народной толпы. Но дело именно в том, что это не был народ, в истинном значении слова. В огромном большинстве, это был полупьяный, праздный, темный столичный сброд, отбившаяся от своего прямого дела солдатчина, торжествующий хам, взбунтовавшийся раб, не сознающий жестоких последствий своей «победы»…

В одной из лож бенуара, окруженная кавалерами в матросских куртках, со сползающими на лоб вихрами, с букетами в руках, с циничными, наглыми, вызывающими улыбками, сидела жена хорошо известного мне гвардейского офицера, молодая красавица баронесса И.

Я не хочу бросать в нее камень.

Но в антрактах, не столько от возмущения, о, нет, не от возмущения, а просто из чувства некоторой предосторожности, я избегал с ней встречаться.

Подавленный и расстроенный, в ту же ночь я покидал Петроград, чтобы через несколько дней расстаться с ним, может быть, навсегда…

9. Исход из рая

Девять месяцев хмурого, мрачного, полуголодного существования в Российской Советской Федеративной Социалистической Республике, в утопическом царстве, в фантастическом государстве, прикрывшемся какой-то абстрактной химической формулой РСФСР, взамен великого имени — России, способны отравить жизнь даже философу.

Когда же комиссар берет вас определенно на прицел и, предъявив обвинение в организации крестьянских выступлений, предлагает одновременно должность «военрука», остается единственный выход:

Без долгих дум и колебаний
бежать из обетованного рая…

Так поступил и я, сменив свидетельство совдепа на паспорт украинского гражданина и заручившись рядом ценных наставлений. И в тот же день, благословляемый доброжелательной фортуной, с имуществом, вмещавшемся в карманы темно-синей пиджачной тройки и маленький походный чемодан, в фуражке железнодорожного агента со спасительной эмблемой на челе, уже катил на юг…

Отъезд мой был внезапным и поспешным.

Еще вчера я продолжал влачить существование в глухой усадьбе, без цели и без всяких планов, в томительной, непередаваемой тоске, с единственной, весьма слабой надеждой на изменение политических условий.

Среди всеобщего разгрома усадьба наша, как утлый островок в волнах бушующего океана, каким-то чудом еще сохранилась. Я это объясняю добрым отношением крестьян, сравнительной зажиточностью их, а главное тем обстоятельством, что наш хозяйский инвентарь не представлял особого соблазна. Хорош был только дом да пятьдесят голов высококачественного скота.

Хозяйство не лежало на моих плечах. Я исполнял домашние работы, пилил дрова, чинил заборы, расчищал дорожки, а на досуге промышлял за зайцами и птицей, пока мое охотничье ружье не перешло, увы, в чужую собственность.

Мое единственное развлечение, охота — прекратилась. Моя домашняя библиотека прочитана до последнего тома. Мои ближайшие соседи — давно покинули насиженные гнезда и разлетелись по неизвестным направлениям.

И я один, как белая ворона, приковывающий внимание местного совдепа и волостных властей.

О, смутный, темный рок!..

Какими-то окольными путями — потайными записками, передаваемыми на ухо слухами, обрывками антибольшевицких листков, доходят сведения о борьбе на юге, о Добровольческом движении, о восстании казаков на Дону, о гетманском перевороте на Украине.

Эти слухи терзают сознание и с каждым днем, все сильней, все настойчивей, толкают в сторону активных решений. Необходимо принять участие в этой борьбе, несущей России освобождение от ненавистного ига. Нельзя уклониться от великой задачи, призывающей к исполнению долга перед родной страной.

Все маленькое, личное не должно ли быть принесено в жертву во имя национальной идеи и борьбы с преступною властью, продолжающей окровавленными руками сеять смуту, разрушение, смерть?

Я утомлен физически и морально, но это не оправдание. Все чувства и помыслы мои прикованы к югу, к тем героическим людям, которые не склонили своей головы перед шайкой интернационального сброда, а слабые количеством, но сильные духом бросили вызов Москве.

И все-таки я колеблюсь…

Однако, когда уездный комиссар потребовал определенного ответа на вопрос о привлечении меня на службу в Красную армию, я понял, что на этот раз мое пассивное сопротивление не будет иметь шансов на успех.

Я очутился в невыносимом положении.

Решимость сменялась припадками малодушия. Желание отдать себя течению событий заменялось вспышками упорства. Упадок воли сопровождался тотчас притоком каких-то свежих, властных сил.

— Что делать?

К этой борьбе противоположных чувств и настроений примкнула одна маленькая женская сила, поколебавшая, однако, сразу равновесие весов. Одна из чаш метнулась высоко на воздух, другая тотчас опустилась книзу.

— Уезжай!

— А ты?

— Я остаюсь!.. Ты знаешь, я не могу уехать!.. Милый, мы скоро встретимся!

Я заглянул в глаза. В них была твердость и уверенность. В них была нежность, ласка, любовь. Я прочитал в них еще многое из того, что до сих пор стоит передо мной, как яркий и

неугасимый светоч, на моем одиноком скитальческом пути.

— Мы скоро встретимся!

Ах Лялька, предчувствие твое не оправдалось!.. Единственный, может быть раз ты обманулась в своих ожиданиях!.. Порой мне кажется, что ты сознательно ввела меня в это трагическое заблуждение, чтобы вдохнуть недоставшую мне бодрость, чтобы отбросить раздиравшие меня колебания.

— Прости, мой светлый ангел!

И вот я снова в Петрограде — беглец, навострivший лыжи, изыскивающий все возможности, чтобы преодолеть препятствия к простору, к истинной свободе, к живительному солнцу юга, к будущей борьбе с преступным интернационалом, вонзившим свои когти в сердце измученной страны…

Сначала — Лиговка с семиэтажной каменной громадой, фабрикой небезызвестного Сан Галли, один из служащих которого, инженер Веселовский, исполняет обязанности консула «Державы Украинской»…

— Товарищ, а где здесь приймается заява?

— Нехай тоби бис!.. Здесь товарищив нема! — спокойно отвечает сторож, ражий детина с опущенными книзу хохлацкими усами, способный, кажется, одним дыханием свалить слона.

Раздается одобрительный хохот.

Сконфуженный товарищ ретируется…

Вокруг меня толпится публика, по преимуществу интеллигентного обличья. Слышна малорусская речь, смех, шутки, задушевная беседа людей, связанных общностью интересов, чувством принадлежности к чему-то милому, родному, напоминающему золотое детство.

Видна предупредительность, участие и ласка, желание оказать услугу и с нарочитой резкостью отмежеваться от ненавистных методов северной коммуны…

За пять рублей, свидетельство уездного совдепа, на сером лоскуте бумаги, с серпом и с молотом, с безграмотными подписями властей, сменяется «посвидченнем» украинского гражданина.

Консул Веселовский, сравнительно молодой, так называемой, приятной наружности человек, делится получасовой беседой:

— Как гражданин Державы Украинской, с сего числа вы находитесь под покровительством ее законов!.. Переговоры нашего Шелухина с Раковским протекают во вполне благоприятной атмосфере!.. Ареста можете не опасаться, сохрани Боже!.. Насчет револьвера, как вам сказать?.. Советую не брать, чтобы не вышло случайных неприятностей со стороны германских оккупационных властей!.. Для облегчения переезда через Оршу, я

дам цидулку для вручения моему агенту!

— Итак, всего найкращего, пане атамане! — любезно заключает консул свою речь и дружески, от искреннего сердца, пожимает руку новому гражданину Украинской Державы…

Дальнейший путь лежит по Невскому проспекту.

Кассир в окошечке, на городской железнодорожной станции, меланхолически пожал плечами, блеснул зелеными стеклышками пенсне и говорит:

— Билеты проданы!.. Все до единого на три месяца вперед!.. Удовлетворить ваше желание, гражданин, к прискорбию нельзя!

Но я не отхожу от кассы и снова повторяю:

— Благоволите дать билет!.. Я должен выехать сегодня!..

Кассир пытливо смотрит на меня, потом оглядывается и тихо произносит:

— В таком случае, я попросил бы вас зайти примерно через час!.. Есть гражданин, который, может быть, сегодня не уедет!.. Я предоставлю вам его билет!

Я поклонился и ушел…

Был ясный день… Сверкало солнце… Звучали городские шумы…

В голубоватой дымке блестела Адмиралтейская Игла. Здесь, в этой части Невского проспекта, не наблюдалось оживления. Молчали заколоченные магазины, бродили одинокие прохожие, а на углах стояли изможденные старухи, быть может, дамы общества, предлагавшие какие-то изделия из патоки, муки и меда. Я обратил внимание на худощавую фигуру старика в шинели из военного сукна, продававшего газеты.

Зато налево, по мере приближения к николаевскому вокзалу, особенно на площади, среди которой стоит гранитный четырехугольный цоколь с чугунным всадником на грузном, мощном, неподвижном, расставившем тяжелые конечности коне — чудесном воплощении ушедшей в тьму веков великой императорской России — здесь, в этом прилегающем к воровской Лиговке районе, кишели толпы торгующего и шатающегося люда.

Торговля производится с лотков — мукой, черствым ситником, ржаным хлебом, баранками, мелкой мануфактурой, предметами домашнего хозяйства, казенными солдатскими вещами. Все скудно, грязно и убого. Все серо, неприглядно, как непригляден вид торгующих и спорящих людей, площадные ругательства, тяжелый вымученный хохот, тупая злоба, равнодушие и смертная тоска, сковавшая человеческие лица…

Судьба благоприятствует.

Я снова подхожу к окошечку кассира, который меня сразу узнает и, с многозначительной улыбкой, произносит:

— Какое удивительное счастье, гражданин!.. Это все равно, что выиграть двести тысяч на коночный билет!.. Чрезвычайно рад оказать вам любезность!..

Мы начинаем, кажется, друг друга понимать.

Моя железнодорожная фуражка, по-видимому, не уберегает меня от проницательности этого достойного человека, как в свою очередь, кассир становится в моих глазах, одним из тех клевретов красной власти, который с нетерпением ожидает ее пышных похорон.

Сборы мои непродолжительны и несложны.

Я провожу последние часы в своей небольшой квартире, в которой каждая вещь, каждая мелочь связаны тесно с воспоминаниями.

Подобно пчеле, собирающей мед, с детских лет имея пристрастие к книжным сокровищам, настойчиво и терпеливо, я копил книгу за книгой — поэзию, прозу, классиков и военных писателей, знаменитых исследователей, романтиков и мастеров легкой оригинальной литературы. В конце концов, образовалась солидная библиотека, из нескольких сотен тщательно переплетенных, в строгом порядке расставленных томиков.

Особый шкаф занимала детская литература, приобретенная мною на остатки от лакомств, еще в юные годы, любовно перечитанная по несколько раз до последней строчки, со следами карандашных пометок, выведенных детской рукой. Тут же рядом помещалась библиотека покойного отца с целым рядом старинных изданий, с его рукописными дневниками и тетрадкой стихов.

Старая бронза, ковры, вся обстановка, начиная от письменного стола и глубоких, обитых кожей, кресел, кончая старинным оружием, охотничьими трофеями, кирасирской каской и латами, располагала к уюту, созерцательному покою и настроению.

А со стен глядели бесчисленные картины, гравюры и фотографические группы, в особенности последние, являвшиеся наглядным отражением всей моей жизни.

Здесь были снимки детских и юнкерских лет, запечатлевшие полковые смотры и парады в высочайшем присутствии, маневры, парфорсные охоты и скачки, группы из академической жизни, наконец, целый ряд боевых сцен, за время командования мною драгунским полком.

Были фамильные акварели и несколько портретов высочайших особ, украшенных личным автографом и золотыми коронками. А центральное место занимала большая гравюра в тяжелой ореховой раме, изображавшая «Атаку под Россбахом».

Вся обстановка, все эти вещи и мелочи, собраны мною на протяжении многих лет, в соответствии с моим вкусом, в зависимости от материальных достатков. Я привык к ним, как к живым существам, которые меня окружают на протяжении моей жизни, которые вызывают в моей душе трогательные воспоминания.

О, не есть ли ошибка, эта привязанность?.. Не лучше ли, без всякого сожаления, с корнем вырвать из сердца всякую нежность, всякую ласку и любовные чувства ко всему в мире, не только к не одушевленным предметам, но и, в особенности, к живым существам?..

Время, однако, не ждет.

Башенные часы в столовой, с неумолимою точностью, отбивают положенное число ударов. В последний раз присаживаюсь на минуту за письменный стол и окидываю взором стены своего кабинета.

Сердце сжимается от горечи и тайных предчувствий.

— Прощайте, друзья, свидетели моей счастливой жизни и дум!

Верный слуга подает плащ и я целую его на прощанье.

Швейцар Карл Иванович, с чемоданом в руке, сопровождает меня на вокзал…

Я ехал с истинным комфортом.

В моем распоряжении был коридор международного вагона, а чемодан служил прекрасным изголовьем. А главное, я сознавал, что с поступательным движением экспресса, я вырываюсь из тюрьмы на волю, на радостный, ликующий простор.

— Прощай, мой Петроград!.. До лучших дней!.. Быть может, навсегда!.. Прощай, совдеп! — не без злорадства думал я, разглядывая бедные поля, луга, леса, убогие чухонские деревни.

Однако, к утру настроение внезапно изменилось.

Пронесся слух, что в Витебске нас ожидает проверка документов и вещей. Пришлось принять предупредительные меры, пожертвовать кой-чем из рыцарских доспехов и фунта на четыре облегчить свой чемодан. Но маленький смит-вессон, мой неразлучный спутник на протяжении военной службы, лежит по-прежнему в кармане…

Подъехав к Витебску, мы тотчас же подверглись испытанию.

Международный наш вагон привлек особое внимание. И целый взвод вооруженных с головы до ног солдат, растрепанных, лохматых, прокисших табаком и незнакомых вовсе с бритвою и мылом, под предводительством чумазого ефрейтора, поставив караул у выхода и входа, стал обходить купе и требовать бумаги.

Попутно раскрывались вещи и хищные глаза скользили и

вонзались внутрь. Не обошлось, само собой разумеется, без грубых сцен, ругательств, грабежа, покорных просьб и истерического плача. Мужчины сосредоточенно копались в кошельках.

Арестовали двух студентов, пробиравшихся к Деникину на Дон. Ссадили толстого, больного астмой фабриканта. Затем — свисток и поезд трогается дальше.

Мне было крайне жаль арестованных молодых людей, с таким доверием делившихся со мною своими планами, с такой горячностью мечтавших присоединиться к тем, кто нес освобождение России. Я был бессилен им помочь и на прощанье мог только шепнуть несколько слов ободрения.

На полдороге — снова остановка, в чистом поле.

Испуганная публика бросается к окошкам. Стоим четверть часа. Проводник загадочно молчит.

Через окно мы наблюдаем группу лиц, в фуражках набекрень, с винтовками в руках, в рубахах, кое-кто в шинели, глядят недружелюбно, мрачно, исподлобья.

В служебное купе, ободряя себя отборной руганью, влезает неуверенно солдат. Минуту шепчется с проводником. Мужчины снова вынимают кошельки. Свисток — и поезд двигается дальше…

Но вот и Орша…

Кругом чудовищная грязь, досчатые бараки без конца и бывший лагерь для военнопленных, обнесенный проволочным заграждением. И тысячи людей, с семействами, с домашним скарбом — поляков, латышей, литовцев, собравшихся со всех концов республики советов, томящихся, страдающих и тщетно ожидающих, по месяцам, пропуска на родину.

Я тотчас предпринимаю необходимые шаги.

Ищу по всем углам «Украинское Бюро». Случайно узнаю, что положение серьезно изменилось. Прибывший в Киев из Москвы, эсер Донсков убил немецкого фельдмаршала, графа Эйхгорна, и Троцкий, по требованию немцев, приказал закрыть границу.

Я подхожу к рогатке, вступаю в разговор с немецким лейтенантом, прошу поддержки и содействия. Но лейтенант, при всем желании, лишен возможности помочь. На пропуске необходима советская виза. Без этой визы германское командование не пропускает.

Тогда я захожу в совдеп, в оршанский совдеп, за которым, как утверждают знающие люди, установилась вполне порядочная репутация. Но через пять минут, под благовидным предлогом, я принужден стремительно покинуть это учреждение и, не взирая на законный украинский паспорт, держаться от совдепа, по

некоторым соображениям, на значительной дистанции.

Что делать?.. Как перемахнуть через рогатки?

И я болтаюсь по загаженным панелям, выспрашиваю, наконец, кого-нибудь из юрких представителей транспортной конторы Шмулевич и Ко, устраивающей, за плату от трехсот до тысячи рублей, нелегальный переход через советскую границу…

Счастливый случай оказывает незаменимую услугу.

Обдумывая план дальнейших действий, иду и балансирую по бревенчатым мосткам. На повороте сталкиваюсь с товарищем в папахе, в шинели без погон, с объемистым портфелем под рукой. Летим одновременно в грязь. С взаимным извинением, приподымаемся, знакомимся — и тут я слышу невероятные слова:

— Поручик Пожар!

Агент украинского консула на пропускном посту!..

Я стискиваю его буквально в объятиях и возношу одновременно горячую молитву моему Патрону. Потом, вручаю именной пакет, а через пять минут, уже записан от руки в общий бланк, снабженный подписями и большевицкою печатью, под дополнительным № 88…

Через час, сижу на дрожках, у таможенной рогатки.

Последнее препятствие — осмотр вещей.

Я долго ожидаю, пока в бараке происходит эта операция, пока советские чиновники, красноармейцы и чекистские агенты, удовлетворенные щедрою наживой, не покидают, один за другим, здание таможни. Тогда я захожу в полупустой барак, оглядываюсь, кидаю керенку солдату и вырываю чемодан.

Извозчик мчит меня галопом по шоссе.

Я на свободе!..

Кругом немецкие жандармы, стальные шлемы, бескозырки, немецкое походное сукно. Спокойный, методичный, тяжеловесный разговор. Немецкий комендант выстраивает и осматривает пассажиров. Под наблюдением серьезных шуцманов, в порядке, чинно, после десятикратного штемпелевания билетов, садимся в скотный вагон и прибываем в Гомель…

В Гомеле сажусь на пароход «Петр Великий» и медленно спускаюсь по Днепру…

Я радуюсь, как маленький ребенок… Гляжу на небо, воду, серебристый берег… И, тихо и беззвучно, смеюсь, смеюсь, смеюсь…

Ты помнишь мачты сонные, как в пристанях Лорэна,
Взносились из туманности речной голубизны,
К эфирной осиянности, где лунная Сирена
Качала сребролонные, немеющие сны?

Мы знали-ль, что нам чистый серп в прозрачности Лорэна,
Гадали-ль, что нам ясная пророчила звезда —
До утра сладострастная нас нежила Сирена,
Заутра ждал глухой ущерб и пленная страда.

10. Киевские олеографии

Пышный, яркий, привольный, раскинувшийся под золотым солнцем юга на крутом берегу величавого днепровского лона, зеленеющий кудрявыми шапками садов и скверов, сверкающий куполами древних храмов, соборов, монастырей, столичный град Державы Украинской, единый притягательный центр всей русской, еще недорезанной буржуазии, устремившейся с берегов Москвы-реки и с торцовых проспектов голодного Петрограда под надежную сень немецких штыков…

Залитый щедрыми украинскими лучами Крещатик… Сытая, шумная, радостная толпа… Женский смех, раскатистый хохот, гул восторженных восклицаний…

Звонки трамвая, рев автомобилей, команда, крики, колокольный звон… Проходит гетманский конвой, бегут разносчики газет, кричат торговки, мелькают пышногрудые киевлянки… Повсюду горы хлеба, арбузов, фруктов, булок… Кругом неугомонное, движенье, переливы красок, блеск, водоворот картин, калейдоскоп широкой, привольной, сытой жизни…

Я отдыхаю душою и телом.

Утром пью чай с настоящим сахаром, с белым, сладким киевским хлебом, брожу по оживленным бульварам, забираюсь в Купеческий сад, усаживаюсь над крутым обрывом Днепра, наблюдаю толпу и, вместе с нею, радуюсь улыбкам и смеху.

Когда же переношусь, на мгновенье, в мертвый город на берегах Невы, ощущаю непередаваемый ужас и пытаюсь скорей отогнать могильный призрак…

Мимо меня, с серьезным достоинством, проходит типичный буржуй, широкозадый, плотный, с короткими, унизанными золотом перстами, с массивною цепочкой на животе. Рядом с ним плывет дородная супруга, в синем шелке, с бриллиантовыми грушами в ушах.

Опираясь на трость и волоча ногу, с боевым крестом в петлице походной куртки проходит капитан армейской пехоты. Со смехом бегут юные девушки в белых кружевных платьях, преследуемые такими же молодыми людьми.

Вот группа украинских «старшин» — хорунжих, значковых, сотников, с золочеными гетманскими кокардами на смушковых шапках, в широких национальных свитках и шароварах с ярким лампасом, с кривым казацким клычом на боку.

А вот, в подобной же форме, проходит ряд знакомых лиц… Ба, ба, ба, ну, конечно, я узнаю их сразу, невзирая на украинский

маскарад…

— Ваше превосходительство! Владислав Владиславович!.. Сколько лет, сколько зим?

Это генеральный хорунжий Дашкевич-Горбацкий, элегантный, вылощенный «момент», бывший штаб-офицер войск гвардии и петербургского военного округа и лектор пажеского Его Величества корпуса, а сейчас состоящий при особе ясновельможного пана гетмана, в качестве свитского генерала… По этому случаю, у Владислава Владиславовича на груди золотой аксельбант и малиновые лампасы на шароварах, а для солидности отпущена небольшая, совершенно свитская бородка.

— Мое поваженье!.. Дуже приемно! — говорит снисходительным тоном Владислав Владиславович и, в соответствии с занимаемым положением, милостиво протягивает два пальца. — Дуже приемно! — повторяет генеральный хорунжий, но, запутавшись на последующей фразе, великодушно переходит на русский язык.

А вот, в форме гетманского конвоя, перетянув талию до невозможности и широко распустив юбку короткой свитки, с неизменной самодовольной улыбкой, проходит другой украинец — полковник Ванька Дедюлин, племянник покойного дворцового коменданта.

Их много этих украинцев и, как нарочно, с самыми самостийными украинскими фамилиями — генеральный значковый фон Акерман, фон Дельвиг, Гернгросс, Петерс, фон Брендель и прочие.

Наблюдаю нескольких офицеров бывшего гвардейского кавалерийского корпуса, в цветных фуражках кавалергардов, лейб-гусар, кирасир. Одни в старой военной форме, большинство в статском. В высокой енотовой папахе проходит сухая, длинная, как верстовой столб, фигура генерала от кавалерии графа Келлера. Наконец, встречаюсь с моим милым начальником, князем Юрием Ивановичем Трубецким…

Бряцая саблями, с сигарами в зубах проходят два немецких лейтенанта. Сухие крепкие лица с подстриженными усами, тонкие фигуры в расцвеченных оранжевыми кантами уланских «фельдграу», в походных фуражках, по русской манере надетых несколько набекрень, со смятыми небрежно полями — особый кавалерийский шик — в желтых перчатках, с привязными шпорами на коричневых кожаных крагах.

Немцы подходят к самой балюстраде и, вынув бинокль, поочередно, делясь короткими замечаниями, смотрят на Днепр, на песчаный противоположный берег, на дали в фиолетовых красках заката.

Они стоят передо мною, мои победители и враги, залившие слезами и кровью Россию… И я гляжу и молча созерцаю тех, с которыми когда-то, в дыму и пламени кровавых вакханалий, встречался в озерных пространствах Мазурии, на равнинах тихого Буга, на полях Тарнополя и в снеговых ущельях Карпат…

Не чувствую ни гнева, ни вражды… Угар войны прошел, а многое в них достойно, кроме того, примера и подражания… И я утешаюсь мыслью, что не в бранном поединке они выбили оружие из наших рук, что не их доблесть, а наша русская мягкотелость и глупость превратила победу в позорное поражение…

Нужно отметить, что поведение немецких войск в украинской столице было безукоризненным. Ни тени насмешки, военной бравады, оскорбительного задора. Корректность, выдержка, вежливость и спокойствие. Можно себе представить, как вело бы себя христолюбивое русское воинство на асфальтовых проспектах Берлина?..

Солдаты — верх дисциплины, железный слиток, монолит. Особенно, когда шагая мерными шагами по мостовой, мощными колоннами проходит батальон за батальоном, в своих тяжелых, грозных, глубоко сидящих на голове шлемах, с винтовками однообразно вдвинутыми в плечо…

Обедаю в том же саду, на открытой террасе, с очаровательным видом на Днепр. Публики все больше и больше. Весь Петроград и Москва, весь финансовый, деловой, промышленный и общественный, сановный и артистический мир перекочевал сюда, в этот общероссийский центр, в этот обжорный ряд, на ласковый юг, под защиту Украинской Державы…

Когда же вспыхивают фонари и тихая украинская ночь заключает город в свои нежные и душистые объятья, когда унизанный золотыми огнями он продолжает жить особою, потаенною жизнью, не кажется ли мне все это каким-то странным, когда-то, где-то виденным сном, обворожительною мечтою, волшебною сказкой?

В саду гремит оркестр и в теплом воздухе разносится мелодия венского вальса… Из-за ветвей сверкают лампионы, горит луна, миллионами очей мерцают звезды… Внизу блестит и дышит спокойный, старый, серебристый Днепр…

На середине Крещатика, в большом сером доме, помещается известное кино Шанцера. Здесь идут лучшие боевики сезона — «Отец Сергий», с участием Ивана Мозжухина, ряд вполне доброкачественных сценариев немецкого производства, с заслуженною королевой экрана — Хенни Портен. Само собой разумеется, кино всегда переполнено, как киевлянами обоего пола, так, в одинаковой степени, и чинами германского

оккупационного корпуса.

Рядом же, в соседнем доме, на втором этаже, помещается лотошный клуб и общество «Кадровых офицеров русской армии».

В большом зале идет игра. Публика, склонившись над карточками, одни спокойно, другие с заметным волнением, в особенности, если образовалась коварная «кварта», прислушиваются к выкликаемым цифрам:

— Пять!.. Двадцать четыре!.. Восемьдесят один!..

В отдельных комнатах играют в преферанс или в винт. Здесь же, можно поужинать за три-четыре карбованца, или просто закусить у буфета. Молодые дамы и барышни разносят чай, прислуживают, беседуют с друзьями, знакомыми.

Здесь можно быть свидетелем неожиданных встреч.

Вот, например, эта брюнетка с матовым цветом лица, которая стоит за буфетною стойкой, мне кого-то напоминает?.. Я узнаю ее… Это жена адъютанта лейб-гусарского Павлоградского полка, Нелидова, вышедшая впоследствии замуж за командира того же полка, полковника Абалешева… Того самого Абалешева, который был когда-то моим сослуживцем по кирасирской бригаде, а потом, весьма бойко зашагав по иерархическим ступеням, получил звание свитского генерала и, наконец, должность начальника Второй гвардейской кавалерийской дивизии, в «Гвардкаве»…

Вместе с нею прислуживает другая женщина, молодая, хрупкая, тоненькая, с миловидными чертами лица… Я прекрасно знаком и с нею… Это дочь бывшего командира Первого сибирского корпуса, генерала Плешкова, сестра моего однополчанина по полку гатчинских кирасир, жена павлоградского ротмистра Гебеля…

И я выслушиваю трагическую историю, которую Марья Михайловна мне передает…

Большевицкий переворот застал обеих подруг в Орле. С большими затруднениями, мужьям удалось пробраться в Орел, захватить семьи и выехать на Украину. На пограничном посту, при осмотре генеральских вещей, чекисты обнаружили портрет государя с именной надписью и Георгиевский крест. Генерал Абалешев и ротмистр Гебель, тут же, без всякого суда, чуть ли не на глазах своих жен, были расстреляны…

В траурный синодик я заношу еще ряд знакомых имен.

В январе, во время занятия Киева Красной армией товарища Муравьева, несколько сот офицеров погибло насильственной смертью. Среди них был убит мой сослуживец, генерал Тихомиров, лейб-гвардии Кирасирского Ее Величестна полка полковник Чебышов и молодой граф Армфельдт, кавалергард

Скалон…

В гостинице Гладынюка был зарезан полковник лейб-гвардии Уланского Его Величества полка Домонтович, расстрелян конногренадер, флигель-адъютант полковник Стефанович. Несколько позже погибли — лейб-гвардии Драгунского полка полковник барон Неттельгорст и лейб-улан Осоргин… В Новочеркасске расстрелян мой однокурсник по академии, донской атаман Назаров…

В клубе кадровых офицеров, кроме встреч со знакомыми и друзьями, можно получить сведения относительно Добровольческой армии. Уже, многие, увы, вырваны из ее рядов безжалостною рукой. Пал Корнилов, погиб геройскою смертью молодой генерал Марков. Но теснее сомкнулись добровольческие шеренги. Генералы Деникин и Алексеев формируют новые части, вступают в переговоры с Доном, с Украиной, придают движению широкий национальный характер.

Одновременно, идет запись в другие антибольшевицкие формирования — в украинские войска, в русский корпус, в Северо-Западную армию, в особую Южную армию, создаваемую, как утверждают, на немецкие средства, при содействии герцога Лейхтенбергского, под командованием генерал-адъютанта Иванова…

В тот же день, меня ожидала еще одна оригинальная встреча.

Вечером раздался стук в дверь, в мой номер вошел молодой офицер и представился:

— Прапорщик Корнильев!

Я от души рассмеялся, обнял его и расцеловал.

Это был Колька Корнильев, сын бобылихи Корнильевой из нашей деревни. Когда умерла бобылиха, Лялька, моя нежная Лялька, по неизреченной доброте своей, взяла сирот в дом, пригрела, воспитала, поставила на ноги. Бойкая, смышленая Тоня стала помощницей по хозяйству и камеристкой. Маленький Колька одно время был пастушонком нашего стада.

Теперь он стоит передо мной в офицерской форме, с одной звездочкой на погонах и даже с каким-то орденом на груди. Его простое, широкоскулое лицо улыбается от блаженства. Колька горит жаждою подвига, ненавидит большевиков, записался в какую-то военную организацию и на днях уезжает в Псков…

Я сижу на скамейке с Гри-Гри, тем самым Гри-Гри Давыдовым, который будучи командиром батареи Его Величества и без пяти минут флигель-адъютантом, тринадцать лет тому назад, в злосчастный день крещенского парада с водосвятием и Иорданью, отсалютовал по императору боевою картечью.

Бедный Гри-Гри сильно пострадал за эту роковую

небрежность и, как известно, за ним навсегда управилась кличка «стрелка по императорской фамилии»…

Я вспоминаю с ним этот печальный случай, а мимо нас бегут мальчишки с вечерними телеграммами:

— Убийство Николая II!

— Трагедия в Екатеринбурге!

— Смерть царской семьи!..

То что две недели тому назад передал мне князь Юрий Иванович Трубецкой, к чему я отнесся с долей известного недоверия, стало совершившимся фактом.

В Екатеринбурге, в доме инженера Ипатова, содержавшийся в заключении император, со всею семьей и, разделившими с ними их долю, придворным лейб-медиком Боткиным и несколькими верными слугами, камердинерами Харитоновым, Труппом и камер-юнгферой Демидовой, в ночь с 3/16 на 4/17 июля погиб трагической смертью.

Я вспоминаю, что это известие, напечатанное черным по белому на странице экстренного листка, не поразило меня и даже не особенно взволновало. Это было в порядке того дикого и кровавого, русского бунтарского лихолетья, которое захлестнуло безумием и горячечным бредом измученную страну, бросило брата на брата, раскидало миллионы русских людей во все стороны, в вихре сатанинского пляса.

Можно относиться по-разному к бывшему русскому самодержцу — благоговеть перед его именем или, наоборот, видеть в нем маленького, неудачного человека, развеявшего по ветру свое могущественное наследие.

Кто в состоянии отрешиться от апофеоза величия, которым в той или другой степени окружена фигура каждого венценосца, тот не пройдет равнодушно мимо деятельности последнего императора, сознательных и несознательных промахов, фатальных ошибок, приведших к роковому концу.

Но кощунственная расправа не может быть оправдана и забыта. Неизгладимый позор ложится на русский народ, запятнавший себя неслыханным преступлением, утративший на этот раз свое обычное великодушие, всепрощение, жалость.

Без суда, в полутемном подвале с женой, с больным отроком на руках, с четырьмя чистыми, прекрасными девушками-царевнами русский самодержавный царь принял смерть от озверелых русских людей и прикрывшихся русскими именами окаянных злодеев.

Сколько достоинства и смирения было проявлено им в заточении, и не отпускает ли его мученическая смерть все прегрешения, вольные и невольные, на вечные времена?..

Я задумываюсь над судьбой человеческой и погружаюсь в глубокое размышление. Бесконечною вереницей плывут картины старого величавого прошлого, осеняемого гордым двуглавым орлом…

Как ярок был пролог этой повести и как печальна ее заключительная глава!..

11. Павло Скоропадский

Судьба и политический каприз, в годину полного развала русского государства, выдвинули его на историческую арену.

Потомок знатного малороссийского рода, кавалергард, блестящий свитский генерал, боевой кавалерийский начальник и, наконец, — ясновельможный пан гетман Всея Украины!..

Четыре месяца киевской жизни предоставили мне возможность достаточно близко приглядеться к этому лицу, восхваляемому одними, в качестве национального героя, травимому другими, как русского предателя и изменника.

Он канул ныне в историческую вечность и это дает право быть вполне откровенным…

Огромный полутемный кабинет гетманского дворца и электрическая лампа на письменном столе.

Статная фигура с орлиным профилем красивого, тонкого, породистого лица, с бритою головой и небольшими светлыми усами, в черной черкеске, с белым Георгиевским крестом на левой стороне груди.

Таков общий портрет, невольно импонирующий, невольно вызывающий в сознании какие-то смутные представления и образы далеких предков…

С Павлом Петровичем Скоропадским я не встречался уже два года, со времени командования им Первой гвардейской кавалерийской дивизией и армейским корпусом.

Он побледнел, осунулся, обрюзг. Кое-где уже видны морщины и серебром тронуты виски. Переживания войны и революции несомненно оставили след. Кроме того, не прошла даром тяжелая работа в этом котле политических хитросплетений и интриг.

Голос его звучит тихо и неуверенно. Как будто человек не взвесил сил и, очутившись на вершине власти, сознал свое бессилие, как будто почувствовал ложность путей и разгадал в близких приятелях — коварных врагов.

И в откровенной беседе звучит тоска, горечь, отчаяние:

— Проклятые немцы!

В самом деле, блестящий командир конной гвардии, начальник кавалерийской дивизии, с успехом состязавшийся в открытом бою, в Киеве он сидел пленником германского кайзера и оказался ничтожной величиной, как государственный деятель и политик.

Краткая история его возвышения такова.

Сломив сопротивление русского фронта, углубляя большевизмом разрушительную деятельность в центре России и

подготовляя социалистическими опытами тучную ниву для будущих экономических захватов, германская дипломатия и Генеральный штаб учли необходимость создания на Украине иного метода действий.

Главнейшая задача, проводившаяся ими с неуклонной и строгой педантичностью на Украине, заключалась во-первых в том, чтобы оторвать цветущий юг от общей матери России и подчинить его немецкому влиянию, во-вторых, искоренив анархию, создать из Украины обширную материальную базу для продолжения войны.

Отсутствие сильной, организованной армии, страх перед большевицкой заразой, уже обдавшей своим ядовитым дыханием Украину, общая растерянность, а также растущее недовольство помещичьих, капиталистических и коммерческих кругов социалистической программой Рады, создало благоприятную почву для апрельского переворота.

Идея же гетманства, в вихре центростремительных явлений, вызванных русской революцией, была вполне естественна, как следствие общей болезни.

Таким образом, силою немецких штыков, не без наличия известной бутафории, свиты Его Величества генерал Скоропадский стал ясновельможным гетманом Украины…

Без всякого сомнения, он мог отказаться от этой высокой чести и отойти в сторону. Не будем разбираться в побуждениях, толкнувших его на этот весьма скользкий путь. Патриотизм, долг, честолюбие или тщеславие — каждое в отдельности и взятое вместе, может быть, сыграли здесь известную роль.

Едва ли, однако, этот лично вполне порядочный человек, богатый, независимый, знатный, своим рождением, воспитанием, семейным положением и продолжительной военной службой принадлежавший России, мог оборвать навсегда свои связи с нею и стать верным немецким вассалом.

Мне представляется, что высокий пост гетмана, генерал Скоропадский предполагал использовать иначе. Другими словами, временно подчиняясь единственной реальной силе немецких штыков, он стремился сохранить Украину от большевицкого разгрома и, в соответствующую минуту, на тех или других основаниях, вернуть ее законному хозяину — России.

Присматриваясь к работе гетманского правительства, наблюдая закулисную жизнь и прислушиваясь к биению общественного пульса, нельзя было не разглядеть зловещие трещины в здании Украинской Державы.

Искусственно воздвигнутое на почве, хотя бы и черноземной, без прочного фундамента, не связанное необходимым цементом,

это здание ласкало взоры игрою красивых линий, причудливостью орнаментов, капителей и прочих архитектурных украшений.

Но прочной постройки не представляло и рухнуло при первом порыве ветра.

Благие начинания гетмана и правительства натыкались на чье-то упорное сопротивление и не получали осуществления. Созыв Национального сейма, аграрная реформа, экономическая и внутренняя политика — затягивались, или оставались только в проекте, или велись неопытными руками, раздражая население и национально настроенные общественные круги.

Создание украинской армии, препятствуемое немецким командованием, свелось лишь к утверждению обширных штатов, организации огромного количества учреждений старого бюрократического типа, устройству самых незначительных кадров и разработке формы одежды.

Народное образование, хозяйство, торговля, финансы, юстиция, министерство сообщений, или «державных залианиц», министерство «мистецтв», или изящных искусств, копируясь по прежним, достаточно изжитым шаблонам, вертелись в заколдованном кругу. Недоставало лиц, способных возвыситься до требований момента и от теорий перейти к продиктованной обстановкой практике, недоставало кругозора, воли, размаха, добросовестных и достойных сотрудников.

А между тем, министерства переполнялись людьми. Все, с величайшею легкостью, устраивались на различные должности, с улыбкой изучали «мову», что-то болтали, что-то строчили и отдавали свою стряпню «урядовцам», для перевода на официальный язык.

Подобного тунеядства и легкомыслия, такой служебной вакханалии и синекур, не наблюдалось нигде, разве лишь в соседнем РСФСР…

Есть ряд оснований быть снисходительным к гетману и его правительству, стремившимся все-таки добросовестно заложить устои какой-то государственности, создать правовой порядок, организовать армию, провести неотложную аграрную реформу, наладить экономическую жизнь.

Но отсутствие здоровой национальной идеи и непримиримая борьба партий, бдительный контроль оккупационных немецких властей, общественная расхлябанность, продажность, оппортунизм и, наконец, может быть, самое главное — предчувствовавшаяся бесцельность всей этой украинской мелодрамы, созданной по немецкой указке, привели к тому, что работа власти представляла, в общем, драматическую феерию, с

пышными декорациями и яркими бенгальскими огнями, оставившими, по окончании спектакля, лишь драный холст и чад.

Столица же напоминала огромный заезжий двор, куда стеклось, со всех концов России, запуганное и безвольное человеческое стадо, справлявшее веселый пир на кратере вулкана и лопнувшее вскоре, как гнойник, под жестким каблуком совдепа.

С невольной улыбкой я вспоминаю киевскую жизнь, мои наблюдения и откровенные беседы с представителями гетманской власти.

В конце концов, это был политический фарс, с необходимою игрою в самостийность, с борьбою политических комивояжеров, со сменами кабинетов, с невинным балаканьем на «мове», с державною «працей» в министерствах, с ясным сознанием непрочности всей затеи.

С горечью в душе, пришлось наблюдать попытки иноземных врагов и собственных ренегатов расколоть на части две сросшиеся ветви великого русского народа.

Скованный немецкими цепями, запутавшийся в клубке противоречий и придворных интриг, совершенно не разбираясь, по природной доверчивости и ординарности ума и воли, в окружавших его людях, гетман Павло Скоропадский, на своем тяжком посту, не проявил ни мудрости, ни гибкости, ни прозорливости государственного мужа.

Он не изменник, но конечно и не национальный герой.

Это самый обыкновенный человек, со всеми достоинствами и недостатками своей среды, по капризу исторического рока, оказавшийся на вершине призрачной власти в такую минуту и при такой обстановке, когда и гений Наполеона с талантами Талейрана и Фуше в придачу, без всякого сомнения, потерпел бы крушение…

12. Державна праца

Судьба не вознесла меня на исторические высоты и заставила выступить лишь в роли незначительного статиста. Кроме того, она ограничила круг моей деятельности не столько политикой, сколько сферою чистого искусства.

И я благословляю ее каприз, предохранивший меня, в данном случае, от многих соблазнов…

Крошечный чулан в Крещатицком переулке заменяет временно номер гостиницы. Неожиданный стук в дверь выводит меня из задумчивости. Рослый конвоец, с национальной блакитно-желтой кокардой, вручает пакет:

> Негайно. Таемно.
> «Ясновельможный пан Гетман прохае
> вас прибуты до нього».
> Выконуючий обовязки начальника штаба
> генеральный хорунжий Стеллецкий.

Таким образом, я принимаю участие в заседаниях, под председательством гетмана, в составе кабинета министров начальника Генерального штаба и трех представителей «обер-коммандо»…

Я вижу перед собой очень ясно эту картину.

Гетманский дворец на Липках с бравыми часовыми у входа, с комендантом главной квартиры, генеральным хорунжим Присовским, с гетманским генерал-адъютантом, безобидным стариком Лоховым в вестибюле, с Сахно-Устимовичами, Вишневскими и генеральным писарем бывшим армейским штабс-капитаном Полтавец-Остраницой.

Дежурный флигель-адъютант, сотник Крига, провожает до дверей гетманского кабинета.

Заседание занято разработкой плана борьбы с местным большевизмом, на Украине. Начальник Генерального штаба, молодой подполковник Сливинский, стоя у географической карты, делает подробный, весьма обстоятельный доклад. Подполковник даровит и талантлив, а в маленькой фигуре и очертаниях профиля крупной, большой головы, можно, пожалуй, усмотреть даже внешние признаки Бонапарта. Утверждают, будто начальник украинского Генерального штаба чрезвычайно гордится этим случайным сходством и пытается даже в манерах подражать великому корсиканцу.

Кабинет министров, во главе с премьером Лизогубом,

производит зато весьма бледное впечатление. Это все какие-то «мертвые души», за исключением, впрочем, министра внутренних дел, бывшего московского адвоката, Игоря Кистяковского, весьма речистого, бойкого, напористого дельца, которому «пальца в рот не клади».

Представители немецкого «обер-коммандо», в лице полковника графа Альвенслебена и двух майоров Генерального штаба, сидя в небрежной позе, дымят сигарами, улыбаются, перекидываются между собой отдельными фразами. Кажется, будто они присутствуют только так, из приличия. Дебаты их мало интересуют, ибо все уже предусмотрено, до мельчайших подробностей, в штабе оккупационной германской армии.

Поведение немцев явно раздражает гетмана. Он обрывает на полуслове свою речь, говорит не вполне гладко несколько немецких фраз, останавливается, ищет подходящие выражения и, в заключение, бросает сидящему адъютанту:

— Кочубей, переведите им по-немецки!

Товарищ военного министра, генерал Лигнау, принимает в своем кабинете, со стен которого на меня глядит неизменный Тарас Шевченко и широковещательные инструкции:

«Прохаемо балакати по украински!»

На этот раз, генерал Лигнау, в виде исключения, ведет беседу на русском языке. Ибо на наречии кобелякских торговок не легко вести политическую дискуссию. С галицийской же «мовой» генерал пока не справляется, как не справляется ни один украинский министр, ни сам гетман.

Генерал Лигнау всецело поглощен планом предстоящей борьбы с украинским большевизмом. В нем запас незаурядной энергии, и большевикам, кажется, несдобровать.

Думал ли в эту минуту генерал Лигнау, что судьба сыграет с ним коварную шутку?

Она заставит его, в близком будущем, сесть в Одессе на пароход «Саратов», переплыть Индийский океан, через Владивосток приехать в Омск, к «верховному правителю», адмиралу Колчаку, с тем, чтобы тотчас попасть в большевицкие лапы и обслуживать, в настоящее время, какой-то захолустный Реввоенсовет…

Генерал Лигнау, с таинственным видом, сообщает ряд чрезвычайно «таемных», доверительных сведений и делает предложение:

— Что бы вы сказали про должность «генерала для звычайных поручений» при ясновельможном, для связи с немецким обер-коммандо?

— Или про должность генерала, для формирования авто-, авиа- и танкочастей при сердюцкой дивизии?

— Наконец, не исключается кандидатура на пост киевского губерниального старосты?

Я задумываюсь.

Эти соблазнительные посты не отвечают моим скромным силам. Кроме того, у меня совсем другие планы, и на пребывание в Киеве я смотрю лишь, как на временный этап.

Я принужден ответить отказом:

— Дякую!.. Благодарю вас!.. Я собираюсь ехать в Добровольческую армию!

Лигнау хмурится:

— Прикажете передать ваш отказ военному министру?

— Пожалуйста!..

С военным министром у меня непродолжительная беседа:

— Я вас вполне понимаю!.. Уезжайте, это наше общее дело!.

Бедный старик!.. Знал ли в эту минуту генеральный бунчужный Рагоза, что это общее дело станет предметом мелочного торга?.. Что запылает в кровавом огне гражданской войны Великая Держава Украинская?.. Что рухнет Всевеликий Дон и станицы Кубани?.. Что все дело освобождения родины от советского ига сведется к трагической катастрофе?.. А сам он закончит дни в одесском застенке, под большевицкими пулями?..

На посланную мной телеграмму начальнику штаба Добровольческой армии, генералу Ивану Павловичу Романовскому, моему однокурснику по академии, я получил короткий ответ:

«Кирасирскую дивизию не предположено формировать».

На письма и на последующие телеграммы не получил никакого ответа…

С горечью я почувствовал, что в услугах моих не нуждаются.

Впрочем, может быть, я ошибался?.. А, может быть, в самом деле, оказался бесполезным и лишним в этой борьбе?..

Между тем, дни текли и вместе с ними уходили последние денежные ресурсы.

Положение вскоре стало настолько острым, что передо мной, в полном объеме, вырос вопрос о какой-либо службе.

Я встретил как-то на улице генерала Юрия Никифоровича Данилова, бывшего генерал-квартирмейстера Ставки, служившего теперь в каком-то банке. Бывший командующий 6-й армией, генерал Цуриков, служит контролером в экспедиции. Начальник кавалерийской дивизии, генерал Мошнин, состоит председателем

домового комитета в меблированных комнатах Познякова. Генерал Шварц сотрудничает в киевских газетах.

Я виделся с генералом Розеншильд-Паулиным, вернувшимся из германского плена, пытающегося получить частную службу. Генерал Шильдбах-Литовцев, по-прежнему суетливый и путанный, принимает какое-то участие в формировании Южной армии. Но эта организация, как и многие другие, не внушает доверия и, в скором времени, развеется, как дым.

Я встречался несколько раз с одним из быховских узников, моим другом юности, бывшим товарищем министра путей сообщений на театре военных действий, Владимиром Николаевичем Кисляковым. Даровитый генерал не имел определенной работы, носился с какими-то коммерческими планами, не терял обычного бодрого настроения и едва ли чувствовал стоявшую за его спиной лютую смерть. Через каких-нибудь полгода, он будет растерзан в Полтаве.

Целый ряд друзей и знакомых — генералы Бискупский, Савельев, Пулевич, Стеллецкий, Юнаков, Галкин и много других, поступило на гетманскую службу. А милейший полковник Василий Васильевич Темченко занимает даже пост «головного интенданта» Державы Украинской.

Большинство из них не имеет никакого отношения к малорусскому происхождению. Это не служит препятствием. У меня, в этом смысле, есть даже известные преимущества.

В моем положении оставалось последовать их примеру.

Мне удалось получить место в Техническом комитете.

Через несколько дней, генеральный хорунжий Стеллецкий снова вызвал меня в походную канцелярию и обратился со следующими словами:

— Пан гетман возложил на вас поручение… Вы назначаетесь председателем комиссии по разработке украинских орденов!.. Вот общая схема!.. Члены по вашему усмотрению и по соглашению с министром «мистецтв», Дорошенкой!..

Я принял это назначение.

Я готов был принять теперь какое угодно назначение, ибо в одинаковой мере стал утрачивать веру во все. И в то самое время, когда петлюровские банды шли первым походом на Киев, комиссия по разработке украинских орденов приступала к выполнению возложенного на нее поручения.

Состав комиссии был невелик. Председатель, два члена — молодой историк Модзалевский и художник Георгий Нарбут, секретарь — капитан генерального штаба Вишневский.

Но зато схема была грандиозна.

По этой схеме предполагалась разработка статутов целого

ряда знаков отличий: железный крест, жалуемый за борьбу с большевиками, орден Ярослава Мудрого — за заслуги на гражданском поприще, дамский орден Святой княгини Ольги, крест Володимира Святого, орден Архистратига Михаила — за боевые доблести и, наконец, крест и звезда Славы и Возрождения Украины, все это различных степеней, на различного цвета орденских ленточках, с дарованием кавалерам соответствующих привилегий.

Несколько заседаний было посвящено разработке общего плана. Модзалевский рылся в архивах и подводил под каждый проект историческое обоснование. Художник Нарбут воплощал его в красках на бристольском картоне. Председатель критиковал и делал поправки. Секретарь вел журнал заседания и выдавал суточные карбованцы.

Работа довольно успешно подвигалась вперед.

Каждый из участников мог убедиться на этом наглядном примере в продуктивности комиссий, составленных из ограниченного числа членов.

Иногда, впрочем, возникали серьезные разногласия на принципиальной почве. Модзалевский и Нарбут отстаивали национальную точку зрения, с уклоном в сторону самостийности. Председатель держался обратного взгляда, отстаивая по возможности российскую ориентацию, за что удостоился, не взирая на малорусское происхождение, клички «кацапа».

Таким образом, крест Архистратига Михаила, аналогичный по-своему значению ордену Георгия Победоносца, почти ничем от последнего не отличался, ни формой, ни цветом, ни видом орденской ленточки. То же самое можно сказать и в отношении ордена Володимира Святого.

Что же касается прочих знаков отличия, статуты которых разрабатывались впервые, здесь фантазия художника Нарбута получила полный простор.

В особенности великолепен был крест Славы и Возрождения Украины. Роскошные знаки состояли из голубой и желтой эмали, в золоте, в серебре, на широкой блакитно-желтой ленте, украшенной известной эмблемой, которую киевские шутники, в форме весьма оскорбительной для национального самолюбия, называли «комбинацией из трех пальцев».

В результате соединенных усилий комиссии по разработке украинских орденов, за неделю до падения Киева, гетману был представлен на утверждение Железный крест, изготовленный ювелирной фирмой Иосифа Маршака и сплоченный пятьюстами карбованцев из председательского кармана.

Крест получил одобрение и был утвержден. Председатель и

члены комиссии получили светлейшую гетманскую благодарность.

Дальнейшие события оборвали деятельность комиссии самым нежелательным для нее образом…

Я вспоминаю этот маленький эпизод без злопыхательства и насмешки. Кроме того, я далек от мысли оправдывать себя в этой деятельности, которая, помимо всего прочего, привела меня прямым путем к петлюровскому застенку.

Я вспоминаю это событие в моей политической жизни только, как образец того, чем была занята голова украинских Наполеонов и Талейранов, как высоко было понимание насущных государственных задач в новоиспеченной Державе и сколько ошибок, сознательных и несознательных, больших и малых, а в результате гибельных для общего дела, было допущено в эти веселые и трагические киевские дни…

Конец первой книги

Рассказы

Адмиральша

1

Адмирал сэр Джордж Уонтвен — да святится имя его ныне и присно, сухой, тонконогий, с бритым, исхлестанным соленым ветром лицом, воплощал образец английского джентльмена.

Это он, командующий военно-морскими союзными силами в водах Архипелага, повинуясь голосу чести, выказал примеры героической доблести в скорбные одесские дни.

Это он, носясь под большевицким огнем на своей белокрылой «Сагите» по взбудораженной гавани, принимал на борт обезумевших мужчин, женщин, детей, подавал помощь перегруженным транспортам и пытался даже вытащить на буксире пароход с одесским институтом благородных девиц.

Его ли вина, что стальной трос не выдержал непосильного напряжения и одесские институтки остались в порту?

В дальнейшей судьбе русского беженства, сэр Джордж Уонтвен проявил те же черты рыцарской доблести в соединении с лучшими мотивами британского сердца. Когда транспорты, скученные в водах Босфора, переживали тысячу и одну муку подневольного карантина, адмирал собственной персоной посещал пароходы с тифозными, ободрял пассажиров, отдавал распоряжения о поставке медикаментов и припасов за счет своей личной казны.

А когда маленький доброволец «Томск», собравшийся в далекий владивостокский рейс, в течение семи суток тщетно добивался разрешения турецких властей на право свободного выхода из цареградского порта, сэр Джордж Уонтвен уладил дело в несколько коротких минут.

Кое-кто утверждал, что подобному обороту вещей пассажиры обязаны молодой русской женщине, именно той, которой английский адмирал, с особой нежностью и усердием, жал на прощанье маленькую белую ручку…

Впрочем, справедливость требует указать, что со всеми пассажирами сэр Джордж простился ласково и тепло, пожелал счастливой дороги и, спускаясь по трапу, воскликнул:

— Олл райт!.. До свиданья, друзья!.. Я надеюсь, мы с вами еще увидимся!

Чёрез минуту загудела труба.

Стальной дрожью заколотилось чрево отходящего парохода. Засвистели свистки, загрохотали лебедки, тяжелая якорная цепь

протянулась по палубе. «Томск» развернулся, плавно описал полукруг и направился к выходу.

В сизой дымке, вонзаясь в лазурное небо, еще сквозили чеканные стамбульские минареты. Зеленели оливковые сады. Позлащенная солнцем горела фиолетовая вода. Отражаясь сонной сказкой, сверкал дворец Долма-Бахче. Чернели кипарисы Скутари. Точно белогрудая чайка, белела «Сагита».

Адмирал, стоя в катере во весь рост, махал белой фуражкой, и его сухое, бритое, исхлестанное ветром лицо запомнилось навсегда…

2

Пароход добровольного флота «Томск», предводимый капитаном дальнего плавания, Мартыном Берзинем, насчитывал в составе команды старшего штурмана, трех механиков, кока и девятнадцать матросов.

Кроме того, имелось известное количество пассажиров.

Всех пассажиров, по упрощенному признаку, можно было подразделить на две группы — статскую и военную.

Первая из них состояла из лиц весьма разнообразного типа. Здесь были отставные министры украинского правительства, перестроившие, с крушением гетмана, самостийную ориентацию в сторону колчаковской великодержавной идеологии, готовившиеся предложить свои силы и опыт новой сибирской власти.

Министры занимали каюты первого класса.

Было несколько полтавских помещиков, сумевших в ударном порядке сменить украинские карбованцы на более прочную английскую валюту, влекомых к неведомым берегам, в поисках более тихой, обеспеченной от политических штормов гавани.

Черноземные помещики со своими супругами довольствовались каютами второго класса.

В третьем классе помещались литераторы, журналисты, студенты, особы мало известных и вовсе неизвестных профессий.

Что касается лиц второй группы — штаб- и обер-офицеров различных родов оружия, сухопутных, морских и воздушных, в количестве двенадцати человек — последние, из соображений экономических, были размещены в трюме.

Это был небольшой сборный отряд, спаянный, однако, воинской дисциплиной и, как некие аргонавты, плывший в таинственную Колхиду. Но не в поисках золотого руна, а в более высоком стремлении к боевой удаче на снежных сибирских полях.

И не чернокудрый грек, воитель Язон, а рыжеволосый и седоусый, с легкой проплешиной на затылке, бравый, трижды контуженный, армейский полковник Громыко стоял в голове белогвардейской дружины.

Совершенно особое положение занимала молодая русская женщина, по имени Антонина Васильевна.

В распоряжение молодой пассажирки, по приказу английского адмирала, был отведен целый салон, наполненный, точно оранжерея, левантинскими орхидеями, пионами и нарциссами, пышными хризантемами, ирисами, левкоями, букетами алых роз из бывших садов падишаха.

Четыре английских матроса еще накануне завалили каюту молодой женщины коробками и картонками различных фасонов. Благосклонная любезность сэра Джорджа Уонтвена не укрылась от внимания пассажиров.

— Адмиральша! — прошипела госпожа Кулябко-Корецкая, супруга украинского министра.

Кто-то поддакнул, кое-кто засмеялся, кое-кто с удовлетворением оглядел стройную фигурку в белом костюме, с широкополой соломенной шляпой на голове.

Поздним вечером «Томск» вошел в Дарданеллы…

3

Ротмистр Елита фон Вольский был первым из пассажиров, который в короткий сравнительно срок, едва ли не на параллели Лесбоса, завязал знакомство с молодой русской женщиной.

Рослый, щеголеватый, с безупречным гвардейским проб ором, разделявшим руно черных блестящих волос на две четкие половины, затянутый в столь же безупречный походный мундир, он был, без сомнения, наиболее импозантной фигурой среди двенадцати русских конквистадоров, влекомых музой дальних странствий на завоевание сибирского материка. Ротмистр обладал безукоризненными манерами, носил белый Георгиевский крест и монокль, писал стихи и, по всем этим причинам, был как бы окутан легкой дымкой романтики.

Его знакомство с Антониной Васильевной носило характер светской благопристойности с оттенком некоторого снобизма.

В тот утренний час, когда древнее солнце Эллады проливало ласкающие лучи на едва колеблющуюся поверхность того же эллинского моря, он подошел к Антонине Васильевне, одиноко стоявшей у бакборта, приподнял фуражку, звякнул шпорами, завязал незначительный разговор.

Ротмистр осведомился сперва о состоянии здоровья молодой пассажирки, преподал ряд советов на случай морской болезни, произнес несколько фраз по поводу красоты античного ландшафта, с лазурной скатертью моря и рассыпанным по ней крошками беломраморных островов.

«Пышно, в златой колеснице, грядет розоперстая Эос!» — процитировал ротмистр строчку из Илиады, после чего, в деликатной, весьма почтительной форме, коснулся более интимной темы.

— Сударыня, я восхищен! — произнес ротмистр Елита фон Вольский. — Какое необыкновенное мужество со стороны молодой женщины пускаться в столь опасный и рискованный путь!

Антонина Васильевна улыбнулась:

— Что же тут опасного?.. Чудное море!.. Милые люди!

Антонина Васильевна рассмеялась и, откинув со щеки белокурую, пронизанную золотой ярью солнца, шелковистую прядь, в свою очередь, произнесла несколько фраз.

Потом, прерывая речь взрывами хохота, собеседники трижды совершили прогулку по палубе, от носа вплоть до самой кормы. Через какой-нибудь час, полулежа в шезлонгах, молодые люди стали друзьями.

Прошли одни сутки, и на другой день Антонина Васильевна уже находилась в центре общего поклонения и любопытства.

Двенадцать военных чинов, сухопутных, морских и воздушных, с легкой руки ротмистра Елиты фон Вольского, окружали Антонину Васильевну, расточали знаки внимания, наперебой, один перед другим, пытались заслужить милостивую улыбку. Антонина Васильевна, с чрезвычайной простотой, с милым женским лукавством, протянула нить взаимной симпатии. Сразу установился некий сердечный контакт и случайное знакомство стало на более прочное основание.

Однако, кое-кто находил поведение молодой женщины предосудительным и бестактным.

Зависть, ревность, тщеславие, тысяча низменных чувств отравляли сознание кое-кого из числа пассажиров, наблюдавших с пренебрежительной усмешкой, как отгороженная плотной стеной лейтенантов и веселых поручиков, Антонина Васильевна порхала по палубе, смеялась звонким молодым смехом, протягивала руки для поцелуев.

— Бесстыдница! — шипела госпожа Кулябко-Корецкая.

— Душечка, я не нахожу слов! — овевая бумажным веером грузное тело, шептала помещица Рощаковская.

А кругом расстилалась лазурная скатерть, над мачтами

вились белогрудые чайки, за кормой тянулась жемчужная, исчезавшая у горизонта дорога, по которой некогда плыл легендарный Уллис…

4

В Александрийском порту пассажиров ожидало первое разочарование.

По причине арабских волнений, спуск русских беженцев на африканский берег был воспрещен. Тщетно представитель пароходной команды, капитан Мартын Берзинь, пытался сломить упорство британских властей. Тщетно отдельные пассажиры совали стоявшему у трапа английскому солдату белую бумажку с изображением короля Георга V. Ходатайство русского консула, в свою очередь, не увенчалось успехом.

Британские власти были неумолимы.

К вечеру, когда истомленные созерцанием берега, одни пассажиры в тоске бродили по палубе, а другие, усеяв борты парохода, пытались проникнуть взорами за таинственную завесу, разгадать волшебный мираж и хотя бы мысленно приобщиться к беспокойной городской жизни, окунуться в буйный водоворот, раствориться в пестрой мавританской толпе, кому-то из влиятельной публики первого класса пришла в голову удачная мысль.

Спустя четверть часа, специальная депутация направились к Антонине Васильевне, окруженной, как обычно, плотным кольцом молодежи в золоченых погонах и, вместе с нею, отдававшейся вынужденному безделью.

— Душечка! — произнесла помещица Рощаковская и участливо прикоснулась к плечу. — Милль пардон, если я попрошу вас на парочку слов!

Она увлекла за собой Антонину Васильевну и, шаркая ногами в толстых войлочных туфлях, оживленно затараторила, сопровождая речь энергичной жестикуляцией.

— Положение возмутительное! — затрещала помещица Рощаковская. — Эти англичане настоящие изверги!.. Душечка, вы не находите?.. Они взирают на нас, как на каких-то рабов!.. На нас, на столбовых дворян Российской империи?.. Наша честь подвергается оскорблениям… Душечка, на вас вся надежда!.. Надеюсь, вы не откажете сообщить адмиралу?

Антонина Васильевна вспыхнула и широко раскрыла глаза. Потом на минуту задумалась и, с ласковой покорностью, прошептала:

— Хорошо!.. Я сообщу адмиралу!

Радиотелеграмма, в одно мгновенье, пронизала пятьсот миль морского пространства, светлым вестником докатилась до яхты, мягко покачивавшейся в бухте Золотого Рога, и попадала в нужные руки.

Сэр Джордж Уонтвен отделен огромностью расстояния.

Но незримая тень адмирала сопровождает повсюду маленький пароход с белосинекрасным вымпелом на корме.

И выражаясь поэтическим образом ротмистра Елиты фон Вольского, не успела «в златой колеснице появиться розоперстая Эос», как от каирского сердара, фельдмаршала лорда Алленби, пришло необходимое разрешение…

А в порту забастовка.

Сотни океанских судов стоят на тяжелых якорях в гавани. Не дымят пароходные трубы, не работают краны. Только на русском маленьком добровольце наблюдается жизнь.

Со скрипом ползут железные цепи, грохочут лебедки, темнокожие арабы-грузчики, в пику британским властям, возбужденно, с удесятеренной энергией, наполняют угольные ямы.

Ибо Россия — страна Свободы!..

5

Пароход медленно режет лиловую, чуть мохнатую грудь Красного моря, стеля над ним сизоватый дымок. Время от времени, на штирборте виднеется низкий берег ливийской пустыни и, гонимый ветрами, сыплется на палубу горячий песок.

Знойно, колюче африканское солнце!

Воздух накален до предела. На палубе протянуты тенты. В каютах день и ночь жужжит электрический вентилятор. На корме отведено защищенное пологом специальное место, в котором мужская половина, в определенные часы, добросовестно поливает друг друга соленой струей из брандспойта.

Костюмы с каждым днем становятся все более откровенными.

На смену теплой одежде появились легкие блузки и пиджачки, безрукавки, сетчатки, пижамы. На параллели Медины и Мекки произошло необычайное происшествие. Антонина Васильевна появилась в купальном трико, поверх которого был накинут на плечи китайский халатик.

— Распутница! — шипела госпожа Кулябко-Корецкая.

— Это, наконец, возмутительно! — вздыхала разомлевшая помещица Рощаковская. — Душечка, вы не находите, что в

интересах морали необходимо принять нужные меры?

Иеромонах Афродит, сменивший суконную рясу на чесучовый хитон, с тропическим шлемом на голове, защитив глаза от соблазна и солнечного блеска непроницаемыми консервами, воровато озирался, крестился мелким крестом и шептал:

— Дьяволица! Блудница содомская!

Антонина Васильевна не реагировала на оскорбления. Она их не слышала. Полулежа в шезлонге, окруженная неизменными спутниками, она отдавалась той радости жизни, которая возможна лишь в возрасте двадцати лет, при цветущем здоровье, избытке молодых сил.

Она улыбалась, смеялась звонким серебряным смехом, лукаво подмигивала, а то, внезапно переменив тон, делала замечания:

— Поручик Фирсов, потрудитесь побриться!

— Коломейцев, застегните пижаму!

В этой дружеской обстановке, посреди пустынного моря, в этой легкой атмосфере влюбленности, сгущаемой солнечным зноем, молодое общество проводило досуги.

Бренчала гитара, распевались русские песни, тягучие и надрывные, от которых сосало под ложечкой и щемила горькая, безпричинная, тупая тоска. Бывший субалтерн императорского конвоя, кавказский князь сотник Вачнадзе передавал армянские анекдоты. Летчик морской авиации лейтенант Багрецов имитировал пассажиров, рисовал шаржи, подражал звукам зверей. Ротмистр Елита фон Вольский читал стихи:

Я проснулся утром, было рано,
Воздух был еще росист и ясен,
Пел прибой и гулы океана,
И весь мир казался мне прекрасен.
Целый день, как пламя, солнце лило,
И сапфир, и жемчуг, и топазы,
И в душе, с волшебной юной силой,
Расцветали манго и экстазы!..

Он читал их с исключительным выражением, усиливая текст театральным взмахом руки, останавливая на Антонине Васильевне взор своих серых, жестких, холодноватых глаз.

После ряда лет, протекших в условиях тяжкой войны, после многих месяцев еще более суровой братоубийственной брани, огрубевший и очерствевший, изголодавшийся по наслаждениям жизни, ротмистр Елита фон Вольский, помимо эстетических чувств, ощутил жадное физическое влечение к молодой

породистой самке.

Он не скрывал перед ней этого, вполне естественного влечения, на которое Антонина Васильевна, с улыбкой и смехом, отвечала шутливым отказом…

Вечером, стоя на пароходном носу, возле свернутой бухты канатов, и наблюдая в пене и фосфоресцирующей волне игру проворных дельфинов, Елита фон Вольский имел с молодой женщиной продолжительный разговор.

— Охота вам, право, обращать внимание на этих пижонов! — говорил ротмистр фон Вольский, полируя специальной щеточкой свои миндалевидные ногти. — Они вас не стоют, они вас не понимают!.. Между тем, вам хорошо известны мои чувства!.. Божественная, я люблю вас безумно и безгранично!.. Но я не вижу взаимности и страдаю!

Антонина Василеевна улыбнулась.

— Юрий Александрович, оставьте! — произнесла молодая женщина. — Я вас всех очень люблю!.. Поверьте мне, всех без исключения!.. Все вы милые, славные!.. Оставьте, я вижу кто-то идет!

— Есть! — со вздохом, на морской образец, шептал Елита фон Вольский. — Мой час еще не пришел!

Он вскинул монокль, простер руку по направлению к горизонту и перешел снова на декламацию…

6

Уже далеко позади осталось бутылочное горло Баб-эль-Мандеба и, подгоняемый вздохом муссона, «Томск» направляет полет к цейлонским пальмовым берегам.

Две недели утомительного пути тянутся безконечно.

Уже изведаны все радости океана — восходы и упоительные закаты, сапфиры и топазы воды, игра золотых облаков и созвездие тропического Креста, прибитого бриллиантовыми гвоздями к куполу черного неба.

Уже прискучили стаи летающих рыб, кувыркающиеся дельфины, стада гигантских нарвалов, взметающихся на яркой волне.

Уже все пассажиры известны друг другу вплоть до восьмого колена. Уже имели место неизбежные ссоры, стычки, взаимные пререкания, а к довершению зла, все ощутительней становятся вздохи муссона.

Океан глухо ревет, вздымая исполинские горы, обрушивая на палубу потоки теплой воды, погружая пароход в яростную

пучину. Трещат канаты и снасти, и вот-вот готов, кажется, треснуть стальной, крепко схваченный болтами борт под напором дикой стихии.

Бледны лица утомленных людей и добрая половина лежит в приступах мучительного недомогания. Все раздражены, все клянут рок, пославший столь жестокое испытание, оторвавший от тихой, мирной, веками налаженной жизни в пределах родной земли.

Кое-кто, впрочем, еще крепится.

Господа офицеры, в первую очередь, пытаются бороться с незримым, внезапно налетевшим врагом, и оказывают ему стойкое сопротивление.

Но далеко не все, каких-нибудь пять-шесть человек, не более, составляют сейчас окружение Антонины Васильевны, хрупкой молодой женщины, единственной, по какому-то необъяснимому признаку, не поддающейся лютой болезни.

А поведение Антонины Васильевны, по достоинству, должно быть названо самоотверженным.

Презирая тысячу и одну опасность, подвергая нежное тело ударам ветра и волн, пересиливая естественную брезгливость, Антонина Васильевна, с искусством подлинной милосердной сестры, оказывала посильную помощь всем страдавшим, недуговавшим, изнемогавшим под бременем чудовищной качки.

Она спускалась в трюмное помещение к чинам военной дружины. Она подымалась наверх и посещала каюты первого и второго классов, отпаивая больных коньяком, ромом, лимонной водой, внося точно ангел-хранитель, точно златокудрый, веющий белыми крыльями херувим, мир и покой в души истомленных людей. И пересуды, злые сплетни, оговоры и шепотки, мало по малу, неожиданно замолкали. Обаятельность, ласковость, сердечная простота обезоруживали самых упорных недоброжелателей.

Антонина Васильевна не щадила себя в течение нескольких дней, пока продолжался демонический шторм, пока, в свою очередь, примерно на параллели Коломбо, не подверглась тяжкому испытанию.

И ни что иное, как супружеская честь, как женская добродетель Антонины Васильевны в эти душные муссонные дни повисла на жалком, ничтожном, тоненьком волоске…

7

Был вечер и, казалось, что океан умерил свою дикую ярость.

Утомленная дневными заботами, в смутном, неясном, меланхолическом настроении, молодая женщина лежала в шезлонге, подле спардека, и вела беседу с ротмистром Елитой фон Вольским.

Освеженный бурею воздух оказывал благотворное действие. Оранжевый закат догорал. Тропическая ночь катилась быстро, молниеносно.

— Елита, мне скучно! — неожиданно, после того, как разговор на минуту умолк, с капризной ноткой в голосе, проговорила Антонина Васильевна. — Елита, разскажите что-нибудь интересное?.. Развлеките меня?.. Скажите экспромт?

Ротмистр вытянул ноги в алых гусарских чакчирах, взглянул на падавший сумрак и, как обычно, усиливая фразу взмахом руки, произнес:

Был горизонт чернее, чем подмышки
Нубийских дев,
А сатана, страдавший от одышки,
Оскалил зев!..

— Божественная! — внезапно переменив тон, прошептал Елита фон Вольский. — Я больше не в состоянии!.. Это свыше человеческих сил!.. Поймите, больше я не могу!

Антонина Васильевна изумленно раскрыла глаза.

— Вы деспот! — продолжал ротмистр. — Вы злостная, бездушная, избалованная кокетка!.. Вы желаете довести меня до самоубийства?.. Fiat volunta tua!.. Да будет воля твоя!.. Ротмистр Елита фон Вольский пал жертвой своей мучительной страсти!.. Ха-ха-ха-ха!

Ротмистр прекратил демонический смех, выбросил из глаза монокль и задумался.

— Итак, вы принципиально не желаете мне отдаться?.. Что делать?.. В таком случае, придется пойти на компромисс!

Он поднялся со стула, театральным жестом наклонил голову и произнес:

— Гвардии ротмистр Елита фон Вольский делает предложение и просит вашей руки!.. Надеюсь, теперь вы удовлетворены?.. Закон соблюден в полной форме!

Антонина Васильевна улыбнулась:

— Юрий Александрович, благодарю вас за честь!.. Но вы забыли, что я уже состою замужем?

Нет, ротмистр Елита фон Вольский, как и прочие одиннадцать русских конквистадоров, отлично знает, что Антонина Васильевна имеет законного мужа… Что этот муж

молод, обладает большими достоинствами и любит свою жену… Что, в настоящее время, он находится в рядах Добровольческой армии и кровью добывает истинную свободу России…

— Глупости! — произнес ротмистр. — Это не имеет абсолютно никакого значения!.. Я разведу вас с вашим мужем!.. Впрочем, вероятно он будет убит!

Антонина Васильевна нахмурилась:

— Юрий Александрович, как вам не стыдно?.. Наконец, вы ведь сами женаты?

— Глупости! — повторил ротмистр Елита фон Вольский. — Это так же не имеет значения!.. Я разведусь со своею женой!.. Я буду свободен, независим, богат!.. У меня тысяча десятин в Калужской губернии!.. Я окружу вас комфортом!.. Я создам вам царскую жизнь!

Антонина Васильевна звонко расхохоталась.

— Безумец! — проговорила она и легким прикосновением ударила ротмистра по губам.

Наступило продолжительное молчание.

— Елита, вы милый, славный, искренний человек! — произнесла, как бы в некоторой задумчивости, Антонина Васильевна. — Елита, вы нравитесь мне, но это право же невозможно!.. Будьте благоразумны!.. Не сердитесь на меня!.. Будьте пай-мальчиком и мы сохраним лучшие отношения!.. Пойдемте, я угощу вас коктейлем!

Антонина Васильевна поднялась, прошла по палубе и спустилась в свою каюту.

Молча, в мрачном, подавленном состоянии ротмистр последовал за молодой женщиной…

8

Большой китайский фонарь освещал комнату матовым светом. Мягкий ковер заглушал звуки шагов. В каюте было душно и жарко. В углу жужжал электрический вентилятор. В другом углу стоял широкий диван и маленький столик с хрустальной вазой, наполненной мандаринами.

Из потайного шкафчика, искусно вделанного в стену, Антонина Васильевна извлекла серебряный шеккер и пару винных бокалов. Наполнив бокалы вином, молодая женщина протянула один из них ротмистру и, устремив на него серые, пылавшие суховатым блеском глаза, чокнулась и сказала:

— Елита, за нашу дружбу!

Бутылка была опорожнена в течение получаса.

Тесно прижавшись в углу дивана, держа руку в руке, молодые люди продолжали прерванную беседу. Беседа не клеилась. Паузы становились все более продолжительными. Горячее дыхание затуманивало рассудок.

Елита фон Вольский склонился к соседке.

Инстинкт хищного необузданного самца пробудился с властной силой. Одной рукой ротмистр обнял Антонину Васильевну за талию, другая рука опустилась на тяжело дышавшую грудь.

Не встретив сопротивления, она ловко, точно молодой гибкий уж, скользнула за легкую блузку и прикоснулась с жадностью к теплому телу, к упругому горячему полушарию, затрепетавшему под дерзкой лаской.

В следующее мгновенье, склонившись еще ниже, Елита фон Вольский почувствовал на своих губах жар пламенных уст. Две душистые ручки обхватили его за шею.

Еще мгновенье…

Внезапно ротмистр Елита фон Вольский ощутил мучительный приступ болезни… Лицо его из красного стало зеленым… К горлу подступил холодный комок… Руки непроизвольно разжались и повисли, как плети…

Антонина Васильевна очнулась.

— Елита, оставьте меня! — прошептала Антонина Васильевна.

Ротмистр Поднялся и пошатывающейся походкой, хватаясь за стены, направился к выходу.

Этой минуты он не мог себе простить в течение всей последующей своей жизни…

9

Жемчужный цейлонский берег с белым гребнем прибоя, с мохнатыми пальмами, со слонами и сингалезами, со всеми тайнами первозданной экзотики…

А потом Сингапур, примостившийся на самом экваторе, разделяющий арийский мир от китайского, стоящий на страже британского военно-морского могущества, волшебный и несказанный, испепеляющий солнечным блеском…

А потом чудовищный город на Ванг-Пу, желудок и сердце многомиллионного желтоликого мира, город буддийских храмов, небоскребов, пароходных контор, джаз-банда и гонгов, город оргиастического безумия, кощунственной роскоши и нищеты…

Все позади, позади!

Точно в феерической панораме промелькнули изумительные видения, крик, смех, разноязычный говор толпы, звуки и запахи пряных тропических дней, отравляющих сладким медленным ядом.

И, как яд, сладки воспоминания!..

В каждом порту маленький пароход добровольного флота кидал якорь на протяжении полных четырех суток. И в течение этих суток, свободно и безвозбранно, пассажиры прикасались русскими подошвами к чуждой земле.

Черноземные помещики с супругами и украинские министры, сойдя на берег, находили приют в интернациональном отеле. Что касается скудной средствами военной дружины, последняя проводила ночи на пароходе и только с наступлением дня, спустившись по трапу, прыгала в поджидавший сампан.

Антонина Васильевна и в эти минуты не покидала своих друзей.

Молодая женщина ввела только тропические прогулки в своеобразные рамки. Так, перед каждым прибытием в порт, она извлекала из дорожной сумочки изящный блокнот и крупным, размашистым почерком, в присутствии всех двенадцати конквистадоров, заносила «дежурство», такое же точно дежурство, какое в царское время имел при своей особе государь император.

— Приказ по главной квартире за № 3! — оглашал сочным баском полковник Громыко. — Капитан Саблин!.. Князь Вачнадзе!.. Лейтенант Черкез!

Антонина Васильевна, в сопровождении свиты, сходила на берег. Четыре колясочки рикш подхватывали компанию, возили ее по укатанным цейлонским и сингапурским аллеям, спускали у входа в ботанический сад, подле магазинов и ресторанов.

— Вачнадзе, расплатитесь по счету! — обращаясь к кавказскому князю, говорила Антонина Васильевна и, вынув из сумочки горсть кредитных билетов, швыряла на стол.

С наступлением вечера, компания возвращалась на пароход.

И пароход снова плыл к новым, еще неизведанным берегам и, одновременно, плыли часы, дни, недели…

Как сказочный мир, белеют высокие японские берега, с глубокими фиолетово-синими омывающими морями, с криптомериями и камфарными рощами, с игрушечными домами, с маленькими, игрушечными, смеющимися тихим придушенным смехом людьми в пестрых керимонах и кимоно, постукивающими деревянными гетта — чап-чап! — по деревянным панелям.

Страна священной вишни и хризантем, самураев и гейш, вековых храмов и древних, как храмы, традиций, вырастает в блеске восходящего солнца.

— Приказ по главной квартире за № 12! — снова оглашает полковник Громыко. — В дежурство назначаются — корнет Миловзоров, поручик Толстой, ротмистр Елита фон Вольский!

Еще несколько дней и, в бронзовой оправе заката, уже голубеют аметисты дымчатых сопок.

«Томск» кидает якорь в золотой бухте Владивостока…

10

Двенадцать конквистадоров стоят с вещами в руках на пристани и наблюдают любопытную сцену.

Молодой рослый мужчина, атлетического сложения, в мундире капитана сибирских стрелков, обнимает Антонину Васильевну, всю раскрасневшуюся от волнения, от радостной встречи.

— Мой муж! — смеется лукаво Антонина Васильевна.

— Мои телохранители, — улыбается Антонина Васильевна и по очереди представляет господ офицеров.

Двенадцать русских конквистадоров, увлеченных музой дальних странствий на край русской земли, переживают ряд странных, сложных, противоречивых чувств.

Тоска, горечь разлуки, сладость воспоминаний, изумление, трепет нежной влюбленности и трогательный восторг — все, в эти минуты, объемлет души двенадцати взрослых мужчин.

Некоторая неловкость и замешательство были, впрочем, непродолжительны.

Начальник белогвардейской дружины, седоусый полковник Громыко, выступил из рядов, отвесил земной поклон и воскликнул:

— Антонине Васильевне — слава!

— Слава, слава! — зычно, на всю пристань, грянуло двенадцать мужских голосов.

И клик звучал до тех пор, пока пролетка с прекрасной «Адмиральшей» не скрылась за поворотом…

Чудо на Висле

1

Поход Красной армии на Варшаву является одним из любопытнейших и поучительных фактов современной военной истории.

Эта война дает некоторую возможность судить о боевой мощи советского государства.

Но многое еще остается неясным.

В частности, до сих пор остается открытым вопрос — было ли большевицкое наступление серьезной попыткой насаждения коммунизма на Западе, при содействии красных штыков, или же вышло случайно, в порядке реакции на польский набег на Киев?

Внезапный переход в наступление и захват поляками Мозыря и Речицы был как бы сигналом к развитию боевых действий в широком масштабе.

Сосредоточив десять пехотных и две кавалерийских дивизии, польское комадование бросает главную массу войск в киевском направлении.

Большая активность, проявленная со стороны противника, заставляет красное командование организовать переброску сил с различных участков Гражданской войны и немедленно образовать Польский фронт.

Как известно, в течение всего периода борьбы советской власти с Добровольческой армией, на польскосоветской границе наблюдалось затишье. Только после крушения белых вождей, поляки почувствовали, что настал и их через решительной борьбы с красными.

Если до сих пор на польской границе стояли каких-нибудь четыре советских дивизии, через несколько месяцев силы красных возросли до двадцати пяти дивизий пехоты и трех дивизий конницы.

Польский фронт стал неожиданно главным фронтом, от стойкости которого зависело существование независимой Польши…

2

Главная масса красных войск сосредоточена к северу от Пинских болот.

Генеральный штаб требует немедленного удара в этом направлении, против живой силы врага.

Но главнокомандующий Пилсудский подчиняет стратегические соображения политическим планам, подписывает договор с «головным атаманом украинских революционных войск», пресловутым Симоном Петлюрой, и польская армия, в составе сорока пяти тысяч штыков и шести тысяч сабель, двигается на Киев.

Армия стремительно наступает, не встречая сопротивления. Через две недели армия занимает Киев. Поляки ликуют. Петлюра, во главе своих двух дивизий, торжественно дефилирует по улицам украинской столицы.

Но большевики не придают особого значения Южному фронту.

Оперативная идея преследует задачу — посредством комбинированного удара 4-й (Сергеев), 15-й (Корк), 3-й (Лазаревич), 16-й (Сологуб) армий, с конным корпусом Гая, рассеять и уничтожить группировку противника в районе Глубокое — Докшицы.

Все свои усилия большевики сосредоточивают в западной зоне, накапливают огромные силы и готовятся перейти в наступление…

3

Во главе красных войск стоит бывший полковник Генерального штаба Сергей Каменев, добросовестная посредственность, характеризуемая, как «человек с большими усами и маленькими способностями».

Начальником штаба является генерал Павел Лебедев, в свою очередь, усердный специалист, которому Красная армия обязана разработкой своих основ.

Кроме того, существует еще Особое совещание, во главе с старым Брусиловым и рядом заслуженных генералов, Поливановым, Гутором, Зайончковским и прочими.

Под давлением этих лиц, командующий Западным фронтом, товарищ Гиттис, замещается бывшим гвардейским поручиком Тухачевским, молодым честолюбцем, не лишенным военного дарования.

В качестве комиссаров назначаются Уншлихт и Смилга.

Первый же приказ по фронту призывает красных бойцов «отмстить за поруганный Киев и утопить Пилсудского в польской крови».

Особое совещание, под председательством Троцкого, отдает директивы. Тухачевский переходит в быстрое наступление. Четыре армии фронта, одним ударом, проникают на сто верст в глубину польского расположения.

Польский штаб заметался, уводит части из Киева, безпорядочно передвигает резервы…

4

А на юге вырастает другая гроза.

Конная армия Буденного, со штабом, составленным из молодых генштабистов, закончив сосредоточение в Умани, кидается в тыл полякам, на Житомир и на Бердичев.

Конные массы врезаются в самую гущу обозов, этапов, резервов, устраивают кровавую рубку и гонят охваченных паникой поляков.

Разбитые, ошеломленные смелым ударом, польские дивизии в беспорядке откатываются назад. Через неделю, осколки польских дивизий уже находятся на том рубеже, с которого начали свое наступление.

А в Варшаве, в старом Бельведерском дворце, под председательством Пилсудского, экстренно собирается военный совет, в составе военного министра генерала Сосновского, начальника Генерального штаба генерала Развадовского, и высших начальников.

— Что делать?

— Как быть?

Генерал Шептицкий, командующий Польским фронтом, глубоко потрясен обеими катастрофами на севере и на юге. Он заявляет, что положение безнадежно, что война проиграна, что необходимо заключить мир на каких угодно условиях…

И в то время, как на Южном фронте польские дивизии трещат под оглушительными ударами Конной армии, красное командование вторично бросает армии Тухачевского и конницу Гая на запад.

Пятнадцать красных дивизий грозной лавиной обрушиваются на поляков. От первого же удара, 1-я и 4-я польские армии откатываются до сильной оборонительной линии Березины, без всякой попытки на ней задержаться, и бегут в минском и игуменском направлениях.

В графическом отношении группировка наступающих сил имеет вид железного молота, ударная часть которого состоит из 4, 15 и 3-й армий, а рукоять этого молота состоит из 16-й армии

и Мозырской группы товарища Хвесина.

— Даешь Минск? — кричат в бешенстве большевицкие комиссары, нагоняя на тачанках войска.

В стремительном беге красные вышибают поляков из Минска. Из главной польской квартиры летит приказ задержаться во что бы ни стало на линии Вильно и старых германских окопов.

Но красная лавина неудержимо катится на поляков.

— Даешь Вильну?

Вильна захвачена. Польские войска останавливаются на линии Немана, опираясь на Гродну. Но красная конница форсирует реку, пехота обтекает крепость, поляки покидают форты.

В такой обстановке, без всякого сопротивления, бросается Осовец, Брест-Литовск, линия Буга. Перед красными армиями открывается панорама польской столицы. По всему красному фронту несется исступленный клич:

— Даешь Варшаву?..

5

«Победоносный поход красных армий произвел огромное впечатление», пишет Пилсудский. «Это было впечатление калейдоскопа, вызывавшего хаос в расчетах, в приказах и в действиях. Калейдоскоп непрерывно вращался и сегодняшний день был совсем непохож на вчерашний. А фигуры этого калейдоскопа — отступающие польские дивизии и полки, перемешанные с географическими названиями, представляли собой какую-то невероятно путанную кадриль».

Однако, с подходом красных армий к линии Вислы, тылы растянулись до чрезвычайности, транспорты не успевали подавать необходимые для боя и жизни припасы. Непрерывное движение начинало обескровливать войска во всех отношениях. Боевая работа не была соразмерена с работой тыла.

Тухачевский по этому поводу выражается так:

«Хорошо наступать, когда железные дороги исправны, когда связь работает без перебоев, когда войска пополнены до положенного по штату».

Эти слова советского главкома не случайно совпадают с мнением командующего 1-й германской армией, генерала Клука, наступавшего на правом крыле немецкого фронта, в первые дни великой войны.

Сделав скачок в триста километров, генерал Клук был бы так же не прочь на неделю-другую остановиться, привести в порядок

расстроенный тыл, пополнить снабжение своих войск. Кроме того, не мешало бы урегулировать вопрос оперативной связи с соседом, с генералом Бюловым, договориться и с Мольтке о дальнейшем наступлении на Париж.

Это не случайность, а естественная потребность, которую в таких случаях диктует неумолимая боевая обстановка. Боевой пульс армий только тогда бьется правильно, когда в его жилах имеется кровь.

Широкий же размах в оперативных планах командующего Западным фронтом был обратно пропорционален состоянию тылов его армий и хозяйственных ресурсов страны…

6

А на юге, советский Мюрат, товарищ Буденный, отшвырнув все приказы главнокомандующего, атакует своей конницей Львов.

Получается изумительная картина.

В то время как армии Тухачевского и Мозырская группа продолжают развивать наступление к Висле, Буденный кидается к Львому. В то время, как армии Тухачевского несутся на северо-запад, с целью обойти Варшаву, Конармия атакует в юго-западном направлении, и красные силы расходятся веером в разные стороны.

Советский фронт становится тоньше и тоньше.

У Варшавы он готов совсем разорваться.

Чтобы заткнуть дыру между фронтами, главковерх Каменев передвигает Мозырскую армейскую группу. Двадцать приказаний летят навстречу Буденному, чтобы немедленно бросить львовское направление и спешить к Варшаве. Каменев пререкается с начальником штаба Южного фронта, бывшим полковником Петиным. Комиссар Южного фронта Сталин шлет ругательные телеграммы Буденному и его комиссару Климу Ворошилову.

Но уже поздно.

Буденный ввязался в бой и завяз во львовских тенетах.

В таком рискованном положении фронт Тухачевского подходит к Варшаве. Две армии, 4-я и 15-я и конный корпус Гая кидаются еще дальше, к северо-западу, на Плоцк-Влоцлавск-Тори, с целью глубокого обхода столицы. Польским армиям отрезан путь отступления.

Приближается кризис кампании.

Красный серп продолжает резать и трепать крылья белого орла, а молот уже нацеливается нанести смертельный удар голове…

7

Французский генерал Вейган, бывший начальник штаба маршала Фоша, выступает в скромной роли «технического советника польского штаба».

С появлением Вейгана наблюдается резкий тактический перелом.

Прежде всего, часть польских войск выводится из соприкосновения с красными. Их убирают за Вислу и, под прикрытием реки, сосредоточивают в три мощные кулака.

Вейган, вполне убежденный, что главные силы противника обходят линию с севера, принимает удачное решение прорвать фронт.

Красные атакуют и захватывают первую линию варшавских предмостных укреплений, в то время как главные силы готовятся нанести решительный удар с севера.

Паника в городе достигает предела.

Переполненные поезда увозят испуганных обывателей. Формируются женские батальоны. В костелах идут горячие богослужения. Правительство готовится к переезду в Познань.

«Советское правительство», в лице Дзержинского, Мархлевского и Уншлихта, готовится торжественно вступить в город.

В этот момент начинается польский контрманевр, руководимый генералом Вейганом…

8

Сосредоточенная южнее Варшавы, 4-я польская армия переходит неожиданно Вислу и вонзается в Мозырскую группу товарища Хвесина.

Как щепки от топора, слабая, ненадежная, наспех сколоченная Мозырская армейская группа разлетается во все стороны.

Красный фронт прорван в одно мгновенье.

На следующий день польские войска разбивают левое крыло 16-й армии Сологуба, берут в плен дивизию и пятьдесят пушек.

Круто повернув на север, поляки наступают в сторону «прусского корридора», против фланга двух других красных армий и конницы Гая. Правее 4-й армии генерала Рашевского, наступает 3-я армия генерала Жилинского, левее — 5-я армия генерала Сикорского.

Три польских кулака, гоня перед собой красных бойцов,

энергично наступают на север, с целью захлопнуть ловушку.

Тухачевский уже не получает сведений от своих армий, связь прекращена, предчувствие катастрофы начинает проникать в сознание молодого советского полководца.

Он резко меняет весь план и шлет приказ за приказом об отступлении.

Но большая часть его войск уже заперта в «корридоре», а меньшая — разорванные и разбитые 16-я и 3-я армии, в полном беспорядке, теряя тысячи пленных, орудия и обозы, бегут на восток…

9

Красные дивизии переходят прусскую границу и кладут оружие.

Только Гай, командир конного кавказского корпуса, упорный, неукротимый, бешенный Гай, не желает сдаваться.

— Мы прорвемся через польскую сволочь! — яростно кричит он, проскакивая перед полками. — Конная армия, слу-ша-ай!

Он кидается на Млаву, атакует головные части 5-й армии и прокладывает себе дорогу.

Но подходит 4-я польская армия и закрывает свободный выход.

Снова густой массой несется конница Гая и, в шашечной рубке, уничтожает 49-й полк.

Гай на свободе!

Но в Грабове ему загораживает дорогу 202-й полк.

Новая атака и полк разлетается в стороны.

У Хоржеле конный корпус натыкается на бригаду «сибирских поляков», и снова, в кровавой схватке, прорубает свободный путь. Но у Кольно красная конница вступает в неравный бой с двумя польскими корпусами наступающей 3-й армии.

В течение нескольких суток Гай яростно атакует польские линии и натыкается на новые и новые заградительные колонны.

Наконец, после десятидневных конных атак, обессиленный, в полном изнеможении, выпустив последний патрон, Гай переходит границу.

Этим драматическим эпизодом закончилась великая битва под Варшавой, то «Чудо на Висле», которое привело красные армии к неслыханной катастрофе…

10

Головокружительные успехи и, в результате, полное поражение красных армий об'ясняются, главным образом, органическими дефектами.

Главковерх Каменев находится где-то в глубоком тылу и занимается исключительно критикой действий. Главнокомандующие фронтами, Тухачевский и Егоров, действуют крайне несогласованно. Буденный со своей конницей увлекается эффектной задачей взятия Львова и, в течение целой недели, не выполняет приказа о наступлении в тыл контратакующей группе поляков.

Стремительное движение вперед, без подготовки тыла и оборудования комуникационных линий, со своей стороны, самым решительным образом отразилось на проигрыше кампании. Вожди Красной армии ослеплены политическими соображениями. Наконец, душа красного солдата, отравленного коммунистической пропагандой, была жестоко больна. Солдат с чрезвычайной легкостью переходил от опьянения первоначальным успехом к моральной подавленности при первой же неудаче.

Вместе с тем, командование принимает чрезвычайно смелые, рискованные решения, где не только полное отсутствие какого-либо шаблона, но где наличие риска в каждом стратегическом маневре бьет в глаза, оправдывая более чем с избытком мысль старого Мольтке: «Без большого риска большие успехи на войне невозможны!»

Мало того, сущность оперативных замыслов заострена до такой степени, что «один дюйм стратегической ошибки сводит к нулю целые мили самых блестящих тактических успехов».

В общем, история красного похода на Вислу напоминает, в некотором роде, партию шахмат, разыгранную смелым любителем-игроком.

В первый момент, неожиданность его ходов, отказ от обычных норм игры, сбивают противника с толка и дают любителю известное преимущество. Но разобравшись в том, что это не глубокий расчет, а простое пренебрежение военной доктриной и элементарной осторожностью, серьезный игрок, овладев инициативой и положением, сведет партию к успешному и решительному концу…

Каушен

Каушен — первая встреча, боевое крещение, символ победы и торжество русского оружия в самом прологе Великой войны.

В вихре последующих дней промелькнули события значительно более крупных размеров — титанические битвы народов, беспримерные натиски и удары стратегического значения, блестящие удачи, катастрофические поражения. Но Каушен останется еще долго жить в памяти участников боя, как первое впечатление, как первое испытание в борьбе с могущественным врагом…

Армейская конница — «глаза и уши армии» — прикрывала развертывание корпусов Ренненкампфа, только что перешла границу и вступила в пределы Восточной Пруссии. Правая группа, в составе конного отряда генерала Хана Нахичеванского, была направлена на Инстербург, с целью «глубокого охвата левого фланга противника».

И русская армия, развернувшаяся на линии Владиславов — Сувалки, должна была главными силами занять фронт Вилюнен — Сталупенен — Ковален, с целью дальнейшего наступления на Инстербург — Ангербург. Вопреки распространенному мнению, стратегическая подготовка первого столкновения с германцами складывалась едва ли в пользу русских бойцов. На стороне немцев было преимущество и, в частности, двойное превосходство в артиллерии…

Конница уже вошла кое-где в соприкосновение с противником. У Пилькалена была обнаружена немецкая кавалерия, в составе бригады. Противник развернулся было для атаки, но боя не принял и отошел. Небольшие отряды ландштурма и самокатчиков, пользуясь лесистой, пересеченной местностью, время от времени, задерживали движение авангардов и даже обстреливали колонны ружейным огнем.

После тревожной ночи в Пилькалене, накануне оставленном немцами, где между прочим, предательским выстрелом через окно был убит кавалергардский корнет Голынский, утром 6 августа, в день Спаса-Преображения, конный отряд Хана Нахичеванского продолжал свое движение на северо-запад.

В авангарде Второй гвардейской кавалерийской дивизии шли два эскадрона лейб-улан, под командой того же полка, флигель-адъютанта полковника Арсеньева. Начальник дивизии, генерал Раух, и начальник штаба, полковник Богаевский, будущий донской атаман — держались в голове главных сил.

Чистенькое немецкое шоссе, прокаленное солнечным зноем,

далеко убегало вперед. По сторонам лежали огороженные проволочной изгородью поля, рощи, поселки с аккуратными домиками под красной черепичной крышей, со сложенными из дикого камня постройками, с остроконечными немецкими кирками.

Прекрасный августовский день, чистое голубое небо с ярко пылающим солнцем, красивый окрестный ландшафт создавали совершенно мирное настроение.

Между тем, многие проснулись в этот день для того, чтобы через несколько часов уснуть навсегда…

Около полудня, со стороны авангарда, послышался ружейный огонь.

К нему вскоре присоединился барабанный треск пулеметов — та-та-та-та… Было ясно, что опять какой-то отряд ландштурмистов задерживает движение конницы.

По рядам колонны прокатилась команда.

— Сто-о-ой!..

Колонна, втянувшаяся в густой сосновый бор и выходившая уже было на опушку, остановилась.

Вскоре прискакал ординарец и доложил, что лежащая впереди деревня занята немецкой пехотой, что начальник авангарда просит прислать подкрепление, чтобы выбить противника.

Генерал Раух обратился к командующему головной бригадой, командиру лейб-гвардии Конно-гренадерского полка, генералу Лопухину. По его приказанию, два эскадрона конногренадер вынеслись галопом из леса на поддержку улан. Тотчас со стороны противника бухнули два пушечных выстрела. Дело принимало неожиданный оборот. Командир полка с ординарцем и трубачом поднялся верхом на возвышенность перед деревней.

Начальник дивизии со штабом, спешившись, наблюдали в бинокль за противником с опушки леса. Местность полого спускалась вниз. Впереди лежало картофельное поле, в зелени сада белел маленький домик, за ним виднелся овраг и противоположный склон со сжатыми снопами хлеба.

В бинокль было видно, как по склону спускались немецкие цепи, в серых защитных куртках, с защитными чехлами на остроконечных касках. Трудно было определить, какие силы занимали деревню. Во всяком случае, это были не самокатчики и, конечно, не люди ландштурма.

Все поле дымилось от пуль. Рев немецких пушек становился значительным…

На позицию лихо вынеслась гвардейская конная батарея полковника Кирпичева. Батарея окутывается легким дымком,

слышен четкий звук выстрелов:

— Бам-бам!.. — Первая очередь!

Для обеспечения левого фланга высылается гусарский эскадрон ротмистра графа Игнатьева и взвод пулеметов от гвардейских драгун под командой поручика Де Витт.

Бой разгорался.

Все сильнее разносится ружейная трескотня. Ожесточеннее грохотали немецкие пушки. Редкие цепи конногренадер и улан вели наступление. Испуганные лошади вырывались из рук коноводов и носились по полю.

Одновременно послышались выстрелы справа.

Это авангард соседней колонны Первой гвардейской кавалерийской дивизии генерала Казнакова повел, в свою очередь, наступление на деревню.

Немцы оказывали упорное сопротивление.

Генерал Лопухин уже ввел в бой всю бригаду и лично направился к цепям. Последние успели спуститься в овраг, отделяющий Каушен от соседней деревни. У одного из ближайших строений виднелась группа спешенных офицеров.

Здесь находился командир Кавалергардского полка, генерал князь Долгоруков, командир Конной гвардии — генерал Скоропадский, будущий гетман Украины, ряд других лиц. Настроение было нервное, возбужденное. Кто-то говорил о крупных потерях, о необходимости отступления ввиду превосходства немецких сил.

— Я отступать не намерен! — заметил генерал Лопухин. — Сопротивление немцев должно быть сломлено!

Как бы в ответ на эти слова стали наблюдаться отступающие люди, сперва одиночные, потом целые группы. Уже готово было произойти замешательство. Еще мгновенье — и все бы покатилось назад.

Однако, благодаря твердости командующего боевым участком генерала Лопухина, проявившего изумительную энергию и мужество, отступление приостановилось. Ободренные личным примером начальника, цепи, во главе с офицерами, снова повернули к оврагу и, поддерживаемые огнем артиллерии, стали продвигаться все дальше.

Обстановка складывалась настолько благоприятно, что даже на последовавший приказ начальника дивизии об отходе, генерал Лопухин ответил новым движением вперед.

Поле дымилось от выстрелов. Пули, с противным свистом и щелканьем, словно надоедливые шмели, летали по всем направлениям, впивались в землю, вырывали жертву одну за другой.

Вперемежку с русскими кавалеристами лежали немецкие трупы, неподвижные, с раскинутыми руками, с плечевыми ранцами из желтой телячьей кожи. Одни лежали ничком, другие на спине, вперив широко раскрытые глаза в яркое небо.

Убит один из командиров эскадронов, лейб-улан ротмистр барон Каульбарс. Рядом с шоссе лежал труп конно-гренадерского офицера, молодого корнета Лопухина.

Когда доложили генералу, последний подозвал вестового, слез с коня, нагнулся, перекрестил и поцеловал сына. Ни один мускул не дрогнул на лице генерала Лопухина, продолжавшего через какую-нибудь минуту тем же спокойным и властным голосом отдавать приказания.

Еще несколько выстрелов русских орудий — и замолкли немецкие пушки. Противник дрогнул и стал отходить.

На крайнем правом фланге что-то зашевелилось, послышались крики «ура!», и конные эскадроны Первой гвардейской дивизии пошли в атаку на батарею. Со всех сторон скакали одиночные всадники, даже прислуга орудий, стремившаяся принять участие в атаке.

До батарей оставалось не более трехсот шагов.

Но неожиданно сверкнули две молнии, раздались два залпа в упор — атака захлебнулась, и эскадроны, устилая поле человеческими и конскими трупами, шарахнулись в беспорядке назад.

Второй эскадрон Конной гвардии под командой ротмистра барона Врангеля, в свою очередь, кинулся на батарею и захватил пушки…

Уже вечерело, когда закончился каушенский бой.

На шоссе выстраивались полки, стояли патронные двуколки, лазаретные фуры. По дорогам еще бродили кое-где отдельные люди — конногренадеры, уланы, драгуны, ведя в поводу усталых, измученных лошадей. Навстречу плелись легкораненые. На опушке рощи был разбит перевязочный пункт.

По обочине шоссе тряслось рысью орудие.

На передке, укутанное солдатской шинелью, что-то нелепо стояло торчком. Это было тело поручика конной артиллерии Гершельмана, добровольно принявшего участие и павшего в атаке на немецкую батарею.

— По коням!.. Садись! — прокатилась команда.

Генерал Хан Нахичеванский отвел конный отряд на север, к Лиденталю.

Каушен занимала пехота…

Каушенский бой — удачное дело русской гвардейской

конницы, главным образом, первых бригад обеих дивизий.

Высокие награды, в том числе Георгиевские кресты, были присуждены многим участникам — генералам Скоропадскому и Долгорукову, полковникам Арсеньеву, Кирпичеву, ротмистру Врангелю — герою конной атаки, пожалованному, сверх того, званием флигель-адъютанта.

О генерале Дмитрии Александровиче Лопухине, может быть, главном виновнике этого славного боя, вспомнили много позднее. А именно, когда смертельно раненым он пал в бою под Петроковом, ему был пожалован посмертный Георгиевский крест.

Упорный, решительный, с твердою волей, он не пользовался особой любовью начальников и сослуживцев по столичному гарнизону. К нему относились несколько свысока, с некоторым пренебрежением, как к лицу, вышедшему из армейских рядов.

Бывший нижегородский драгун, офицер Генерального штаба, он незадолго перед войной получил гвардейский полк. И только на войне, и то не сразу, был оценен по достоинству, как смелый кавалерийский начальник, как истинный воин без страха и без упрека.

Между прочим, это тот Лопухин, брата которого, директора Департамента полиции, постигла в свое время суровая кара, едва ли не ссылка на каторжные работы, за раскрытие служебной тайны.

Каушенский бой был куплен дорогой ценой.

Особенно велики были потери в офицерском составе. Свыше двадцати человек — конногвардеец ротмистр Суровцев, кавалергард барон Пиллар фон Пильхау — сын лифляндского предводителя дворянства, братья Катковы, ротмистр барон Каульбарс и корнет Гурский, корнет Лопухин, поручик Гершельман и другие — пали первыми жертвами кровавого бога войны. Был тяжело ранен в живот кавалергардский полковник князь Кантакузен граф Сперанский.

Невзирая на большие потери, настроение конного отряда было бодрое, радостное, ликующее. Чувствовался сильный подъем. Окрепла вера в русские силы. Гипноз о непобедимости немцев исчез.

Победа под Каушеном тем значительна, что русская конница имела своим противником превосходные силы в составе 2-й ландверной бригады Тильзитского гарнизона.

Но самое главное — это был первый бой, первая встреча с грозным врагом, увенчавшаяся блестящим успехом.

Оружие богов

1

После третьего роббера, стряхнув пепел сигары, князь Бельский потянулся к стакану, сделал глоток и, барабаня унизанными перстнями пальцами по столу, задумчиво уставился в окно, за которым чернела ночь.

— Это называется — война! — произнес он голосом, в котором чувствовалась насмешка. — Не понимаю… О чем они думают там, наверху?..

Князь нервно затянулся, выпустил колечками дым и продолжал:

— Гноить нас в этой дыре, в то время, как трофеи достаются другим?.. Никакого понятия!.. Ни малейшей инициативы!.. Нет, господа, так воевать нельзя!.. Нам нужна победа… Вы понимаете — une victoire!.. Оглушительная, сногсшибательная, черт меня подери!

Князь стукнул кулаком по столу, так что зазвенели стаканы, а дремавший на княжеской койке котенок кинулся в угол. Партнеры, толстый полковой врач и молодой поручик, в гусарских погонах, с улыбкой переглянулись и принялись проверять запись.

Генерал вскочил со стула, быстрыми шагами прошелся по комнате и остановился перед столом:

— Баста!.. Я протестую!.. Довольно с меня этой обозной стратегии!.. Конница!.. Оружие богов!.. Эх-ма!.. Где наши Зейдлицы, наши Мюраты?..

Князь долго еще бурлил, презрительно фыркал, вскакивал и потрясал кулаками. Глаза его метали молнии, а бледные щеки наливались румянцем.

Игра продолжалась.

Доктор пил вино и, в промежутках между сдачами, рассказывал пикантные анекдоты и случаи «из практики», поручик оглушительно хохотал, князь дымил сигарой и снисходительно улыбался.

В конце концов, если говорить откровенно, жизнь вовсе не так дурна, хотя бы и в этой мазурской трущобе… Комфорта, правда, немного, но в хате тепло, из щелей не дует, есть вино и закуски, есть добрые приятели и даже, кажется, дамы… По крайней мере, молодая аптекарша, которая вчера улыбнулась князю, положительно невредная женщина… «Алагер ком

алагер! — подумал Бельский… — Это штучка!.. Надо будет, при случае, обратить внимание!..»

Князь окончательно развеселился, и, вынув из кармана хрустальный флакончик с английской солью, поднес к носу. Потом высоким фальцетом начал было модную французскую шансонетку и вспомнил про ужин. Сегодня будет омлет и новый шедевр кулинарного искусства — беф а-ля Бельский.

Нарезать мясо тонкими ломтиками, вроде как макароны или спаржу, немножко луку, немножко перцу, залить белым соусом…

Он извинился и встал из-за стола, чтобы лично отдать распоряжение повару. И когда примерно через четверть часа вернулся обратно, молодой поручик передал ему казенный пакет.

Князь принял пакет, с серьезным видом осмотрев его со всех сторон, подошел к свече, разорвал печать, вздел пенсне и погрузился в чтение записки.

По мере того, как он читал, лицо его вытягивалось и принимало недоумевающее, досадное, сердитое выражение:

— Ничего не понимаю!.. Патя, прочти, голубчик!

Расписавшись, как полагается, на конверте, князь передал записку поручику, который прочел:

> Его сиятельству князю Бельскому.
>
> «Противник, перейдя в наступление, овладел деревней Грабово. С получением сего, приказываю вам, с вверенною бригадой, выбить противника из деревни».
>
> Начальник дивизии
>
> Генерал барон Штраух.

2

В комнате наступило продолжительное молчание. Только тикали стенные часы и завывал ветер в трубе.

— Сэ ту? — произнес князь.

— Все! — ответил поручик. — Ясно, как кофе!.. Пожалуйте бриться!.. Вот так история с географией!

Генерал снял пенсне и задумался.

Его тонкое породистое лицо неожиданно обострилось. Он нервно теребил свою маленькую бородку, затем, глубоко засунув руки в карманы рейтуз, зашагал по комнате и снова остановился перед столом:

— Ничего не понимаю!.. Почему?.. На каком основании?.. Позвольте-с, да ведь это безумие?.. Это интрига?.. Почему я, а не вторая бригада?.. У меня лошади не кованы?.. Наконец, у меня

сап?

Его голос, резкий и металлический, как кавалерийская труба, срывался и звенел:

— Сейчас же еду в дивизию и объяснюсь!.. Доктор, Патя, вы свидетели… Сэ-т-энпоссибль!.. Иль э фу!.. Этот номер, батенька, не пройдет!.. Я ему покажу!.. А, каково?.. Видал — миндал?.. Нет, господа, так воевать нельзя!..

Князь подошел к окошку и прижался головой к стеклу. Но во мраке ничего не было видно — только шумели деревья, гудела вьюга и где-то далеко, должно быть, на самому краю местечка, хрипло заливались собаки.

Князь отошел от окна и посмотрел на часы. Какие-то серьезные соображения изменили, видимо, намеченный план. Генерал наморщил лоб, сосредоточенно взглянул на свои тщательно отполированные ногти и, обратившись к молодому офицеру, произнес официальным тоном:

— Поручик Дашков, назначаю вас своим начальником штаба… Пишите приказ!

После этого опустился на стул, скрестил на груди руки и, широко расставив свои длинные, тонкие, напоминающие раскрытый циркуль ноги, снова погрузился в раздумье.

Два огарка тускло освещали комнату.

Доктор собирал со стола карты. Поручик подошел к стоявшей в углу походной койке, снял висевшую на гвозде полевую сумку и принялся за работу…

3

— Это называется — война! — иронически усмехаясь и как бы беседуя с самим собой, в раздумье произнес князь.

— Это — преступление!.. Сэ-т-эн крим, мон шер!.. Вы меня извините!.. Наконец, это безумно, подло!.. Как?.. Без разведки, вслепую, ночью, зимой?.. С получением сего… А?.. Выбить противника… А?.. Как вам это понравится?.. А люди, а жертвы, позвольте спросить?.. Им все трофеи, а мы умирай!.. Наконец, почему не послать пехоту?.. Как это глупо, черт меня подери!..

— Глупо или не глупо, а спатеньки, кажется, не придется! — заметил доктор, наливая из бутылки остатки вина и мурлыкая под нос генерал-марш. — Что же, собираться в поход?.. Тра-трата-та… Всадники, други, в поход собирайтесь…

Князь с брезгливостью взглянул на лежавшую на столе записку и перевел глаза на доктора:

— Постойте, доктор!.. Пока Патя напишет приказ, мы успеем,

по крайней мере, соорудить ужин… Не воевать же на голодное брюхо?.. Эй, Тришкин!

Князь поднялся и вышел в соседнюю комнату.

Отдав прислуге необходимые распоряжения и лично обнюхав яйца для омлета, князь вернулся обратно. Настроение его понижалось. Снова начиналась мигрень. Князь нервничал, поминутно подходил к окну, ругался неприличными словами, ругал начальников, стратегию и Генеральный штаб, а написанный поручиком приказ подверг жестокой критике.

Когда же поручик надулся, князь неожиданно размяк, попросил извинения и глядел усталыми, грустными, виноватыми глазами.

Напрасно доктор Неопалимовский пытался его развеселить, черпая из своего неистощимого арсенала забавные анекдоты и пикантные рассказы о женщинах. Напрасно переходил даже на тему о молодой аптекарше.

Князь угрюмо молчал и все его раздражало.

Когда же врач перешел к обсуждению предстоящего похода и неосторожно упомянул про то, что даже легкие ранения в живот при переполненном желудке являются обычно смертельными, князь окончательно упал духом и потерял аппетит…

Между тем, время бежало.

Поручик уже надел шинель и с помощью доктора затягивал боевой ремень.

«Куда он торопится? — подумал князь. — Эк, обрадовался, дурак!.. Не сидится!..»

Князь неожиданно почувствовал дрожь, пробежавшую по всему телу. Им овладела нервная зевота и какая-то глухая злоба против всех тех, кто в эту ночь не расстанется с теплой постелью.

Текст злополучной записки сверлил его мозг, как бурав, преследовал неотступно и рисовал картины полные ужаса и кошмара. Он смотрел с отвращением, как толстый доктор, совершенно спокойно, продолжал пить вино, как поручик, в боевом снаряжении, твердыми шагами ходил по комнате, насвистывая модную военную песенку.

Горькое чувство охватило его душу и себе самому он представился в эту минуту таким беспомощным, таким обиженным и забитым. Еще немного — и князь был готов зарыдать, как ребенок…

Поручик стоял перед ним с насмешливой улыбкой:

— Послушай, князь, твой Тришкин завернул в приказ бутерброды!

Князь кинулся на кровать, замахал руками и закричал:

— Убирайтесь вон!.. Оставьте меня в покое!..

Взрыв хохота, от которого звенела посуда и дрожали оконные стекла, наполнил комнату.

Поручик в судорожном припадке корчился на походной койке. Доктор, схватившись за толстый живот, с багровым лицом и полными слез глазами, рычал в приступах гомерического смеха.

Князь, широко расставив длинные ноги, сидел на кровати.

Он грозил пальцем и пытался принять строгий вид, хмурил брови и морщил лоб, в то время как на губах змеилась предательская улыбка.

Все стало ясным…

— Мошенники!.. Дьяволы!.. Мистификация!..

Отчеканивая слова, он медленно произносил отборнейшие ругательства, готовый принять участие в общем веселье, чувствуя, как теплая, сладкая, радостная волна заливает его неизъяснимым ощущением. И толстый доктор, и безусый поручик Дашков казались ему близкими, преданными друзьями, точно выручившими его неожиданно из какой-то грозной беды.

Князь не выдержал, вынул из кармана хрустальный флакончик с золоченой пробочкой и расхохотался:

— Дьяволы!.. Черти полосатые!.. Пароль д'оннер!..

Вскоре был подан ужин.

В печи трещал огонь. Свечи ярко горели в бутылках, отбрасывая блики на бокалы с вином. В комнате было тепло, пахло сигарой и ароматом духов.

Князь в расстегнутой куртке сидел на председательском месте и священнодействовал. Его красивое лицо пылало румянцем, рыжие усы дерзко оттопыривались над губой. «Алагер ком алагер!» — подумал князь и образ молодой аптекарши представился ему на одно мгновение.

Табачный дым расходился медленными клубами… Звон стаканов мешался с хохотом и веселыми восклицаниями… Все пили и ели с истинным наслаждением, а второе блюдо, беф а-ля Бельский, произвело настоящий фурор.

— Господа, обратите внимание на соус! — заметил князь. — Это парижской секрет!.. Пароль д'оннер, черт меня побери!

Потом пили кофе с ромом, говорили и спорили о скачках, об охоте, о женщинах, о любви.

А когда подали коньяк и толстый доктор с торжественным видом провозгласил тост за конницу — оружие богов, все встали и крикнули «ура!»

Танненберг

Пятнадцать лет тому назад, в глухих мазурских лесах, разыгралось драматическое событие, больно ударившее по сознанию русских людей.

Одна из русских армий подверглась неслыханному разгрому, с пленением двух корпусов, с потерей почти всей артиллерии.

Трагедия эта имела место в начале кампании, когда главные силы германских штыков решали судьбу Великой войны на Западном фронте…

Наступление 1-й армии Ренненкампфа в пределы Восточной Пруссии, производимое под настойчивым давлением союзников, продолжало медленно развиваться.

Последняя попытка германцев задержать натиск русских дивизий закончилась сражением под Гумбиненом. Немецкие контратаки разбились о стойкое сопротивление войск. Немецкие части понесли большие потери. Резервы были исчерпаны.

Три батареи, смело выехавшие на открытую позицию, были, в одно мгновение, сметены русским огнем. В немецких частях, потрясенных неудачами и безостановочными боями, стал наблюдаться упадок духа. Даже в образцовом 17-м корпусе генерала Макензена началось «разложение, одержавшее победу над железной дисциплиной прусских полков».

Сверх того, выросла неожиданная угроза с юга, в лице 2-й русской армии, спешно кинутой на поддержку корпусов Ренненкампфа…

При этих условиях 8-й германской армии генерала барона Притвица ничего более не оставалось как начать отступление к нижней Висле.

Германское командование, во имя уже обозначавшейся победы на Западном фронте, почти готово было примириться с временным очищением Восточной Пруссии — цитадели прусского юнкерства, отдаваемой на поток и разграбление «диким скифам, попирающим все законы, божеские и человеческие». Мощная линия вислянских крепостей, от Кенигсберга до Торна, без сомнения, надолго остановит русское наступление. Со взятием Парижа и разгромом французских войск победоносная германская армия возьмет реванш и на востоке.

Однако, когда полумиллионная масса прусских беженцев хлынула к переправам на Висле и в столицу империи, психология и политика стали оказывать могущественное влияние на основной план главной германской квартиры.

Стратегические доктрины, «порыв не терпит перерыва»,

заветы старого Мольтке, «ошибки в первоначальном развертывании непоправимы в течение всей кампании», уступили место половинчатым, компромиссным решениям. И германская Ставка принимает иной план — продолжая добиваться решительной победы на Западном фронте, одновременным ударом по левому флангу и тылу русских армий, решает изменить в свою пользу положение на восточно-прусском театре войны.

Во исполнение этого плана, командующий 8-й армией, подавленный неудачей, генерал барон Притвиц, был заменен призванным из отставки генералом фон Гинденбургом.

Будущий германский фельдмаршал покинул активную службу не по своей воле. Утверждают, будто неожиданная отставка последовала в результате конфликта на одном из осенних маневров, когда упрямый, не искушенный в политике генерал, имел смелость «разбить» войска, находившиеся под командой кайзера. Это, вероятно, не более как анекдотический вымысел. Гинденбург ушел в отставку по предельному возрасту. Однако известно, что генерал не пользовался симпатией у императора.

Начальником штаба армии был назначен только недавно отличившийся под Льежем молодой генерал Людендорф.

8-я армия спешно усиливалась в своем составе. В частности, с Западного фронта были сняты два корпуса — гвардейский резервный и 11-й армейский, при 8-й кавалерийской дивизии. Пользуясь густой сетью железных дорог, армия приступила к быстрой перегруппировке.

Между тем, генерал Ренненкампф, придавая преувеличенное значение успеху Гумбиненского сражения, утратив соприкосновение с противником, продолжал медленно продвигаться на запад, за «разбитым врагом». Стратегический маневр немцев с переносом операций на юг был ему неясен и непонятен. То же неясное представление имела и русская Ставка, стремившаяся, в безостановочном толкании армий вперед, самым добросовестным образом идти навстречу настойчивым домогательствам Жоффра.

С этой целью был принят план, который, по общему замыслу, должен был облегчить положение союзников под Парижем и, в частности, решить судьбу всего наступления на Восточную Пруссию.

2-я русская армия, в составе неполных пяти корпусов, 1, 6, 13, 15 и 23-го, движением от линии Нарева, должна была развить успех 1-й армии и «отрезать германцев от Вислы».

Командующий 2-ой армией, генерал от кавалерии Самсонов,

отдавал себе отчет в рискованности этой стратегической операции.

Наступление армии в глухом, бедном, лишенном путей районе, в промежутке между железными дорогами, не обеспечивало войскам своевременного подвоза. Существовало серьезное опасение за левый фланг. Армия, сколоченная наспех, не укомплектованная необходимым имуществом и пополнениями, не представляла мощного организма. Несоответствие оперативного задания с имевшимися возможностями ставило весь план под знак вопроса.

Однако, сомнения генерала Самсонова встретили в штабе фронта чрезвычайно холодный прием, вплоть до обвинения командующего армией в недостатке мужества и решимости.

Кто знал покойного Александра Васильевича Самсонова, тот отметет это ложное обвинение. Генерал Самсонов принадлежал к числу достойнейших русских военачальников.

Начало его боевой репутации относится ко временам русско-японской войны, тогда удачными действиями, под Вафангоу и на Шахэ, генерал Самсонов обратил на себя внимание. Его деятельность в роли начальника штаба Варшавского военного округа, на должности наказного атамана войска Донского, наконец, на посту генерал-губернатора и командующего войсками Туркестанского военного округа, вполне оправдала возложенные на него надежды.

Утверждают, будто Самсонов, уже несколько утомленный продолжительной службой, вполне удовлетворенный своей мирной деятельностью гуманного, культурного, просвещенного администратора, искренно уважаемый и любимый всем населением русской азиатской окраины, с тяжелым предчувствием принял предложенный ему пост командующего 2-й армией.

Он не строил себе иллюзий в смысле легкости предстоящей борьбы. Основательное изучение мощи противника и театра войны вынуждало его относиться к планам высшего военного руководства с долей известного скептицизма.

Мог ли, однако, он, генерал с блестящей боевой репутацией, уклониться от ответственного поста в тяжелый час боевых испытаний… Открытый, честный, благородный характер заставил его, расходившегося с оптимистическими планами фронта и Ставки, принести себя в жертву…

22 августа армия перешла границу.

Движение армии протекало в чрезвычайно тяжелых условиях, при палящем зное, в сыпучих мазурских песках, при вопиющей неорганизованности тыла. Не все части имели дивизионный обоз.

Люди и лошади выбивались из сил. В особенности неудовлетворительно была поставлена служба связи. Важнейшие оперативные распоряжения передавались незашифрованными радиограммами. Чувствовался недостаток в дивизионной коннице. Дневок не существовало.

Настойчивые требования фронта «отрезать германцев от Вислы» превращали движение армии в форсированный марш. Армия подходила к полю сражения утомленной, расстроенной, обессиленной.

К вечеру, 22 августа, встретив незначительное сопротивление, армия заняла линию Ортельсбург — Нейденбург — Сольдау.

На другой день была взята немецкая укрепленная позиция у Орлау — Франкенау. Соприкосновение с противником было, однако, утрачено. Армия продолжала движение в слепую, с завязанными глазами. Между тем, на ее левом фланге уже заносился могучий немецкий кулак.

Соотношение сил и их группировка предопределяли заранее исход столкновения. Германская армия, в составе 8 дивизий при 90 батареях, свежая, богато снабженная, прекрасно ориентированная, имела против себя разбросанные на широком фронте, утомленные продолжительными походами, незнакомые с обстановкой, 9 пехотных дивизий с 60 батареями.

Армия продолжала движение на север.

Обозначившаяся угроза левому флангу вынуждала повернуть фронт на запад или на северо-запад. Однако под впечатлением трений с главнокомандующим и Ставкой, чуткая натура генерала Самсонова стала сдавать. Продолжение операции, во имя общей идеи, опасение новых обвинений в недостатке решимости, заставили его подчиниться распоряжениям фронта.

Между тем, германское командование ясно представило себе картину русского наступления. Перехваченные депеши открывали Людендорфу распределение русских сил до мельчайших подробностей. В полевой сумке убитого офицера была даже случайно найдена общая директива. Немецкому полководцу предоставлялась счастливая случайность бить войска по частям.

26 августа завязалось сражение, превратившееся, вследствие разброски русских сил, в ряд корпусных боев.

Военный историк, вооруженный точными сведениями, на основании строго проверенных данных, опишет, может быть, в будущем, эту кровавую драму в Мазурских лесах. Пока же, не касаясь деталей, можно в схематическом виде отметить ряд эпизодов.

Правофланговый 6-й корпус генерала Благовещенского, бездарного поповича, проведшего всю службу на чиновничьих должностях, был атакован немцами и, охваченный с трех сторон, отступил, в полном беспорядке на Ортельсбург.

Левофланговый 1-й корпус генерала Артамонова, в свою очередь, подвергся атаке противника.

— Стою, как скала! — доносит беспардонный очковтиратель, генерал Артамонов, и отходит на Сольдау, обнажив левый фланг армии.

23-й корпус, попав под огонь тяжелых орудий, отступил к Липау. Вся тяжесть последующих боев легла на плечи центральной группы — 13-го корпуса генерала Клюева и 15-го — генерала Мартоса.

Последний, понеся в жестоких боях, большие потери, добился, однако, тактического успеха и все более продвигался вперед.

Корпус Клюева, заняв Алленштейн, благодаря чрезвычайному утомлению войск, не был в состоянии развить успеха и оказать поддержку соседу. Прочная связь между войсковыми группами отсутствовала. К довершению общего злополучия, штаб армии переходил, в этот критический час, из Нейденбурга в Надрау, аппарат был снят, управление армией фактически прекратилось…

Генерал Самсонов сознает невозможность упорства в достижении поставленного штабом фронта задания. Дальнейшее движение на север угрожаете роковыми последствиями.

Под грохот орудий и ружейную трескотню Самсонов, в сопровождении чинов штаба и казачьего конвоя, направляется в ближайшую пехотную часть. Отдается приказание об отходе войск к Нейденбургу.

Однако, Нейденбург уже занят противником… Фланги смяты… Все пути отступления перехвачены немцами…

30 августа, измученные, растерзанные боями, окруженные немцами со всех сторон, остатки 13-го и 15-го корпусов положили оружие…

Штаб 2-й армии с генералом Самсоновым во главе пытается укрыться в лесу. Кругом идет стрельба немецких разъездов и патрулей, добивающих отдельные группы.

Ночью, когда перестрелка стихает, штаб оставляет своих лошадей и блуждает пешком по лесу в надежде выскочить из немецкой петли.

Что перечувствовал в эти минуты командующий 2-й армией?.. Какую душевную борьбу, какие пытки и муки перенес в эти трагические минуты Самсонов?..

Его натура не мирится с горечью поражения и позором…

Отдаться в руки врагу он не может…

Чаша страданий должна быть испита до дна…

Генерал Самсонов незаметно отделяется от своих спутников и вынимает револьвер. Одинокий выстрел нарушает тишину леса…

Этим драматическим эпизодом закончилась катастрофа под Танненбергом, под тем Танненбергом, у которого пять веков тому назад соединенное русско-литовское воинство нанесло жестокое поражение рыцарям Тевтонского ордена.

Как ни расценивать катастрофу самсоновской армии, последняя сыграла известную роль в общем ходе боевых операций Антанты. Не взирая на блестящий успех 8-й германской армии Гинденбурга, этот успех не мог компенсировать той неудачи, которую немцы понесли на полях Марны.

В ответственную минуту, когда решалась судьба всей кампании, ударное крыло генералов Клука и Белова, на Западном фронте, было лишено двух корпусов, переброшенных опрометчиво на восток.

И не правы ли военные исследователи, видящие в этом одну из причин «Чуда на Марне», — спасения Франции от неминуемого разгрома?…

В живописном лесу стоит памятник из серого камня. На нем немецкая надпись:

General Samsonow, Gegner Hindenburgs, in der Schlacht bei Tannenberg

1914

Кругом тишина, мрак, зеленая ночь.

Мир и покой разлиты в лесу.

И только серый памятник свидетельствует о том, какая жуткая драма имела здесь место пятнадцать лет назад…

Лилиан Грей

1

Мисс Лилиан Грей — это было настоящее имя. Обыкновенно же звали ее — Мисюсь…

Она обладала кротким характером, была чиста сердцем и, подобно каждой красивой девушке, имела многих поклонников. Что касается внешности, на этом следует остановиться.

Мисс Лилиан — англичанка, настоящая английская мисс. Ее родители, занесенные в пятнадцатый том английского «Studboock'a», носили родовой герб лорда Грея и считались представителями высшей аристократии.

К Мисс Лилиан перешли по наследству лучшие признаки расы — хороший рост, необыкновенная сухость фигуры, стройные ножки, строгие очертания профиля. Большие глаза смотрели ласково и умно. На тонкой коже проступали нежные жилки. Только хвост, один только хвост, с жестким волосяным покровом, по закону случайного атавизма, был унаследован от диких норманских предков.

Мисс Лилиан была ровной светло-гнедой масти, с единственною отметиной — белым, круглым, совершенно напоминавшим серебряный рубль, пятнышком на правой стороне шейки. Эта родинка придавала особую прелесть…

Трехлетним ребенком Мисс Лилиан покинула туманную родину и попала в Россию. С большим успехом дебютировала на коломяжском ипподроме. В середине сезона взяла «Императорский Приз», приобрела ряд новых владельцев и легкое растяжение сухожилия, после чего попала в провинцию.

Новый хозяин, штабс-ротмистр лейб-гвардии Павлоградского полка Левенец, чрезвычайно гордился этим приобретением, и не считал три тысячи золотых рублей ценою преувеличенной.

Мисс Лилиан оправдала возлагавшиеся надежды. Полковые скачки выиграла шутя, самым блистательным образом. Дивизионные состязания прошли с тем же успехом. Наконец, на окружной скачке, имея таких конкурентов, как дербиста Вандимена улана Шпадковского, как Ясновельможного драгунского поручика Золотухина и знаменитую Гляву, Мисс Лилиан Грей пришла первой к столбу.

Это было незабываемое спортивное зрелище.

Общий фаворит Вандимен закинулся на канаве и потерял темп. Имевший весьма крупные шансы Ясновельможный, был

пойман у самого выхода на прямую и брошен не менее, как на восемь корпусов. А Глява знаменитая Глява, скакала в последний раз. На ирландском банкете, находясь в жестоком посыле, кобыла неожиданно оступилась, сломала бабку на левой передней ноге и была пристрелена тут же, на ипподроме, своим злополучным хозяином.

К Мисс Лилиан перешла вполне заслуженная слава.

Победа увенчала ее триумфом. Под грохот рукоплесканий, порывисто дыша запотевшими боками, пугливо озираясь и слегка дрожа от волнения, Мисс Лилиан сошла на паддок. Председатель жюри, начальник кавалерийской дивизии, с большим умилением потрепал ее по «серебряному рублю» и под звуки полкового марша, вручил победителю золотой жетон вместе с денежною наградой.

2

Гусарский штабс-ротмистр был спортсменом в полном значении слова. И в азартной игре смотрел на противников с точки зрения непобедимого стиплера, привыкшего бить почем зря своих соперников, при выходе на прямую.

Но Фортуна — женщина. И как каждая женщина — переменчива и жестока.

На скаковом поле штабс-ротмистр стяжал славу счастливого ездока. На карточном поле его постигла крупная неудача.

Банк срывался один за другим. В понтировке карта билась за картой, как скаковая кобыла без тренинга. С упорством, достойным лучшего применения, штабс-ротмистр не сдавал оружия, пока не проигрался в пух и прах.

Игра закончилась на рассвете и прямо из клуба, раздосадованный, в отвратительном настроении, штабс-ротмистр отправился спать. Через сутки стало известным, что штабс-ротмистр продает скаковую конюшню…

В серое февральское утро я зашел в манеж учебной команды. Штабс-ротмистр, верхом на Лилиан Грей, стоял посередине манежа и щелкал бичом. Пропустив смену через препятствие, слез с кобылы, закурил папиросу.

Я обратился с вопросом и завязал разговор. Голос штабс-ротмистра звучал мрачно и хмуро.

Бедный Жора!

Чувствовал ли он в эту минуту, что через каких-нибудь восемь лет, в такой же серый февральский день, будет разорван на клочья взбунтовавшейся петроградской чернью?..

Нет, он ничего в эту минуту не чувствовал, кроме жестокой обиды от карточного проигрыша…

— Покупай Мисюсь!.. Дешево уступлю!..

Я принял равнодушный вид, но все же полюбопытствовал:

— Например?

Жора на минуту задумался, набрал воздуха и, слегка заикаясь, выдавил:

— Три ар-рхиерея!..

— Мой милый, три тысячи за старую клячу? — расхохотался я самым вызывающим образом. — Да ты с ума сошел!.. Ножки тронуты! Хвост точно помело!.. Нет, этот номер, батенька, не пройдет!

— Ничего ты не п-понимаешь! — произнес с сердцем штабс-ротмистр. — Коб-быле семь лет… Самый возраст!.. Брок давно рассосался, клянусь честью! А вместо хвос-ста, взгляни лучше на скакательные суставы… Это же экспресс, а не лошадь… Жел-лезо!..

Я умышленно спорил и находил всевозможные недостатки.

Потом, как добрый барышник, обошел кобылу со всех сторон, заглядывая ей в зубы, прощупывая сухожилия на передних ногах и, с некоторою осторожностью, хлопая по костистому крупу. Ибо, при всех обстоятельствах, помнил крепкую гусарскую поговорку: «Бойся женского переда и конского зада!»

Я торговался, как жид, как цыган на конской ярмарке в Ярмолинцах. Жора с трех тысяч быстро спустил до двух. В свою очередь, я накинул несколько сотен и с семисот доехал до тысячи.

На пятнадцати попах мы ударили по рукам.

— Только, как другу! — сказал с облегченным вздохом штабс-ротмистр. — Смотри же, никому не б-болтай!.. Сыграл в чис-стый уб-быток!..

Я ликовал.

Через четверть часа, мы спрыснули сделку в ресторане Машевского…

3

Мисюсь стала моей.

Первым делом, я чикнул ей хвост. Операция прошла благополучно и над «петлей» торчала теперь грациозная черная кисточка, длиною в четыре вершка, отчего внешний вид чрезвычайно выиграл в общем рисунке.

Во-вторых, поставил ее на хорошие гарнцы.

Наконец, задал ежедневную систематическую работу.

Через какой-нибудь месяц, Мисюсь стала неузнаваемой. Она раздалась в бедрах, круп округлился, тщательный туалет придал коже глянцевитость и блеск…

В майский день, когда пахнуло первым теплом и каштаны городского бульвара выкинули белые свечи, я выехал на прогулку. В желтых погавках, под английским седлом, сверкая ремнями убора, Мисюсь эффектно выплясывала стройными ножками по упругой, еще сыроватой земле. Компания офицеров, в красных гусарских чакчирах, остановила меня на углу:

— Ффа-ффа-ффа!.. Ну и красотка!..

— Кобыла большой цены!..

— Это — класс!

— Ясно, как кофе!..

Я хохотал и умышленно поворачивал Мисюсь «серебряным рублем», отметиной единственной в мире, по которой ее мог бы узнать даже слепой. Целый месяц я морочил всем головы, пока не выдержал и не признался, что это — Лилиан Грей, что это — Мисюсь, взявшая когда-то «Императорский Приз» и «Окружную».

Никто не верил.

Даже начальник дивизии, генерал Афанасий Андреевич Цуриков, на что тонкий знаток и лошадник, каждый раз разводил руками и говорил:

— Не может быть!

А когда начались эскадронные сборы, я оценил Мисюсь в полной мере. Я крутился вокруг эскадрона, как черт на пружине, и в два могучих прыжка выносился далеко вперед. На полковых и дивизионных ученьях я почувствовал, что значит кровная англичанка. Мисюсь вела себя образцово, как подобает строевой лошади, получившей хорошее воспитание.

Один только раз, во время атаки на кавалерию, Мисюсь вспомнила свою скаковую карьеру — звонок судьи, старт, призовой столб, сорвалась с нарезов, подхватила и вынесла меня на три версты…

На специальном кавалерийском сборе, переправившись вплавь через Неман, били по тылам, в Друскеникских лесах. Эскадрон шел в авангарде дивизии, передвигаясь переменным аллюром, соблюдая величайшую осторожность. Мисюсь едва не испортила музыку. Поминутно поворачивая свою маленькую головку, заливалась серебряной трелью:

— Ио-го-го-го-го…

Она успокоилась только тогда, когда рядом с нею встала Авторка, ее соседка по стойлу.

— Мисюсь!.. Мисюська!.. Моя капризная девочка! — шептал я

в избытке трогательного восторга, поглаживая ее нежную шейку…

Вдоль и поперек исхожена вся Литва, от Андронишек до Августова, от Вильковишек до Ивья… Дивизия избороздила копытами неманскую долину, проходила дремучими дубовыми лесами, ночевала биваком на коновязях, стояла постоем в глухих литовских деревнях…

В Сорока Татарах, под Вильной, застал отбой…

4

Я перебираю страницы войны и сердце мое наполняется горечью…

Снова Литва и колосящиеся нивы Риго-Шавельского района… Пески и болота Мазурии… Берега Вислы и равнины тихого Буга… Еще так живы галицийские воспоминания!..

Мисюсь сохранила крепость и стройность могучего стана, красоту своих девичьих форм. Крупным, ровным шагом она несет меня перед драгунским полком, на переходах по всему фронту… Под жужжанье свинцовых шмелей, широким галопом перелетая, как птица, через окопы и трупы, мчит меня в кавалерийской атаке под Золочевской Нивой… Или часами стоит на «стойке», за пехотным участком, в ожидании прорыва и, нервно прядая ушами, прислушивается к грохоту пушек…

Когда же над головою свистит шрапнель, Мисюсь прижимает уши и кисточку к телу и оборачивается:

— Господин полковник, когда же кончится эта война?..

Две австрийские пули оцарапали ее нежную кожу. Шестидюймовый осколок едва не зацепил ее в смертоносном полете.

Закончился галицийский поход…

В январе, командир кавалерийского корпуса, великий князь Михаил, сделал бригаде прощальный смотр. Я стоял, на этот раз, перед бригадой и, с шашкой подвысь, скакал на Мисюсь коротким галопом…

Потом, подошла революция.

Ее лик был омерзителен и ужасен. И если люди, обезумев от братства, равенства и свободы, разбивали интендантские склады и помещичьи погреба, лошади не имели никаких привилегий. Понурые и худые, обросшие косматою шерстью, забытые скребницей и щеткой, они стояли на коновязях, молча взирая на красное знамя, заменившее царский штандарт…

Мисюсь стала нервничать. Ее благородная кровь не выносила толпы, злобной ругани, распущенности, разгула. Каждый день я

заходил к ней в станок, собственными руками задавал корм, поил, совершал туалет. Мисюсь тихо ржала, теплым шершавым языком лизала руки, лицо и шептала:

— Странные люди!.. Чему они радуются?.. Не понимаю!

Я обнимал тонкую шейку и целовал в мягкие губы:

— Мисюсь!.. Моя дорогая старушка!.. Кончена наша служба!

В августе я отправил ее на покой, в родовую усадьбу…

5

Мисюсь стояла в общей конюшне, на мягкой подстилке, вместе с маленькими рабочими лошадьми.

Она казалась гигантом среди пигмеев, королевой среди доморощенного деревенского плебса, к которому относилась, однако, с покровительственною лаской и манерами истинной аристократки.

Рабочие лошади, незнакомые с учением Маркса и теорией классовой борьбы, оказывали ей полное уважение.

Целый день Мисюсь жевала овес и овсяную солому. Или же, с радостным ржанием, носилась по сочным лугам, в голове табуна, который едва поспевал за ее просторным галопом. Со всего размаха бросалась на траву и каталась на ней, вместе со своею свитой, выплясывая ногами забавный танец.

Иногда я совершал верховую прогулку.

Мисюсь вспоминала старую кавалерийскую службу и галицийский поход. Гордо согнувшись в затылке, красиво подобрав зад, она выбрасывала стройные ножки, как на царском параде.

А революция углублялась…

Я познакомил Мисюсь с соседом — вороным жеребцом рысистой породы. Пятнадцать лет — бальзаковский возраст даже для аристократической расы. Тем не менее, вороной жеребец отнесся к знакомству со всем пылом неистраченной юности и был пленен с первого взгляда. Мисюсь отвечала взаимностью.

Я ликовал и строил разные планы:

— Если ты подаришь мне сына, я назову его — Наль!.. Он будет вороной, весь в отца, с богатырскою грудью, с огненными глазами… Если принесешь дочь, я назову ее — Дамаянти!.. Она будет тонкая и сухая, как мать, с нежной гнедою окраской, с таким же «рублем» на правой стороне шейки…

Месяцы проходили один за другим.

— Нет, я назову лучше русским именем… Сына я назову — Лель!.. А дочку Купавой!.. Это будет патриотичней!..

Мисюсь стала задумчива.

Она не носилась больше по луговым пожням, а стояла в станке. Ее поджарый живот округлился. Набухали соски. В глазах появилось особое выражение, которое раньше не наблюдалось. Я гладил ее по упругому животу, прижимался к тоненькой шейке, называл нежными именами:

— Мисюсь!.. Мисюська!.. Мой верный друг!..

А революция углублялась и углублялась…

И вот…

В тусклый январский вечер, когда на снег легли синие тени и замигали первые звезды, на дворе послышался топот. Сорвались и завыли собаки.

Я выглянул в окно.

Группа вооруженных солдат, в папахах и полушубках, грубым хохотом наполнила двор. Ворота конюшни были раскрыты настежь.

Страшная мысль сверкнула в мозгу.

Я выхватил из под тюфяка наган и бросился в кухню. Дверь была заперта на ключ. Я пробежал анфиладу комнат и, через веранду, выскочил в сад. Утопая по колено в снегу, я бежал с криком к конюшне.

Снова раздался топот. Хлопнуло несколько выстрелов в воздух. Знакомый голос, точно серебряный колокольчик прозвенел в последний раз, прощаясь со мной навсегда:

— Ио-го-го-го-го…

И когда я выбежал на дорогу, кавалькада скрылась за поворотом…

Ольгин штаб
В маленьком гарнизоне

1

Старый полк русской конницы, пронесший Георгиевский штандарт сквозь картечь бородинского боя и огонь виноградных полей Фер-Шампенуаза.

Полк имени Ольги, королевы вюртембергской Ольги Николаевны, чье дарованное, по завещанию, серебро на пятьдесят полных кувертов, библиотека, гусарский мундир и много других вещей хранились, как реликвия, под стеклом офицерского клуба в Ольгином Штабе.

А полвека спустя, другая Ольга, юная семнадцатилетняя княжна, стала шефом. И в конном строю, в белом ментике, отороченном темным барашком, в доломане василькового цвета с золотыми шнурами, зардевшись от девичьего смущения, вела полк елисаветградских гусар перед отцом, императором Николаем II, на одном из царскосельских парадов.

Золото с белым и голубым — точно снег в яркий солнечный день. А кони, все как один, вороные, с чулками и белыми звездами во втором эскадроне…

Варшавское шоссе, прохлестнув Мариамполь, катилось на юг. Слева зеленели чахлые нивы и перелески бедной литовской равнины. Справа серел четырехугольник низеньких, старых, совсем вросших в землю, деревянных построек — манежей, церковки, гауптвахты и флигелей.

Зимой все покрыто жидкою снежною шубой. Белая тишина наводит печаль. Еще тоскливей, пожалуй, в темные осенние вечера, когда ветер гуляет по чистому полю и поет старую литовскую песню. А ветер особенный, день и ночь свистит напролет и жалит щеки не хуже мороза.

Тридцать верст до железной дороги в одну сторону, шестьдесят пять в другую. Только гусары в красных штанах да лошадиные морды. Никакой пищи уму, если не считать пульки в винт или в покер, или партии в карамболь на маленьком, красного дерева, с бронзовыми оковками, старинном вюртембергском бильярде.

Невеселая штаб-квартира!..

Гусары стояли на самом немецком пороге. И в первый же день войны, согласно мобилизационного плана, занимали

Эйдкунен. С этою целью держались всегда наготове три офицерских разъезда. А у казначея хранились три холщовых мешочка, в которых лежало по тысяче золотых марок на каждый разъезд.

Граница была рядом, тут же, за речкой Шешупой. И если подняться на крышу конюшни, можно было увидеть в бинокль немецкий поселок, с высокою кирпичною киркой, с каменными домами, с разбегающимися во все стороны шоссированными дорогами.

В клубе читались сообщения про немецкую армию. Господа офицеры накалывали флажки на трехверстке и гуляли с циркулем по немецкой земле.

На третьи сутки полагали занять Кенигсберг — старый славянский Кролевец.

Кто бы подумал, что через несколько лет, гусары к нему и впрямь подойдут, на расстояние орудийного выстрела?..

2

Полковой командир, барон Криденер — высокий, сухой человек, с гладким черепом, с орлиным породистым носом, с бледно-голубыми глазами. С незапамятных пор, со времен меченосцев, его знаменитый герб — три серебряных грифона на алом щите, занесен в родословные книги Курляндии.

Барон — старый армейский служака, «трынчик», сидевший вечно в манежах или в эскадронных цейхгаузах. Женат на богатой помещице, тихой, болезненной женщине, детей не имел и продолжал служить по привычке.

Барон даже метил в бригадные генералы и имел полное к тому основание, если бы не трагический случай, вычеркнувший его навсегда из кандидатского списка. Это случилось за несколько лет до войны, в летнюю ночь, тихую, теплую, когда июльские звезды загорелись над Ольгиным Штабом…

Началось с того, что денщик Добровольский, бравый черноусый гусар из хохлов Каменец-Подольской губернии, прибежал в караульное помещение и поднял тревогу. Гусары ожидали со дня на день приезда Желтой Опасности — грозного командира корпуса, генерала Павла Карловича фон Ренненкампфа. Через каких-нибудь пять минут со всех сторон забегали люди.

— Седлай! — кричали бородатые вахмистры, с шевронами на рукавах, с золотыми александровскими медалями на шее.

— Тир-лир-лир-ли! — заливалась труба.

Гусары выводили из конюшен больших, цыбатых, вороных лошадей. Запрягали патронные двуколки и кухни. Господа офицеры, затягивая на ходу походное снаряжение, выбегали из флигелей, направляясь в свои эскадроны.

«Не иначе, как ночной поход в Вилковишки, чтобы на рассвете ударить по железной дороге!.. Потом, обед с трубачами и выпивкой в уланском полку!.. Будет несколько „мертвых тел“!.. Это, как пить дать!.. Уланы толк понимают!..» С такими приблизительно мыслями, выплясывая на ходу что-то вроде мазурки, мчался полковой адъютант, Кока Пономарев, по направлению к командирскому флигелю, за инструкциями. Взор его буравил четырехугольник казарм и конюшен, пытаясь разглядеть в ночном сумраке поднявшее тревогу начальство — кряжистую фигуру командира корпуса, в желтых казачьих лампасах, с рыжими подусниками, с двумя белыми крестами на широкой груди… Или кого-либо из его свиты… Или, наконец, вестовых с лошадьми, на которых Желтая Опасность прибыл в полк…

«Никого!.. Вот так история с географией!.. Должно быть, у командира!..» Легкими шагами адъютант взбежал на три ступеньки террасы, поправил сползавший с плеча ремень и складку на кителе, щелкнул венгерскими шпорами и толкнул дверь.

А через минуту, бледный, с выпуклыми глазами, летел тем же аллюром на полковой плац, где уже строились эскадроны, размахивал в воздухе правой рукой и кричал:

— Ком-ман-ди-ра уб-били!..

3

Штабс-ротмистр Султан-Гирей, вскочивший первым в командирскую спальню, наступил на скользкий, мягкий, подавшийся под ногою, словно резина, предмет, и чуть не упал.

Быстро зажглись электрические фонарики.

Один за другим прибывали господа офицеры — бравый поручик Небо, седенький, из персидских принцев, ротмистр Хан-Гуссейнов, Скомпский и Безобразов, маленький Каляев и крупный, жилистый, с громовой глоткой, ротмистр Нереновский, поручик Багрин-Каменский, Бобровский, Баумгартен и прочие.

Просторная комната — стены, пол, потолок были забрызганы кровью, и целые лужи стояли возле кровати. А на кровати, на окровавленных простынях, с отрубленным начисто носом, со страшною раной, идущей от уха до уха, поперек глаз, лежал

командир и стонал:

— Спасите меня!.. Спасите!..

Два полковых эскулапа уже суетились возле барона, с помощью фельдшеров обмывали, перевязывали, зашивали глубокие раны. Денщик Добровольский цедил из серебряного чайника воду в разрубленный рот.

Барон еще находился в сознании. Все время призывал денщика, упоминал про каких-то злодеев, просил дать телеграмму проживавшей в усадьбе жене. На ночном столике, захватанный окровавленными пальцами, лежал заряженный браунинг.

Вскоре, барон истек кровью, потерял сознание и умер…

При каких обстоятельствах произошло убийство?

Старая экономка, находившаяся в соседней комнате, при первых же криках, заперлась на ключ. Дрожа от страха и пережитого волнения, она подтвердила слова барона о нападении злоумышленников.

Но это казалось совершенно невероятным.

Однако, кроме убийства, налицо был грабеж. Исчезли часы, золотой портсигар и перстень с фамильным гербом, который барон носил на указательном пальце.

Неизвестно по какому пути направилось бы расследование, если бы ротмистр Нереновский, дошлый и опытный командир пятого эскадрона, с чутьем истинного Шерлока Холмса, не обратил внимания на два обстоятельства. Оконное стекло оказалось выдавленным не снаружи, а изнутри. На денщике, под гимнастеркой, оказалась свежая, только что, по-видимому, надетая рубаха.

Добровольский был арестован.

Когда же к утру нашли зарытые в саду, под кадкой с зелеными фикусами, часы, перстень, золотой портсигар и окровавленное белье денщика, последний перестал запираться:

— Я порешил командира!.. Заел меня, дьявол!

Денщик рассказал все, без малейшей утайки. Мотивом преступления послужило отношение к нему барона. Он не бил его, одаривал нередко деньгами и, по-своему, даже баловал.

Но за пылинку на сапоге, за крошку на обеденной скатерти, имел обыкновение подзывать к себе, не возвышая голоса, спрашивал: «Добровольский, это что?» и награждал щелчком в нос.

Это делалось каждый день, каждый час, по малейшему поводу, с убийственным методизмом и хладнокровием. Денщик неоднократно умолял об отчислении его в эскадрон. Но командир, из-за бравой внешности гусара, продолжал держать его

при себе.

Офицеры подтвердили справедливость слов Добровольского.

Вдобавок, только на днях, он вернулся из имения, получив в подарок от больной баронессы серебряные часы, за усердную службу.

Сухой педантизм командира довел денщика до исступления.

Он зарубил его сонного, на кровати, его же собственной саблей…

Военная дисциплина сурова и не знает пощады.

Военный суд не мог принять во внимание смягчающих вину обстоятельств. Преступник был приговорен к расстрелу.

Он выслушал приговор совершенно спокойно. Только чуть дрогнул черный ус над губой.

Вдова убитого обратилась с прошением на высочайшее имя о помиловании. Но прошение было задержано из опасения, чтобы царь не смягчил приговор.

Через неделю, в присутствии полка и специально вызванного эскадрона смоленских улан, Добровольский был расстрелян на полковом стрельбище…

И в темные осенние ночи, когда ветер кружил по полям и пел старую литовскую песню, гусарам долго мерещилась тень расстрелянного солдата, бродившего в белом саване по Ольгину Штабу…

Желтая опасность

Речь идет не о желтоликом воинстве мукденского маршала Чжанзолина и не о символической картине, когда-то приписывавшейся германскому кайзеру:

«Народы Европы, оберегайте ваши священные блага!»

Это, всего на всего, воспоминание о человеке, носившем оригинальную кличку Желтой Опасности, по причинам ничего общего ни с картиной Вильгельма, ни с народами Срединной империи не имеющим…

Генерал-адъютант генерал от кавалерии Павел Карлович Ренненкампф был, в свое время, личностью широко популярной.

Одни возводили его чуть ли не на ступень национального героя. Другие рассматривали, как одну из самых мрачных фигур рухнувшего самодержавия. На мой взгляд и то и другое ошибочно…

Кто знает Ковно, тот знает, конечно, знаменитое Пожайское поле, с его песчаными, напоминавшими закаспийские степи бурханами, с чахлым сосняком и кустарником, с тихим Неманом, катившим внизу величавые, воспетые Мицкевичем, воды.

На крутом берегу сверкал золочеными маковками старинный Пожайский монастырь, хранивший мощи святых угодников и легенду о литовском боярине Паце и его красавице-дочке Нарее. По преданию отец и дочь похоронены в общей могиле, под папертью монастырского храма, в наказание за кровосмесительство.

Уже не преданием, а минувшею былью веет от могильной плиты в монастырской ограде, с покоящимся композитором Львовым, творцом старого русского гимна. Он погребен там в 1870 году.

Пожайское поле — кавалерийское поле, на котором, в весеннее время, алели малиновые фуражки новороссийских драгун, серебряной трелью заливались рыжие лошади и тучи песку подымались под копытами эскадронов. Парады и летние сборы дивизии вносили еще большее оживление. Голубели, как васильки, доломаны елисаветградских гусар. Как белые одуванчики, пестрели лацкана на уланках смоленцев.

В этой именно обстановке пришлось познакомиться с Павлом Карловичем Ренненкампфом и несколько лет подряд наблюдать его очень близко. Сопровождать в постоянных разъездах, ночевать в одной избе, а в минуты вынужденного досуга, резаться с ним в его излюбленный винт, с двенадцатью картами в прикупе…

В жизни этого человека, в его блестящей карьере и совершенно бесславном закате, есть много незаурядного.

Кто бы подумал, например, что крупная служебная неприятность положит начало его быстрому выдвижению из сонма многочисленных сверстников по Генеральному штабу?

Между тем, это так.

Девятисотые годы застают никому неизвестного полковника Ренненкампфа в должности командира Ахтырского драгунского полка. Инцидент на балу в гарнизонном собрании — демонстративная неподача руки начальнику штаба дивизии, полковнику Рихтеру, кладет начало дальнейшему.

Начальник штаба — мелкий, мстительный человек. Казалось бы, после такого афронта, в соответствии с офицерским понятием о чести, должен последовать вызов на поединок. Происходит, по доносу полковника, внезапная поверка денежного ящика, в котором, вместо полковых сумм, комиссия находит ряд командирских расписок.

В двадцать четыре часа Ренненкампф вынужден сдать полк. Это потребовал командующий войсками, генерал Драгомиров, по настойчивым доводам своего начальника штаба, Владимира Сухомлинова, личного недруга Ренненкампфа.

Ренненкампф едет в столицу. Объяснения его малоудовлетворительны. Положение спасает война, тот китайский поход 1900 года, который так кстати подвернулся под руку.

Ренненкампф уезжает в Маньчжурию…

Кто следил за этой военной страницей, тот помнит кавалерийский рейд бесшабашного головореза с горстью забайкальских казаков, бравшего, с налета, один за другим китайские города и захватившего даже маньчжурскую столицу — Мукден. Уверенный в своей силе и превосходстве, не желая ни с кем делить боевые китайские лавры, он даже уничтожает за собою мосты, препятствуя, высланному на поддержку с пехотной бригадой генералу Орлову догнать кавалерийский отряд.

У всех на устах имя смелого партизана. Его лаконические донесения, в стиле Суворова и Скобелева, производят сенсацию. Царь шлет ему благодарственные телеграммы. Чин генерала и два белых креста украшают шею и грудь.

Ренненкампф стал героем.

Русско-японская война снова вызывает его на боевой фронт. В первой же стычке он ранен, потом получает армейский корпус, с которым стойко отражает атаки японцев во время мукденских боев.

А когда начались тыловые волнения и железнодорожная

забастовка, энергичному генералу поручили заняться ликвидацией беспорядков. Разгром «читинской республики» и другие расправы сделали его имя одиозным в глазах прогрессивного русского общества и, в особенности, той его, наиболее радикальной части, которая в борьбе с самодержавным режимом не сочла для себя недостойным приветствовать особою телеграммой микадо, по случаю цусимской победы.

Революционные партии присвоили ему кличку — Кровавого Царского Палача…

В военных кругах, Павел Карлович Ренненкампф был известен под кличкой Желтой Опасности.

Желтой — по причине носимых им желтых лампас и мундира забайкальского казачьего войска, как заслуженного боевого отличия. Опасностью — вследствие крутого и отчасти взбалмошного нрава.

Ренненкампф, нужно отдать справедливость, высоко поднял боевую подготовку вверенного ему 3-го армейского корпуса.

Он начал с чистки командного состава, разогнав многих старших начальников, поощряя продвижение талантливой молодежи, устраивая постоянно маневры, мобилизации, кавалерийские состязания, пробеги, боевую стрельбу, не взирая на время года, на состояние погоды. Горячий, тревожный, беспокойный был человек. Генералы его ненавидели и боялись. Молодежь и солдаты любили за «лихость», за смелость, за простоту обращения.

Его железное здоровье было несокрушимо. От плотной коренастой фигуры, от краснощекого лица с мясистым носом и пышными рыжими усами с подусниками, близко напоминавшем облик пресловутого Тараса Бульбы, веяло богатырскою мощью. В виде контраста, обладал резким, высоким голосом и лаял труднопонятной скороговоркой.

Ренненкампф имел массу врагов.

Либеральные круги его не переносили, считая надежным стражем режима. Сверстники завидовали успехам и легким китайским лаврам. Высшее начальство не любило за самостоятельность, резкость, строптивость, широкую популярность в войсках.

С именем Желтой Опасности связывалось множество невероятных слухов. Передавали про коллекцию золотых божков, вывезенных им из Китая, в виде военной добычи. Про миллионные контрибуции, про крайнюю неразборчивость в средствах, про близость к лицам с подмоченной репутацией. Последнее не лишено основания. Ренненкампф, действительно,

не слишком разбирался в людях и часто окружал себя ловкими авантюристами. Он ценил темперамент, энергию, боевые заслуги. На человеческие слабости смотрел снисходительно.

Не прощали ему и четвертого по счету брака. Наконец, в период Великой войны, пришпиливали к нему даже ярлык изменника.

Все это, конечно, за самым небольшим исключением, вздор…

Воспоминания снова переносятся к Пожайскому полю, на котором произошло первое знакомство с Желтой Опасностью.

Вспоминается, как на вопрос грозного командира, сколько дней потребуется для перехода драгунского полка из Ковно в Вильно, ответил поспешно и необдуманно:

— Один переход, ваше превосходительство!

Желтая Опасность недоверчиво взглянул на меня, развернул карту, отмерил ногтем сто десять верст:

— Что же, по-вашему, они летают?

Оставалось только упорно стоять на своем…

Как бы то ни было, на долю новороссийцев, через два года, выпало это нелегкое испытание. Это произошло в тот самый год, когда царь находился в Констанце, в гостях у румынского короля. Пребывание царя с семьею в Констанце связывалось не столько с политикой, сколько с предполагавшейся, как утверждали, помолвкой одной из старших дочерей императора с наследным румынским принцем Каролем.

Царь был назначен шефом одного из рошиорских полков, который, будучи вызван для представления в Констанцу, едва доплелся, покрыв пятьдесят верст.

Через несколько дней, Ренненкампф, бывший уже командующим Виленским военным округом, вызвал к себе новороссийских драгун и послал царю и шефу полка — великой княгине Елене Владимировне, телеграмму:

— Новороссийские драгуны, сделав сто десять верст, представились мне в полном порядке.

Вскоре, он был пожалован званием генерал-адъютанта…

Высокое назначение Ренненкампфа было естественным. Слишком популярно было его имя в войсках. На фоне старших начальников, он представлялся бесспорно крупной фигурой, с блестящей боевой репутацией.

В последнюю войну он ее не оправдал…

Вспоминается его приезд в икскюльский лагерь, под Ригой, произведенный им двадцативерстный пробег с Иркутским гусарским полком по егерским кручам, горячее полковое ученье,

во время которого упал с коня и умер от солнечного удара полковой адъютант. Наконец, обед в офицерском собрании и полученная неожиданно телеграмма, извещавшая о Сараевском убийстве.

На вопрос о шансах войны, командующий на минуту задумался и пролаял обычной скороговоркой:

— Все может быть!.. Порохом пахнет!

В мрачном настроении, откланялся и уехал.

Через месяц разразилась война…

Ренненкампф командует 1-й армией. По настойчивому требованию союзников и Ставки Верховного главнокомандующего, едва закончив мобилизацию, бросается в Восточную Пруссию. Два корпуса из стратегического резерва Вильгельм вынужден направить вместо запада на восток. Ценою разгрома русской армии, достигнута победа французов на Марне.

Тактическая ошибка Ренненкампфа в период Лодзинской операции, закончила его боевую карьеру…

Лишенный командования и генерал-адъютантского звания, находясь под следствием, опальный генерал живет в Петрограде.

Я встретился с ним в первый день революции, на митинге в офицерском собрании.

Я снова увидел столь хорошо мне знакомую желтую забайкальскую форму, плотную, коренастую фигуру, усы с подусниками, обрюзгшее, хмурое, недовольное лицо Желтой Опасности:

— Поздравляю! — пролаял знакомый голос, в котором звучала горечь, смешанная, с неприкрытой иронией.

Я видел его в последний раз.

Через год его убили большевики…

И перефразируя историческое двустишие, можно сказать:

Всю жизнь провел в тревоге,
Расстрелян в Таганроге…

Красный главком

Был май и варшавская весна была в полном цвету, словно невеста в подвенечном уборе.

Штаб 1-й армии стоял в Яблонне, а четыре корпуса — 1-й сибирский, 1-й туркестанский, 26-й и 1-й кавалерийские занимали позицию, дугообразно охватывая фронт, от Прасныша до Вислы.

Кавалерийский корпус, стоявший на фланге, примыкая к самой реке, занимал небольшой, но достаточно укрепленный участок. Уязвимым местом был тыл — пятнадцать верст речного пространства, разделявшего обе стороны. Ибо Бзура, хорошо известная Бзура, находилась сзади, на левом берегу Вислы. Ветер доносил непрерывный грохот орудий, а по ночам, над Бзурой, полыхало жуткое зарево.

На фронте же 1-й армии было затишье.

Противники глубоко зарылись в землю. Маневренная война с марта месяца уступила место войне позиционной. По временам трещали одиночные выстрелы. Иногда бухали пушки, больше так, для собственного успокоения…

В воздухе чем-то запахло и, в середине июня, начальники корпусных штабов были вызваны, экстренным порядком, в Яблонну.

Штаб армии помещался в замке графа Потоцкого и в целом ряде, утопавших в сирени, дворцовых построек.

Начальником штаба был генерал Одишелидзе, человек не без странностей, а в общем — добродушный, недалекий, отяжелевший грузин. В последствии он занимал должность главнокомандующего грузинской армией и был расстрелян большевиками.

Пригласив в кабинет, Одишелидзе предложил занять места и резким, мало свойственным ему тоном, сказал:

— Господа генералы!.. От имени командующего армией предупреждаю!.. Каждый из вас ответит мне головой!..

После такого вступления, не предвещавшего ничего хорошего, наштарм изобразил положение на фронте. В голосе его дрожали нервные ноты. Каждая фраза сопровождалась ударом кулака по столу:

— Оборонительные работы ведутся из рук вон плохо!.. Проволочные заграждения отсутствуют!.. Нет блиндажей!.. Батареи не маскированы!.. Оборудование позиций ниже всякой критики!.. Безобразие!.. Преступление!..

— Генерал Зиборов, что вы скажете в свое оправдание? — раздраженно выкликнул Одишелидзе.

Наштакор 1-го сибирского корпуса, впоследствии зверски заколотый взбунтовавшимися солдатами, волнуясь и запинаясь, изложил положение на своем фронте.

Наштакор 1-го Туркестанского, генерал Януарий Цихович, маленький лукавый поляк, поблескивая голым черепом и Георгиевским крестом, обрисовал обстановку у туркестанцев:

— Все меры приняты, ваше превосходительство!.. Тридцать рядов заграждений!.. Фугасы, засеки, волчьи ямы!.. Кроме того, имеются особые петли, в которые попадает нога атакующего!.. Позиция оборудована, блестяще!.. За фронт туркестанцев можно быть совершенно спокойным!.. Ручаюсь!..

Одишелидзе несколько отошел.

— Что скажет конница? — обратился наштарм ко мне.

Я развернул план.

Наштарм не позволил мне высказаться:

— Впрочем, что конница может сказать? — со смехом заметил наштарм. — Конница ничего не скажет!.. Известно, чем думает конница!..

Это звучало грубо и даже несколько оскорбительно.

Начальник штаба поспешил тотчас добавить:

— Ну, не обижайтесь, полковник!.. Я пошутил!.. Во всяком случае, господа, это последнее предупреждение!.. Даю вам недельный срок!.. Полковник Каменев, запишите!

Сидевший в стороне, худощавый полковник, с бледным, мрачным лицом и свисающими книзу усами, набросал в «мерзавке» несколько слов.

Аудиенция кончилась…

Генерального штаба полковник Сергей Сергеевич Каменев занимал должность начальника оперативного отделения.

Каменев пользовался репутацией добросовестного и усердного офицера. Особых талантов в нем не усматривалось. Это был типичный «момент», не лучше и не хуже других. Несколько замкнутый, молчаливый, он не выделялся из рядов сослуживцев…

Вспоминаю, как после аудиенции у начальника штаба, Каменев обратился ко мне с несколькими словами, произнесенными интимным, дружеским тоном:

— Наш ишак рвет и мечет!.. Вы ведь хорошо знаете нашего неврастеника?.. Я вам кое-что расскажу!.. Зайдемте ко мне в оперативную!..

В просторной комнате, увешанной картами, работало несколько человек. Каменев провел в кабинет, развернул план и,

бегая карандашом по целому лесу красных квадратиков и кружков, произнес:

— Немцы готовят удар!.. Разведка обнаружила переброску значительных сил!.. Вот причина неврастении!.. Вы теперь понимаете?

Действительность оправдала его слова.

Через две недели немцы прорвали фронт 1-й армии на участке Туркестанского корпуса. Того самого корпуса, о неприступности позиций которого так красноречиво повествовал Януарий Цихович. Острый угол прорыва доходил почти до передовых фортов Новогеоргиевска.

В спешном порядке, под угрозой быть отрезанным противником, кавалерийский корпус был принужден бросить насиженную позицию и быстро отойти на восток.

А затем, началась Наревская операция, с тяжелыми арьергардными боями, без патронов и снарядов, без возможности задержать наступление густых немецких колонн. Тяжелый, безрадостный откат вглубь страны, с уступкой Варшавы и всего Передового Театра…

В период Великой войны, полковник Каменев не занимал крупной командной должности. Сергей Сергеевич сидел больше по армейским штабам и, лишь под самый конец войны, в порядке старшинства, принял пехотный полк.

Тем удивительнее та неожиданная карьера, которую сделал впоследствии этот «человек с большими усами и маленькими способностями», как называют его в Москве. Утверждают, что этому он обязан случайности.

Генерал Гофман стучит кулаком по брестскому столу. Троцкий бросает свое «не война и не мир» и, в паническом ужасе, мечется между Брестом и красной столицей. Корпуса Эйхгорна топочут по Украине, другие наступают на Бологое.

Вот тут, ряд генералов, в качестве «спецов», предложили красной власти свои услуги. Одни добровольно, другие по принуждению. В числе первых оказались — бывший драгомировский фаворит Бонч-Бруевич, Черемисов и серенький Парский, бывшие гвардейцы — вылощенный хлыщ Балтийский, Гатовский, Потапов, Павел Павлович Лебедев, приятель и однополчанин расстрелянного Духонина — Раттэль, наконец, свитские генералы — хитроумный Зайончковский и Гутор.

На одном из заседаний Реввоенсовета, делал доклад молодой полковник. Доклад касался вопроса об усилении дивизий тяжелою артиллерией. Доклад был составлен искусно, цифры придавали ему убедительность. Троцкий заинтересовался

фамилией докладчика.

— Каменев! — ответил бывший полковник.

Главковерх усмехнулся:

— Хорошая революционная фамилия, товарищ Каменев! — заметил Троцкий. — С такой фамилией можно далеко пойти!

Великая война кончилась.

Начиналась Гражданская…

Товарищ Каменев зашагал. Каменев принял участие в операциях против Деникина. Борьба с Колчаком выдвинула его на пост командующего армией. Советско-польская война сделала главкомом и красным инспектором, наградив званием почетного коммуниста…

Все же не совсем понятны причины этой карьеры.

Тем более, что существуют же в СССР люди несомненно талантливые, из тех же спецов, из той же плеяды бывших царских полковников и генералов?

Может быть, по складу натуры, Каменев является наиболее подходящим?.. Может быть, он опасен меньше других?..

Коммунист он, конечно, «липовый» и, при серьезном толчке, отречется от «нового мира» с той же легкостью, с какой, в свое время, отрекся от старого…

Татищев и Долгоруков

В сознании они встают, как рыцари долга, как безвинные жертвы черного русского лихолетья. В каждом из них было много душевного благородства, неутраченной чистоты, верности своим идеалам…

Илья Леонидович Татищев служил в лейб-гвардии гусарском полку. Он не был графом, а просто — Татищевым, каковая фамилия, в отличие от подобной же, но титулованной, считалась старшею ветвью в этом древнем роде.

Стройный, высокого роста, с тонкими чертами лица, с маленькой острой бородкой, он производил приятное впечатление. Его душевные качества располагали к себе после первого же знакомства. Он обладал приветливым и веселым характером, простотой, исключительным тактом.

В чине штабс-ротмистра, Татищев стал личным адъютантом главнокомандующего великого князя Владимира.

Это было в девятисотых годах, в период обостренных отношений великокняжеского двора к императорскому. Неприязнь великой княгини Марии Павловны к государю, а в особенности, к молодой государыне, выражалась порой в нескрываемой форме.

Татищев, не в пример другим адъютантам, держал себя с большим достоинством. Это не был «без лести преданный царедворец». Он разбирался лучше других в слабостях государя, в ошибках и промахах императрицы. Но исключительное благородство натуры не позволяло ему принимать участие в придворной интриге…

Государь, служивший когда-то в лейб-гвардии гусарском полку и хорошо знавший Татищева, приблизил его к себе. После того, как германский кайзер назначил своего генерал-адъютанта, графа Дона Шлобиттен, состоять при особе царя, последний был вынужден ответить подобным же актом.

Выбор пал на Татищева.

Пожалованный в свитские генералы, Илья Леонидович, чисто русский человек по натуре, с большой неохотой поехал в Берлин. Это почетное назначение чрезвычайно его тяготило. Немцев он недолюбливал и рвался в Россию. Война положила конец этой миссии…

Наступили революционные дни.

Татищев проживал в Петрограде. Время от времени, мы с ним встречались. Он удивлял своим оптимизмом:

— Это скоро пройдет!.. Верьте мне, дорогой, все образуется!..

Народ не выдаст царя!..

Татищев ошибся.

Арестованная императорская семья жила, как известно, в Царском Селе. Приближенные, за небольшим исключением, разбежались. Когда возник вопрос о переезде в Тобольск, царь снова вспомнил Татищева.

Татищев, без колебаний, поехал в Тобольск…

Князь Василий Александрович Долгоруков служил в Конной гвардии.

В молодых чинах был пожалован званием флигель-адъютанта. В чине полковника был назначен командиром одного из драгунских полков, расположенных на прусской границе.

Долгоруков, по натуре, не был военным. Мягкий, скромный, застенчивый, он и по своим физическим качествам не отвечал требованиям суровой строевой службы.

Блондин среднего роста, с вялой походкою и движениями, без малейшего темперамента, со слабым здоровьем, медлительный в словах и поступках. Строевая служба его утомляла. Управление полком он передал всецело в руки ближайших помощников. Дело от этого не страдало.

Лишениям маневренной жизни князь предпочитал домашний покой. Горячим кавалерийским ученьям на Пожайском поле — уют кабинета, беседу с друзьями, партию в преферанс или «тетку».

Ясно припоминаются эти зимние провинциальные вечера, в жарко натопленной княжеской квартире, обставленной старинною мебелью и коврами, золоченою дедовскою посудой, и с неизменным стариком камердинером. Скромный ужин, беседа за стаканом вина, невинные карточные забавы…

В отношении служебных достоинств, князь, как сказано выше, выдающимся не был. Да, впрочем, и не претендовал на карьеру. В полку его одинаково любили, и солдаты и офицеры, и расстались с ним с сожалением.

С производством в генералы, после непродолжительного командования конными гренадерами, князь покинул строевую службу и состоял при дворе, в должности гофмаршала. На этой должности, в самом тесном соприкосновении с царской семьей, его застала война и революция.

Его поездка в Тобольск была вполне естественной…

Последняя встреча с князем произошла в марте семнадцатого года, на Дворцовой Набережной, возле Зимней Канавки.

Князь шел со своим отчимом, обер-гофмаршалом графом Бенкендорфом, и английским послом, сэром Бьюкененом.

Старый обер-гофмаршал, с совсем заострившимся носом, сохранял все же в глазу неизменный монокль. На сухом лице английского сэра сквозило выражение скорбного недоумения. У всех трех был совершенно расстроенный, удрученный, подавленный вид.

Князь остановил меня и обменялся несколькими фразами:

— Что же дальше?.. Есть ли надежда?.. Мне кажется — все пропало!..

Князь был недалек от истины.

В Тобольске князь окончательно упал духом. Мягкая женственная натура не выдержала сурового испытания. В противоположность Татищеву, князь нуждался сам в моральной поддержке.

С переездом царской семьи в Екатеринбург, Татищев и Долгоруков были заключены в пермскую тюрьму и вскоре расстреляны.

Мир их чистой душе!..

Атака ямбургского полка

Не в умаление заслуг доблестного полка, тем паче не для злопыхательства или насмешки, вспоминается этот маленький эпизод, не столько, впрочем, драматического, сколько комического характера.

Ничего нет скучнее фанфарной поэзии, славословящей по одному и тому же шаблону боевые подвиги «чудо-богатырей». Конечно, подвиги были. И не только те, которые лежат в основе пышных и, очень часто, лживых реляций. Много истинных подвигов и многих скромных героев заслонили последующие события, оборвавшие столь трагическим образом титаническую войну.

Но кроме подвигов, было другое. Этого не нужно скрывать. Хотя бы для того, чтобы извлечь, при случае, пользу даже из фактов отрицательного значения.

Июль пятнадцатого года был месяцем тяжелого испытания.

Сдавив стальными клещами Передовой театр, колонны генерал-полковника фон Гинденбурга с северо-запада, железные фаланги Макензена с юга — упорно ползли, с целью прорыва, к Варшавско-Петроградской дороге, по которой день и ночь мчались эшелоны с войсками, с военным имуществом, со всем добром, эвакуируемым из польской столицы.

Передовой театр отдавался врагу. Вопрос заключался лишь в том, чтобы задержать немцев на несколько дней, вывести варшавскую армию из огненного кольца, произвести в порядке эвакуацию…

Шестая кавалерийская дивизия действовала на наревском фронте. В ее состав входили четыре полка с двумя конными батареями и бригада «шпинатной» дивизии, с Ямбургским уланским полком. «Шпинатной» дивизия называлась потому, что носила когда-то зеленый цвет. А ямбургские уланы — тот самый полк, про который пелось в веселой юнкерской песенке:

А-а-а-фицер выходит в ямбургцы,
В ямбургцы,
В ямбургцы!..

Словом, лихой, распропьяный, удалый полк…

Арьергардный бой — неприятная штука. Особенно, если на каждую пушку положено в день всего три снаряда. Дивизия

слезала с коней и занимала позицию. Немцы наступали колоннами. Под огнем кавалерии, немцы строили боевой порядок и наступали цепями.

Дивизия, как мячик, отскакивала назад, снова занимала позицию и снова заставляла противника терять время на перестроение. И так, вплоть до наступления ночи.

Натиск противника был упорный, безостановочный, методичный. Днем наступали. Ночью немцы делали остановку и ночевали на занятом рубеже. Казалось, что противник играет с нами, как с маленькими ребятами, как кот с мышонком. И точно, что представляют собой шесть конных полков, хотя бы и доблестных, но без снарядов, против прусского армейского корпуса с многочисленной артиллерией и тяжелыми шестидюймовыми пушками?..

Был вечер, когда покидалась очередная позиция.

Двенадцатая конная батарея брала «в передки». Командир батареи, подполковник Кузьминский, стоя на пригорке с цейссом в руках, едва не рыдал в припадке нервного бешенства.

— Сколько снарядов?

— Ни одного! — сказал командир двенадцатой конной.

— Ни одного! — повторил командир, загнув крепкое слово. — Вот бы теперь окатить!.. Полюбуйся?

В бинокль была видна опушка леса. На опушке, воткнув винтовки штыками в землю, стояла рота, с поднятыми кверху руками. А из леса перли колонны, в знакомом «фельдграу», в остроконечных касках с серыми парусиновыми чехлами.

Колонны перли и перли…

Падала ночь.

Полки отошли на три версты и заночевали. Арьергардом были ямбургские уланы. Командир полка назначал эскадроны в «сторожевку».

Тут же, на краю деревни Олдаки, ожидая последних распоряжений, остановился штаб конной дивизии. У походной кухни штабной команды, с котлом дымящихся щей, сгрудились утомленные офицеры. Начальник дивизии, в соседней хате, докладывал по телефону командиру корпуса обстановку.

Ночь была тихая и беззвездная. Вдали полыхали зарева пожарищ. Впереди, кое-где, на фоне багрового пламени, виднелись отдельные точки. Это немцы ставили аванпосты…

Мною овладело грустное настроение:

— Варшава отдается врагу!.. Нет сил остановить его натиск!.. Мы безоружны!.. Враг вооружен до зубов и, при малейшем сопротивлении, засыпает таким градом, который не выдержать

при всем запасе стойкости и отваги… Как больно, как грустно!.. Затраченные усилия, бессонные ночи, тревожные дни, все понесенные жертвы — исчезли даром в пасти кровавого бога войны!..

Размышления прерываются.

Командир конвойного взвода, подхорунжий Колесников, высланный, на всякий случай, для ближней разведки, вырастает точно из-под земли:

— Ваше высокоблагородие… Немцы!

— Близко?

— Почитай сто шагов! — шепчет Колесников с растерянной, недоуменной улыбкой.

Что за история?..

Медлить нельзя ни минуты… Два слова — и командир полка поставлен в известность… Штаб, в мгновенье ока, сидит на конях…

Только начальник дивизии, генерал Владимир Христофорович Рооп, продолжает в хате беседу с комкором. Он стоит перед аппаратом, щелкает шпорами, кланяется в телефонную трубку:

— Все в полном порядке!.. Во исполнение возложенной задачи, выдержал пять арьергардных боев!.. Натиск противника остановлен!.. Алло!.. Пи-пи… Владимир Алоизиевич, ты слушаешь?.. Снарядов нет!.. Потери есть!.. Алло!.. Пи-пи… Ты слушаешь?.. Что?.. Ну, конечно… Ясно, как кофе!.. Сейчас выставлю сторожевку и отойду на ночлег… Спать можешь спокойно… Ручаюсь… Что?.. Да не может быть?.. Ха-ха-ха-ха!.. Врэман?.. Сэ-т-энпоссибль!.. А она ему что сказала?.. Эт-то — женщина!.. Эт-то я понимаю!.. Ха-ха-ха-ха!..

Беседа видимо затягивается. Медлить нельзя. Подхожу и говорю три слова:

— Ваше превосходительство… Немцы!

Только три слова… Но каких слова?.. Какой эффект производит их скрытый смысл?..

Трубка выскальзывает из рук. С проклятием на устах, Владимир Христофорович выскакивает из хаты. Через мгновенье, уже сидит на своей вороной, рысистого типа, конно-гренадерской кобыле…

А еще через мгновенье, крайняя хата деревни Олдаки превращается в огненный столб. Совершенно внезапно, молниеносно. Точно в ней склад бензина, соломы и бездымного пороха, подожженных чьей-то преступной рукой. И одновременно;

— Трррах-трррах!

Два залпа с самой близкой дистанции прорезают тишину ночи. Сноп пуль свистит над самою головой. Рванулась походная кухня, перевернулась кверху ногами и исчезла во мраке. Храпя и вздымаясь на дыбы, рванулись кони и вынеслись в чистое поле. Удержать их нельзя. Топот тысячи конских ног, от которого загудела земля — гу-гу-гу, наполнил непроницаемый мрак. А вдогонку неслось:

— Зык-зык!.. Зык-зык!.. Тра-та-та-та!..

Уже не залпы, а ураганная ружейная трескотня гремит сзади, провожая несущийся вскачь уланский Ямбургский полк и штаб конной дивизии. Храп и ржание лошадей, топот, звуки трубы, крики и выстрелы — все смешалось в какой-то адский, непередаваемо дикий аккорд. — Зык-зык — свистят пролетающие мимо стальные шмели и, в эти мгновенья, гвоздит скверная мысль:

— В спину или в затылок?

Тщетно взбешенный начдив, увлекаемый общим потоком, пытался остановить свою рысистую вороную конно-гренадерскую Фрину, и тщетно, с проклятием на устах, прорезал тьму металлическим баритоном:

— Ямбургские уланы, ко мне!.. Полк стой — равняйсь!..

Это случай, когда тактическая оплошность вносит в ряды расстройство совершенно стихийного, исключительного характера. Это — паника, от которой едва ли кто может быть застрахован…

До рассвета продолжалась беспорядочная скачка Ямбургского полка. До рассвета уланы носились, во мраке ночи, по всему полю. А один эскадрон вскочил даже в Замбров — штаб-квартиру комкора, и наделал немало переполоха.

Впрочем, команда корпусных мотоциклистов приняв его за немецкую кавалерию, отразила атаку дружным огнем.

А комкор, генерал Владимир Алоизиевич Орановский, в исподнем белье, с накинутым поверх походным плащом, уже сидел на своем сорокасильном «роллс-ройсе».

Ибо не имел никакого желания попасть позорным образом в плен…

Абракадабра
Из приморских эскизов

1

На владивостокской Светланке, в театре «Золотой Рог» держал антрепризу Евфимий Долин. Незадолго до прихода большевиков, он сдал театр под кинематограф.

Из фойе одна дверь вела в театральную залу, другая — в подвал «Би-Ба-Бо», приют владивостокской богемы.

Это происходило в конце девятнадцатого года, когда колчаковский фронт уже трещал по всем швам и неудержимо, под натиском Красной армии, откатывался все дальше и дальше к востоку.

В тылу и в читинском царстве атамана Семенова было также весьма неспокойно. Красный и белый террор разливался широкой волной. И только во Владивостоке, под охраной английских, американских и, главным образом, японских штыков, жизнь протекала еще более или менее нормально, если не считать общего нервного пульса.

В «Би-Ба-Бо» биение этого пульса ощущалось с особою силой.

Неизменными посетителями этого учреждения были, по преимуществу, люди «свободных профессий» — сотрудники двенадцати владивостокских газет, поэты, артисты, подпольные политики, авантюристы всех мастей и дезертиры с сибирского фронта. Все устремились во Владивосток, предпочитая переждать здесь надвигавшийся политический шквал.

Случайно очутилось здесь и несколько персонажей московского футуристического олимпа и верховный жрец его — небезызвестный Давид Бурлюк. Каким ветром его занесло — черт его знает! Но появление на Светланке не могло пройти незамеченным…

Представьте ражего парня, с круглым бабьим лицом, с размалеванной красками физиономией, с тяжелой переливающейся походкой. На голове — казанская тюбетейка, взамен пиджака — бархатная пижама с отложным воротом, на ногах — полосатые панталоны: одна штанина зеленого, другая лилового цвета.

Прибытие знаменитого мэтра было тотчас отмечено. Появились заметки, запестрели портреты. В «Би-Ба-Бо» состоялись немедленно перевыборы и председателем литературной секции

был избран Бурлюк. А через несколько дней, зайдя в редакцию «Голоса Родины» или, как ее называли — «Голос Уродины», мэтр вручил редактору приветственные стихи:

В кошнице гор Владивосток,
Когда лишенным перьев света,
Еще дрожа, в ладьи восток
Стрелу вонзает Пересвета.
Дом мод, рог гор, потоп, потоп,
Суда, объятые пожаром,
У мыса Амбр гелиотроп
Клеят к стеклянной коже рам…

В маскарадном костюме, привлекая внимание толпы и милиции, он разгуливал по Светланке, посещая кабаки и редакции. А вечером, в окружении поклонников и поклонниц, сидел в подвале и, гнусавым голосом, нараспев, читал поэзы…

Топ-топ!..

Вбегает Сергей Третьяков, длинный, лысый, поджарый, в пенсне на ястребином носу. Тоже поэт-футурист и будущий товарищ министра «внудел» правительства Приморской земской управы.

Его «Железная пауза» неподражаема:

Улюлюкай, арапник травли,
Зубом воздух прокусишь авось,
Молчаливей китайских каули
Рычагую земную ось.
А когда заревым салютом
Запылают пылища нутре —
Я отдам плечистым Малютам
На растленье малютку утре!

Вот — Николай Асеев… Премированный поэт, служивший в «сибобалкопе» — сибирском областном кооперативе — по отделу транспорта селедки, стоит у колонны в позе глубочайшей задумчивости, разрешая два важных вопроса: во-первых, долго ли еще продержится висящая на ниточке единственная пуговица пиджака, и во вторых — на чем растут соленые сельди?

Этот, по крайней мере, искренен и талантлив. В его «Заржавленной лире» попадаются звучные строфы:

Оксана, жемчужина мира!

Я воздух на волны дробя,
На дне Малороссии вырыл
И в песню оправил тебя.
А если не солнцем, медузой
Ты станешь во тьме голубой,
Я все корабли поведу за
Бледным сияньем — тобой…

Это — три, так сказать, столпа приморского футуризма. А за ними идут несколько второстепенных — Арсений Несмелов, посвятивший «Гению Маяковского» книжку недурных стихов, поэт «изысков» — харбинский Алымов и, наконец, целая фаланга мелких, бездарных, бесповоротно свихнувшихся эротоманов коканнистов — Бенедикт Март, Варвара Статьева, Далецкий, Рябинин:

Горбатые ландыши задушили горло —
Маленькие детики, поцелуйте в оскал…

В январе двадцатого года, с крушением Колчака и эрою красного помешательства, футуристы распоясались окончательно. Кое-кто вынырнул из «подвала» и занял посты на «командующих высотах».

Бурлюк преуспел, кажется, больше всех.

Получив от антоновского правительства изрядный куш в иенах, он организовал, с пропагандной целью, выставку своих картин в Токио — научить уму-разуму бедных японцев. Но предварительно, оборотистый парень устроил выставку во Владивостоке.

На стенах того же самого «Би-Ба-Бо» было развешано до пятидесяти холстов. В глазах рябило от красочного неистовства. Кубические рожи, ромбические тела, геометрические композиции и потоки безжалостно изведенной охры. Словно, по полотну прошлась гигантская швабра. А на некоторых холстах, для большей яркости впечатления, приклеены клейстером окурки и спичечные коробки.

Публика с недоумевающим видом бродила по выставке. Особа в каракулевом, несомненно краденом саке, в сопровождении незнакомца в кожаной куртке, с наганом за поясом, щурилась и томно бросала:

— А знаешь, Ванечка, здесь что-то есть?..

Ванечка икал и буравил публику острыми серыми щелками. Бурлюк, в тюбетейке и полосатых штанах, разгуливал с видом

хозяина по подвалу и давал объяснения.

Бурлюковская выставка не имела успеха ни во Владивостоке, ни в Токио. Японцы оказались темными дикарями.

Огорченный Бурлюк, на остатки антоновских иен, уплыл на Бонинские острова. Раза два-три отозвался экзотической абракадаброй и — пропал…

2

Чжанзолин!..

Это не мукденский диктатор, завоеватель Пекина, некоронованный маньчжурский король.

Чжанзолин — король ног…

Возле Семеновского базара, рядом с китайскими лавками и барахолкой, расположена баня. Ее посещают «лучшие люди города». При бане состоит оператор, здоровенный китаец, лет тридцати. Его зовут — Чжанзолин. Это кличка, которую ему дали клиенты.

В бане то и дело слышатся голоса:

— Чжанзолин, скоро ты кончишь?

— Мозоля, иди сюда!

— Чжанка, скорей!

Чжанзолин не может пожаловаться на клиентуру. Чжанзолин — артист своего дела. Торговаться он не позволяет. Взяв клиента за ногу, старательно вырезает мозоли и занимается болтовней. Публика любит слушать его белиберду, хохочет навзрыд, но сам рассказчик строг и серьезен:

— Мозоля есть — денег нету!.. Чиво буду делай?.. Чиво буду кушай?.. Собаку буду кушай?.. Мозоля буду кушай!..

Пациенты хохочут и некоторые даже отказываются от сдачи.

Иногда пациент вскакивает, как ужаленный, дергается, будто его колит иголками, кричит на всю баню:

— Ой-ой-ой!.. Будет тебе, проклятый китаец!.. Да будет тебе, окаянный!..

Чжанзолин не обращает внимания и сильнее стискивает ногу:

— Ничего, не кирчи…

Но вот из женского отделения раздается тоненький голосок:

— Чжанзолин!.. Мозоля!.. Скоро придешь?

Чжанзолин не удостаивает ответом. За него отвечает кто-нибудь из клиентов.

Кое-кто из посетителей, незнакомый с обычаем, спрашивает, хлопая себя по голым ляжкам:

— Как?.. Он и в женском отделении режет мозоли?

— А отчего бы нет? — отвечает сразу несколько голосов.

— Да ведь там… голые?

Баня дрожит от хохота. Но кто-то уже спрашивает китайца:

— Чжанзолин, а что мадамы красивые?.. Хао?

— Есть хао, есть и пухао! — спокойно отвечает китаец. — Старые мадамы шибко пухао и мозоля его шибко пухао…

— А тебя, черта, они не стесняются?

Но Чжанзолин не понимает вопроса или просто не хочет понять. За него опять отвечают другие:

— А чего там стесняться?.. Их много, а он один!

И в подтверждение этих слов, Чжанзолин берет инструменты и идет в женское отделение…

3

Мы сидели в сквере адмирала Завойки.

Плыл медленный вечер. В сквере еще резвились дети, гуляли молодые люди и барышни. Аметисты дымчатых сопок горели в бронзовой оправе заката. Тихо дремал залив.

По дорожке шел человек. Он шел, опираясь на палку, слегка волоча правую ногу.

— Это Черная Маска! — сказал фельетонист Кок и закричал:

— Эй, капитан!.. Пожалуйте-ка сюда!

Проходивший остановился, посмотрел в нашу сторону, махнул рукой. Через минуту, однако, сидел на нашей скамье. Он был в затрепанном френче из солдатской материи, в военной фуражке, в грубых, стоптанных английских башмаках-танках. Лицо его, худое и изможденное, не представляло ничего особенного. Такие лица, во времена революции, встречаются на каждом шагу.

Капитан Королев — «охотник за черепами».

Капитан не скрывает своей профессии. Он знает с кем можно быть откровенным. На этот путь он стал, впрочем, совершенно случайно. Нужда заела. Если бы не большевицкий переворот, он был бы теперь батальонным и имел верный кусок:

— Жена, дети… Работишки никакой… Сами понимаете, что будешь делать?..

С наступлением ночи, капитан Королев отправляется на «охоту».

Медленно ковыляя, он подымается по Китайской, туда, где меньше народу и глуше, сворачивает в проулок, останавливается и выжидает. Ждет час, другой, пока не клюнет.

У капитана глаз острый, наметанный, а чутье, как у лягавого

кобеля. Прошмыгнет рогульщик-каули, проплетется старая нищенка, пройдет случайно японский солдат, с винтовкою на плече. Капитан стоит, прижавшись в тени у забора. Его не видно. Только краснеет огонек папиросы-крученки.

Но иногда, озираясь пугливо по сторонам, стараясь не издавать лишнего звука мягкими удами, проскользнет в переулок китаец-лавочник с Семеновского базара. Он только что из опиекурильни, а может быть совершил удачную сделку или выиграл в кости в китайской харчевке.

Еще лучше, когда из Корейской слободки, где живут веселые женщины, возвращается хмельной артельщик, комиссионер, загулявший светланский купчик.

Капитан Королев бьет наверняка.

Он выхватывает из кармана кусок плотной марли, окутывает им голову, выходит из тени и говорит сдавленным шепотом:

— Деньги!

В правой руке поблескивает наган…

— И что же… Дают?..

— Обязательно!

— А если нет?..

— Такого случая еще не бывало… Бог миловал, пока не бывало!.. Ну, мне пора…

Поднявшись со скамейки, капитан козырнул и тяжело направился к выходу…

К. Попов
Господа офицеры

…Берегите офицера! Ибо от века и до ныне он стоит верно и бессменно на страже русской государственности. Сменить его может только смерть.

Ген. А. И. Деникин

Глубокоуважаемой Анне Оттовне Вышинской, супруге высокодоблестного командира лейб-Эриванцев — Евгения Евгеньевича, имя и славная память о котором вечно будет жить в сердцах оставшихся в живых его боевых соратников и таковой же передастся идущим им на смену новым поколениям Эриванцев… Ввиду целого ряда беспримерных по красоте своей страниц, вписанных полком в период его командования в нашу славную полковую историю.

От искренне преданного и сердечно расположенного автора — К. Попова

Булонь о/с

1. V.29 г.

Сомкнем штыки!
(Вместо предисловия)

На дворе льет дождь. Буйный ветер, обрывок циклона свирепствующего уже неделю в Атлантическом океане и Ла-Манше, сотрясает мою мансарду, как бы желая отвлечь мое внимание и нарушить тихую торжественность, охватившего меня, душевного состояния. Напрасно. Я растапливаю печь, поудобнее сажусь в старое кресло, протягиваю ноги, чтобы дать им обсушиться и согреться и начинаю уже чувствовать, как тепло приятно распространяется по всему телу. Я с удовольствием отдаюсь на миг этому чувству, не торопясь достаю свой бумажник и вынимаю из него только что утвержденный устав моего полкового объединения. «Наш Закон», читаю я его краткое и выразительное название… и моя мысль переносится туда, где только что сидели мы, уцелевшие обломки старинного полка Российской армии. Предо мной отчетливо встает крупная фигура моего старого доблестного командира, когда-то статного красавца флигель-адъютанта, теперь седого старика — директора крупной американской фирмы, собравшего своих офицеров у себя в кабинете и читающего по пунктам вновь выработанный, предлагаемый на утверждение, устав.

Сосредоточенно суровы лица слушателей, плотно сжаты их губы и не одна морщина залегла глубокой складкой на этих мужественных, гордых челах. Они впитывают в себя отрывистые фразы своего командира, с глубоким чувством и подлинным огнем, произносящего:

— Русское государство и его державное место среди народов мира созидалось в течение тысячелетия под водительством русских князей и царей, творческими силами русского народа, морально нравственными устоями православной церкви и мощью русской армии…

Первый, старейший полк русской армии Z-ский царя Михаила Федоровича, основанный первым Романовым, исполнял свой воинский долг непрерывно в течение почти трех столетий, пронеся через века своего существования незапятнанным свое опаленное в боях и обвеянное победами знамя. Всею своею государственною, трудовою, боевою и мирною работою, всем своим прошлым, полк исторически неразрывно связан с династией Романовых…

Неоднократно отличаемый за подвиги и службу России — царями, полк хранит благодарную память династии и глубокую

скорбь о царственных однополчанах, принявших мученический венец: императоре Александре II и императоре Николае II и его семье…

В годы тяжелых испытаний, выпавших на долю нашей Родины, каждый Z-ец, где бы он ни находился, все тот же стойкий носитель долга и чести полка на посту своего исконного служения Великой Родине…

Звание Z-ца обязывает, и в особенности в исключительно трудных условиях современной жизни, сохранить верность традициям полка и передать их нашим потомкам такими же, какими мы приняли их от наших предков…

Одушевленные этими мыслями, нашим славным прошлым, в котором черпаем наши силы, ради сохранения морального наследия, врученного нам историей, — наших традиций, — для дела будущего строительства России, мы, находящиеся в Париже члены Z-ской семьи, собрались ** 192* года и выработали наш закон, правила нашей организации и изложили его в следующих статьях…

Вот они эти краткие, простые и ясные статьи… я любовно перечитываю их раз, другой… и они кажутся мне пределом ясности и почти что физической ощущаемости.

Наш Закон уже рисуется мне начертанным на скрижалях, подобных тем, на которых начертаны были заповеди Моисея. И самый стиль и сущность его навевают на меня прекрасный аромат далекого прошлого… и картина за картиной воскресают в моей памяти.

Я вижу себя недавно прибывшим в полк молодым офицером…

Бильярдная комната офицерского собрания постепенно наполняется. Дверь из обширной, неуютной и холодной передней поминутно с шумом отворяется и впускает все новых и новых офицеров, сияющих своей прекрасной формой, безукоризненной выправкой, уверенными движениями и как бы излучающейся из каждого жизнерадостностью молодости. Входящих то и дело шумно приветствуют: «Здорово, Гено! А! Кокор! Рома! Саша! Арчилл!» — или приветствия переходят вдруг с имен и прозвищ на цифры рот и батальонов, в которых состоят входящие…

— Здорово шышнадцатая! Здорово славная шестая! Здорово «четвэртый»… — сразу бросается в глаза, что собирается только молодежь не выше штабс-капитанского чина, и все же набирается до сорока человек. Каждого старшего из входящих все подчеркнуто «отчетливо» встречают, вставая и вытягиваясь, пока не кончалась церемония обычных приветствий. Заметно также, что офицеры избегают называть друг друга по имени и отчеству, а

называют по прозвищам и именам, и только одни мы, «молодые», выдаем себя тем, что ко всем обращаемся с упоминанием чина.

Большая биллиардная комната, несмотря на свою неуютность, любимое место для сбора друзей.

Здесь обыкновенно рождались многочисленные планы и отсюда же начиналось проведение их в жизнь.

Здесь же, как узнаем, зародилась вчера мысль и нашего чествования — и первоначальное недоумение «молодых»… разъясняется.

Большие деревянные диваны, стоящие вдоль стен, и большой солидный биллиард с необходимыми принадлежностями — единственная обстановка этой комнаты, если не считать висящей вдоль стен длинной вереницы портретов бывших командиров полка, от Гордона, изображенного на старинной гравюре, до последнего командира, снятого в тифлисской, хорошо известной всем фотографии.

Диваны давно укомплектованы старшими офицерами. Младшие, не имея где присесть, стоят в независимых позах, попыхивая папиросами и ведут оживленную, дружескую беседу. Табачный дым поднимается облаками от этих групп и, временами, начинает походить на дымовую завесу, из-за которой, словно из тьмы веков, серьезно глядят лики старых боевых командиров. Сегодня полковая молодежь, к которой относились подпоручики, поручики и часть штабс-капитанов, не обремененных еще семейными обязанностями, — выбрала день для чествования или, как нам было объявлено, для ознакомления с молодежью.

Нас, «молодых» — восемь, прибывших из пяти военных училищ.

Ровно в девять часов, как было назначено, дверь, ведущая в большой квадратный, полуторасветный зал, распахнулась и на пороге показался хозяин собрания, поручик Гаврюша К., невысокого роста, худощавый брюнет, с черненькими усиками и маленькими, глубокосидящими глазками.

— Пожалуйте, господа! — обратился он к собравшимся офицерам, приглашая их широким жестом в столовую. Никто не заставил себя просить дважды и все гурьбой направились через слабо освещенный, громадный зал к яркой полосе света, вырывавшейся из широко раскрытых дверей столовой.

Взору вошедших представилась прекрасная перспектива большой продолговатой, залитой светом столовой, посреди которой красовался длинный стол, накрытый белоснежной скатертью. Он был уставлен правильными рядами приборов великолепного кузнецовского фарфора, с тончайшей,

художественной работы, полковыми вензелями. За приборами, в том же безукоризненном равнении, поместились хрустальные бокалы, стопки и рюмки. За ними, в центре стола, среди разного рода закусок и вин, возвышались прекрасные серебряные вазы с цветами — желтыми и красными. Все свободные в этом пространстве места заняты кубками, чарочками, азарпешами и турьими рогами, оправленными в серебро и золото. На каждом из этих предметов дата, кем и когда сделан подарок в полковую сокровищницу. Столовая утварь, накопившаяся столетиями, представляла в полном смысле слова — сокровищницу. Кроме сотен комплектов серебряных приборов, остававшихся от каждого офицера, служившего в полку и обязанного иметь свой прибор, она имела еще массу ценных подношений от различных полков, городов и старых сослуживцев, делавших свои подношения в различные выдающиеся моменты полковой жизни. Но главными и ценнейшими были царские подарки — державных шефов, которые, кроме своей действительной стоимости, представляли собой высокохудожественные произведения искусства и исторические реликвии. Этих, последних, за столом нет. Они подаются лишь в особо знаменательных случаях, а посему красуются в громадном резном шкафе, специально привезенном из Венеции.

Когда все офицеры встали возле своих именных приборов и невольно стих шумный разговор, старший из присутствующих, едва уловимым наклонением головы попросил всех сесть. Зашуршали отодвигаемые стулья, сверкнули и заиграли отразившись в прозрачном хрустале яркие пуговицы и блестящие погоны, и каждый как бы в нерешительности и раздумьи задержался, предаваясь созерцанию красоты девственности сервированного стола.

Это продолжается момент, в который, однако, я улавливаю торжествующий взгляд моего визави поручика, которого все зовут Арчиллом, — брошенный моему соседу, тоже молодому.

«Каково, брат?» — одними глазами говорил Арчилл… и ошеломленный «молодой» ничего не отвечая, как бы растворился в восторженной улыбке.

— Господа! — произнес, поднимаясь, сидевший в голове стола старший, и все встали.

— Я поднимаю бокал за здоровье державного шефа полка, Его Императорского Величества Государя Императора! Ура!..

Громкое дружное ура огласило столовую и с рокотом перенеслось в пустой зал… и не успело еще замереть, как все запели хором, вдохновенный Z-ский марш…

— Господа! — раздался голос того же офицера. — Я

предлагаю выбрать, по-кавказскому адату, тулумбаша и таковым предлагаю избрать Володю Дельского.

— Просим! Просим! — раздались со всех сторон дружеские голоса. Этого оказалось достаточно и тулумбаш принял бразды правления в свои руки.

— Z-цы — Алаверды! — как бы скомандовал тулумбаш, и все буквально залпом выпалили — «Яхши-Ол».

«Учись, брат!» — одними глазами наставлял торжествующий Арчилл… и тотчас же поворачивался сам к тулумбашу и нарочито серьезно весь обращался «в слух».

— Господа! — тем временем говорил тулумбаш Володя. — Сегодня мы приветствуем молодые силы, влившиеся в наш старый, горячо любимый полк.

Этот день, всегда большое событие в нашей маленькой жизни. Для нас это подтверждение вещих слов нашей полковой песни: «Z-цев нас немало мертвых и живых, было… есть… и будет»… Мертвым слава и честь; это их трудами и их подвигом создавался избранный вами (при этих словах он выразительно обвел глазами «молодых») наш славный полк… Живые, это все мы, присутствующие и отсутствующие Z-цы готовые ежечасно, ежеминутно, поддержать честь и доброе имя наших славных предков и нашего седого, увенчанного славой полка. Уйдем или погибнем мы, полк не умрет. Нас заменят наши дети, внуки и правнуки… и «как в прошедшие века»… в минуты тяжелых испытаний полк только «сомкнет штыки»… и славным погибшим явятся на смену доблестные живые… Пример налицо… — Господа! — возвысил голос тулумбаш, — в этом году все восемь выпущенные к нам в полк кончили свои училища портупей-юнкерами. — Да здравствует наша славная молодежь!

Z-цев нас не мало —
Мертвых и живых…
Было… есть… и будет… —

дружно и задорно взяли тенора.

Выпьем и за них… —

присоединились баритоны и басы.

Ура, Z-цы!
На картечи нам придется в бою лечи
Сам Бог повелел.

Сам Бог повелел. —

повторили басы и октавы.

С добрым духом! —

как бы поздоровавшись воскликнул тулумбаш.

Сомкнем штыки! —

отвечали все разом.

Z-цы! —

командовал тулумбаш… и все, выждав два счета, дружно выпаливали:

Пли!

И вновь, стоя, все исполняли хором полковой марш. Собранская прислуга, рослые красавцы в белых рубахах с белыми поясами и в белых перчатках, бесшумно подают и убирают, скользя, как тени. А тулумбаш не унимается, уже назначил себе помощника и потребовал, чтобы «молодые» от каждого училища сказали слово.

— Прошу младшего, — распоряжался Володя.

Младшим оказался Павлон, за ним два Александровца, потом Одессец, потом Павлон, Тифлисец, Алексеевец и, наконец, самый старший из выпуска Тифлисец. Каждый сказал свое слово и каждому отвечал кто-либо из его старших однокашников.

Просты и бесхитростны были слова, никто не сказал ничего особенного, но всех выслушивали внимательно, даже напряженно. Когда кто-нибудь более удачно выражал свою мысль, немедленно слышались голоса:

— Как он говорит!

— Какой поэт!

— Второй Кикнадзе.

И обычно после такой речи все затягивали комическую песнь:

Пушкин, Гоголь, Лермонтов и Ге-е-й-не
А за ними современ-ны-е по-э-эты…

Тут все вставали, чокались с «поэтом» и продолжали:

Прославляют «наших» дам,
Ножки милых чудных дам,
Тра-та-ра-та-там,
Тра-та-ра-та-там,
Там-там…

Но чаще случалось, что поэтов не оказывалось. Красивая мысль, пришедшая в голову, не находила нужных слов для ее выражения и происходила заминка, — тогда все дружным «ура» выручали товарища из неловкого положения.

— Дорогой мой, вы не допивайте своего бокала до дна, вас не хватит, а опаздывать на службу у нас не полагается, — тем временем шли поучительные разговоры… или…

Арчилл, выпив на брудершафт с подпоручиком Четыркиным, торжественно ему заявлял:

— Ты, брат Четыркин, не грусти, — хотя Четыркин и не думал грустить. — Тебе батальонный не замечание сделал, а только заметил, что у тебя очень «красивая» челка… У нас в полку ни челки, ни бакенбарды не полагаются… При мне был такой случай, — говорил Арчилл: — один наш офицер, сейчас он в Академии Генерального штаба, — отпустил себе «котлеты». Ему офицеры сказали раз, другой, — не помогло. Тогда устроили товарищеский ужин, на который пригласили и его. Ужин был в полном разгаре, когда к нему подошли четыре офицера, взяли его вместе со стулом и торжественно понесли на сцену… вот сюда, — указал он на сцену (столовая являлась в то же время зрительным залом). Хозяин собрания в этот момент поднял занавес и все увидели на сцене нашего полкового парикмахера Баграта, сидящего за столиком со всеми принадлежностями, направляющего бритву. Тут же на столе и горячая вода в чашечке, одним словом, все как полагается и… здесь на сцене, с его «согласия» — сбрили одну котлету…

— Ну, будь здоров, дорогой Коля, — протягивая бокал и чокаясь с молодым Александровцем, говорил Арчилл; а немного погодя, как ни в чем не бывало, добродушно предлагал: — Знаешь что, Четыркин, идем завтра вместе стричься…

Сто с лишком лет
Тому — как было,
Про что мы песню пропоем… —

мягким приятным тенором начинал помощник адъютанта — Саша — песнь про подвиг рядового Гаврилы Сидорова в Персидскую войну 1805 года, известный в истории под названием «живой мост», когда солдаты, увлеченные примером Сидорова, бросились в непроходимый для артиллерии овраг и по своим плечам перекатили орудия, причем сам Сидоров сорвавшимся вторым орудием был раздавлен.

Как умер егерь Гавриило,
Но память мы храним о нем.

И все, дружно вливаясь, подхватывали:

Лейб-гренадер удалой,
Ты люби свой полк родной
И для славы его не жалей ничего.

Неслась песнь, западая глубоко в душу, чтобы раз и навсегда покорить ее величием подвига, научить бескорыстной и беспредельной любви к Родине и к Полку, сложившему солдатскими талантами эти прекрасные песни, возвышающие душу своей отвлеченной красотой…

Мягко светит луна, озаряя полковой плац, памятник рядовому Сидорову и полковую церковь с хранящимися в ней знаменами…

Замирает на своем посту часовой, завидя приближающихся офицеров…

Тихо дремлет сосновый лес, распространяя свой тонкий упоительный аромат в горном ущелье над спящим Манглисом.

* * *

Несутся годы… В сосновом лесу у Паньской Нивы в Галиции раскинулся наш бивак…

Сзади… десять месяцев войны, десять месяцев напряжения всех физических и духовных сил, честно пройденный путь, отмеченный тысячами безвестных могил русских воинов, принявших смерть за Родину, гордое сознание исполненного долга… и клочки разрушенных надежд и несбывшихся мечтаний.

Впереди… — короткие перспективы: от боя — до боя.

Полк только что пропел вечернюю молитву и лес загомонил тысячами голосов. Зажглись костры; подъехали кухни и густо потянулся к небу дым бивачных костров и запах солдатского борща.

У палатки начальника команды разведчиков Прапорщика Богдана С., важное совещание заговорщиков.

Необычайное происшествие. Одновременно из Петербурга приехал оправившийся от ран Четыркин и привез заказанный по телеграфу, для командира второго батальона Георгиевский крест; а из Львова, от Ханши С., матери Богдана, прибыла двуколка с винами, закусками и шампанским. Идет лихорадочная подготовка к импровизированному торжеству — подношения Георгия бывшему командиру второго батальона. Медлить нельзя… ибо «потеря времени смерти безвозвратной подобна».

На передовой линии, что в пяти верстах впереди, мертвая тишина, но тишина зловещая. Обстановка напряженная. Два батальона вызваны на ночь на поддержку передовых частей и уходят. Штаб полка перебирается ближе к фронту, и командир на торжестве быть не может. Тем паче, медлить нельзя…

Завтра может в эту пору
Нас на ружьях понесут… —

вспоминается каждому, и все спешат на маленькую поляну среди леса, где при тусклом свете двух фонарей накрыт стол. Конструкция стола оригинальна: прямоугольник, величиной с крышку большого стола, окопан канавкой. В эту канавку садящиеся за стол опускают ноги. Прямоугольник уже накрыт скатертью и на нем стоит все, «что бог послал».

В этот день «бог послал» очень тонкие деликатесы и прекрасные вина, и изголодавшиеся по вкусным вещам гастрономы, опуская в канавку ноги, одновременно одобрительно крякают и потирают руки.

Все офицеры двух оставшихся батальонов налицо. Их только десять. Среди деревьев мелькает силуэт виновника торжества… Это худощавый, сотканный из одних костей и мускулов человек, среднего роста, голубоглазый, светлый блондин, с мягкими расплывчатыми чертами лица. В нем не трудно признать уроженца далекого севера — он финн.

— Господа офицеры! — раздается команда, и все вытягиваются и замирают. Замирают с внутренней дрожью готовых вырваться наружу восторженных чувств к любимому командиру.

— Вольно! — небрежно отмахиваясь, говорит командир,

спуская ногу в канаву и, ничего не подозревая, спрашивает: — Это по какому случаю такой парад? — Но увидя необычайную торжественность застывших поз и лиц, невольно останавливается и вытягивается сам.

— Господин полковник! — произнес старший офицер второго батальона таким торжественным тоном, что у хозяйственной двуколки, все денщики, повар и конюха, стоявшие в почтительном отдалении, невольно «берут под козырек», а повар, бывший без фуражки, приложил руку «к пустой голове».

— Господа офицеры второго батальона имеют высокую честь, в лице своего доблестного командира, приветствовать одного из тех полковых героев, имена которых заносятся на, не знающие смерти, страницы полковой истории, вместе с описанием содеянных ими подвигов. Эти страницы — полковая гордость. Мы помним, какой надеждой окрылили вы весь полк своей ночной атакой 6 декабря… Это вы возвратили утраченное нами сердце и тем заслужили общую признательность.

Георгиевская Кавалерская дума, признала в вас того, «кто не только обязанность свою исполнял во всем: по присяге, чести и долгу, но сверх сего ознаменовал себя в пользу и славу Российского оружия особенным отличием»… и присудила вам орден Св. великомученика и победоносца Георгия. Мы горячо просим Вас принять на память от ваших боевых соратников, офицеров второго батальона, этот крест, — мечту каждого Русского офицера.

— Ай какая молодца! какой поэт! — едва успел выговорить командир, как попал в очередные объятия…

— Ну, господа, за дело. Лови момент, — нарушил торжество минуты Четыркин.

— Телесная пища необходима для поддержания бодрости духа, — чревовещательным басом изрек произведенный за боевые отличия из подпрапорщиков — прапорщик Богач.

Зажурчало разливаемое вино. Наполнились бокалы. Галицийский лес встрепенулся, услыша как растроганный русский офицер сказал немногосложный тост за своего государя. Лес выслушал ответное ура живых Z-цев и, одобрительно зашуршав своими далекими верхушками, принялся слушать их полковую песнь:

Я пью за первый батальон,
В нем шеф державный занесен
В списки родные.

Я пью за батальон второй,

Велик он славой боевой…
И командиром.

Я пью за третий батальон,
Не отставал и он ни в чем
На поле брани.

Лучами славы озарен
Стоит четвертый батальон
На Ардагане.

Я пью за наших кунаков,
Н-цев молодцов Бегли-Ахмета.
Они умели славно жить,
Всегда отчаянно рубить
Врага без счета.

Уже много пробок шампанского с треском вылетело ввысь, когда чей-то денщик доложил:

— Так что ваше высокоблагородие, два молодых прапорщика изволили прибыть и просят разрешения явиться.

— Проси! Проси! — обрадовались все и навстречу прапорщикам направились два офицера.

Вот они, безусые юнцы, как прозвали их: два Аякса, в новенькой походной форме, со всеми ремнями и блестящими значками Алексеевского военного училища. Оба красавцы — высокого роста и совершенно не похожие друг на друга: типичный русский и типичный армянин.

— Ну, подсаживайтесь к нам, — задвигались все, — немного поздновато… да ничего, найдется чем накормить…

— Нас задержали в штабе дивизии, хотели послать в разные полки… насилу упросили.

— Мы вместе из одной гимназии, вместе кончили военное училище и хотели попасть в один полк…

— Правильное решение, — раздались сочувственные голоса.

— Стало быть, вы два Аякса… — Ну-ка там… Иван… подать господам офицерам закусить с дороги…

— Прапорщик Богач! — подзуживали его офицеры. — Скажите ваше слово молодым офицерам…

Прапорщик долго отнекивался, но доброе вино, плотная закуска и полная непринужденность обстановки располагали к душевному излиянию… Богач, вдруг, поднялся во весь свой огромный рост и гаркнул:

— Z-цы — Алаверды!

— Яхши-Ол! — не замедлил ответ… и все насторожились.

— Господа молодые офицеры, позвольте мне поздравить вас с прибытием в славный Z-ский полк. Добро пожаловать! и будьте покойны, вы никогда не пожалеете, что попали к нам. У нас, можно сказать, полк отборный, и воюем мы без отказу. И начальство нами довольно, и солдаты нас уважают. Оно и вам полезно будет кой чему здесь поучиться. Здесь у нас, вроде, как школа. Смотришь, приходит офицер и взять с него нечего, а поживет, походит и каким героем становится… хоть куда. К примеру сказать, посмотрите сюда, — указал он на офицеров, сидевших в голове стола, из которых двое были подполковниками, а остальные не старше поручиков.

— Такие же были, как вы, а уже кажный орденами увешан… геройский все народ…

Здесь красноречие Богача иссякло; наступила пауза… Не найдя нужных слов, он еще раз выразительно взглянул на прапорщиков и произнес вразумительно и нежно:

— Того и вам, господа молодые офицеры, желаю.

На утро начался бой. Весь день лес сотрясался от гула разрывов и стрельбы. Кругом все рокотало… Громадный кровавый диск солнца уже коснулся своими краями синевшего вдали леса, когда на поляну, где вчера царило веселье, вышли санитары с окровавленными носилками.

На носилках покоилось безжизненное тело одного из тех, кого Богач именовал геройскими офицерами…

— Перемени ногу-то! Янулис! тебе говорю, али нет? — бурчал санитар… За носилками шел денщик убитого — Иван, он нес в руках офицерское снаряжение и фуражку своего барина и горькие слезы катились из его глаз…

Мелькает картина за картиной, и все двенадцать лет проходят печальной вереницей.

Париж… Мадлен… Я вижу вновь так изменившиеся за эти годы родные лица… Седина серебрит головы когда-то беспечной молодежи…

Скромные пиджаки и рабочие блузы сменили блестящую форму и прикрыли израненные тела…

Серьезны лица офицеров… плотно сжаты их губы и залегли глубокие морщины на мужественных гордых челах и думают они крепкую думу, слушая речь своего командира…

Сильно поредели ряды Z-цев. Где только нет их могил?.. В Августовских лесах, у прозрачных Мазурских озер, у медленно несущих свои воды — рек Бзуры и Буга, у Сморгони и Вильно, в широких степях Поволжья и на полях Кубани…

Блестят глаза старого командира, держащего речь к сомкнувшим ряды Z-цам… — «с бодрым духом!» — как бы говорят они… И наполняется сердце радостным волнением…

Буйный ветер сотрясает мою мансарду, как бы желая отвлечь мое внимание и нарушить тихую торжественность охватившего меня душевного состояния. Напрасно. Я берусь за перо; и, во исполнение параграфа пятого, только что принятого устава, начинаю эту книгу.

Боевое крещение

Вечерело. Ожесточенный бой за обладание маленькой польской деревушкой затихал.

Первыми притихли злорадно тарахтевшие пулеметы, ибо заманчивые цели в виде ровных длинных цепей то в серых, то в черных шинелях, уже давно закопались в землю, не имея сил перешагнуть через заветную черту победы.

Победителей сегодня не было, и противники, равно уставшие и изнемогшие от нервного напряжения в бою, постепенно прекращали огонь, и водворявшаяся тишина нарушалась лишь одиночными выстрелами любителей пострелять, да немецкая артиллерия изредка посылала очереди куда-то вдаль. Ее снаряды, жутко журча высоко, высоко над головой, совсем далеко разрывались, — так не громко и мягко… Казалось, что немцы кому-то не дослали известной порции снарядов и теперь, подсчитываясь, все ошибались в расчете и досылали недоданное.

Под крутым откосом обрыва, спускавшегося к реке, приютилась рота резерва. Около наколенных ям и ниш копошились люди. Их силуэты тем ярче обрисовывались на фоне догорающей за рекой деревни, чем становилось темнее. Слышались негромкие сдержанные голоса и суета.

— Пятая рота, в ружье! — донеслось громко откуда-то слева, и десятки голосов на разные лады повторили: — Пятая в ружье, пятая собирайсь!

Перед глазами зарябили шныряющие фигуры, послышался лязг штыков, скользивших друг по другу при разборке винтовок из козел… застучали котелки, и отчетливо прозвучали голоса взводных: — Первый взвод ко мне! второй взвод стройся здесь!

— Ты, чертов турок, опять винтовку не найдешь… я тебе говорю, рожа, сказано, становись, пока карточка цела. — Из третьего и четвертого взводов доносились более энергические выражения… и не прошло и пяти минут, как все затихло, и только отдельные фигуры маячили вдоль длинной змееобразной линии роты, построившейся у обрыва, применительно к местным условиям — без соблюдения особенного равнения. Слева, откуда донеслась первая команда, вспыхнул карманный электрический фонарик, и яркий элипсис, появившийся на земле, стал приближаться к выстроившейся и замершей роте.

— Подпрапорщик Ковтун, у вас все готово? — прокричал молодой подпоручик, двигавшийся с электрическим фонариком.

— Точно так, ваше благородие! — пожалуйте сюда, не упадите только — здесь яма… Ишь, черти, накопали норы, —

буркнул себе в бороду, басом, старый подпрапорщик, фельдфебель Ковтун.

— Рота смирно! Равнение направо! — вполголоса, но достаточно внушительно и отчетливо скомандовал Ковтун.

— Стоять вольно! — подал команду подошедший молодой подпоручик и фонарик погас.

В этот же момент, там, откуда только что пришел подпоручик, вспыхнули два фонаря и два элипсиса, появившиеся на земле, рядом, мигая, сталкиваясь и перекрещиваясь, поползли к роте.

— Рота смирно! Равнение направо! — раздался голос подпоручика… и наступила мертвая тишина.

— Все в порядке? — произнес командир роты, высокий крупный капитан.

— Так точно, господин капитан, — снова послышался голос подпоручика.

— Господа офицеры, займите ваши места! На ремень! По отделениям, за мной, шагом марш! — скомандовал ротный, и на ходу добавил: — Курить нельзя.

Впереди всех шли проводники и ротный командир, а за ними, по отделениям, плотной угрюмой массой, вся рота — двести сорок человек.

— Будет, что ль, наступление на немца? — с затаенной тревогой вопросил чей-то голос, обращаясь к молодому подпоручику, шагавшему на фланге третьего взвода.

— Нет. Мы идем на смену первому батальону.

— А вы знаете, ваше благородие, проводники сказывали, что от первого нашего батальона и половины не осталось. Их высокоблагородие капитан Головкин убит, командиры третьей и четвертой роты ранены, двух подпрапорщиков третьей роты убило, и одного моего земляка из Александровского убило. А сколько простых — и не счесть, как мухи лежат побитые.

— Какие тебе мухи, — послышались протестующие голоса, — хороши мухи! — Нешто мухи люди живые?

— Живые!? — подхватил третий.

— Были живые, — да померли.

— «Погибли во славу русского оружия» — буркнул вмешавшийся взводный.

— Ребята! — послышался голос ротного, остановившегося, чтобы пропустить роту.

— Как немец наведет прожектор, — падай и не шевелись! Понятно?!

— Так точно, понятно, — загудели голоса.

На косогоре появилась головная часть роты, едва

различаемая при слабом отблеске догоравшей впереди деревни.

— Вот он, немец, прожектор наводит! — невольно воскликнуло сразу несколько человек, из первых поднявшихся на бугор.

— Ишь как быстро ворочает!

…И восклицания эти замерли, так как громадной силы луч стал приближаться к тому месту, где показалась рота… Луч мигнул раз, другой и разом осветил всю роту, только что вылезшую на бугор.

…Что-то крякнуло, зашуршало;… звякнули котелки… и рота пала ниц, — как один человек.

Луч прожектора остановился и начал мигать. Наступило гробовое молчание… Молодой подпоручик осторожно повернул голову, чтобы посмотреть, что делается вокруг.

Его взору представились белые, искаженные страхом лица, частью глядевшие в сторону от нестерпимо ослепляющего света, или уткнутые в землю.

— Бах, — бах, бах!.. — громыхнули выстрелы и на горизонте мигнули зарницы их взблестков.

Четыре снаряда с визгом пронеслись над головами и разорвались где-то за рекой. Еще мгновение… и луч пополз дальше.

— Кажись, это не по нас вдарил немец, — сказал кто-то очнувшись.

— Это он спросоня, дескать, и вы, мол, не спите, — сказал кто-то другой.

— Вперед! — послышалась команда… и шуршащая масса людей опять двинулась вперед.

— А далече нам идти сменять-то? — бросил кто-то в пространство… но никто ничего не ответил.

— Ваше благородие, глядите, наши лежат побитые. Подобрать бы их, да куда понесешь, когда сам не знаешь, куда себя схоронить.

Ветер донес теплый запах гари Рота спускалась по отлогому скату к догоравшим остаткам деревни. Внезапно засветившийся прожектор озарил своим ослепительным лучом роту… и повалил ее на землю.

Раз, два, три, четыре, — громыхнули разрывы шрапнелей…

Едкий запах пороха защекотал в ноздрях и жалобные, полные отчаяния голоса завопили:

— Санитар! ой, санитар!.. ой-ой санитар… сюда… ой-ой санитар… скорей… не могу…

— Рота вперед! — решительно скомандовал ротный…

— Санитар!.. — жалобно прозвучало позади…

— Тише — тише! — прошло по рядам…

— Немец близко…

Впереди подпоручика кто-то споткнулся и мягко шлепнулся в грязь.

— У, ты, слепой дьявол; падаешь, так штык убери… воронки цельной не видишь…. — прошипел взводный, помогая выкарабкаться попавшему в яму.

— Рота стой! — послышалась, наконец, команда.

— Какая рота? пятая? Это ты Арсен? — послышался голос из темноты.

— Я, — ответил знакомый голос ротного.

— Пройдем ко мне в подвал, я расскажу тебе все, что нужно… — вновь донеслось из темноты.

— Ваше благородие, поглядите, немцы побитые лежат в касках все… прямо замечательно… видно жаркое дело было… — слышались удивленные возгласы…

Из окопов, начинавшихся у самой деревни и расходившихся перпендикулярно к дороге в обе стороны, двигались люди с носилками и, тяжело ступая по пахотному, разбухшему от осенних дождей полю, еле передвигали ноги.

— Командир второй полуроты! — раздался голос ротного. — Смените третью и взвод четвертой роты, что вправо от дороги.

— Слушаюсь! — отозвался подпоручик и двинулся с полуротой по указанному проводниками направлению.

— Ну, и темь же сегодня, хоть бы немец посветил чуточку, покамест сменяться будем, — сказал шутливый молодой солдат.

— Ты поскули, поскули, так он тебе засветит, — всю жисть с фонарем ходить будешь, — немедленно отозвался другой голос.

— Кто идет? Какая рота? — вновь раздались оклики… и только теперь стало возможно разглядеть солдат, сидевших по ямам, — по пояс глубиной.

— Вы кто будете, смена нам? — спрашивали сидевшие.

— Смена, смена, — отвечали пришедшие.

— Ну, боевая третья, вылезай! — послышались радостные возгласы.

— С нас будет, а вы, братцы, тут за нас побудьте, — говорили вылезавшие и начинавшие выстраиваться.

— А что, немец близко? — вполголоса, как бы с опаской, спрашивали сменяющие.

— Близко… Завтра увидите, — слышались иронические ответы…

Не прошло и пяти минут, как заскользивший и заплямкавший по грязи топот сотен ног возвестил, что смена закончена, и 5-я рота стала лицом к лицу к загадочному и суровому врагу.

— Подпрапорщик Ковтун! — вполголоса обратился к Ковтуну подпоручик.

— Обстановка такова: ни справа ни слева — своих нет. Мы сменили 1-й батальон, который во время сегодняшнего наступления опередил своих соседей. Нам приказано держаться здесь во что бы то ни стало.

— Так точно, — убежденно вставил Ковтун.

— Нужно сейчас выслать секреты и хорошо было бы вправо выделить полевой караул, — отдавал свои первые боевые распоряжения молодой подпоручик.

— Не извольте беспокоиться, все уже выставлено; я вот только управлюсь, пойду на них погляжу и обязанности поспрошу-с. Вы, ваше благородие, не извольте беспокоиться; солдаты все надежные, сами вызываются в секрет. «Хотим, — говорят, видеть германца». — Вам, ваше благородие, я приказал принести соломы в блиндаж. Блиндаж, правда, один смех — всего ставней накрыт… да как-нибудь до утра досидите, а там Бог даст вперед… а нет, так прикажу сделать по наставлению.

— Спасибо, дорогой, — ласково, и совсем не по-начальнически, ответил подпоручик.

— Спать я не буду, меня всегда можно будет найти здесь. Наш ротный будет находиться в деревне, а первая полурота с подпоручиком Богдановым — в окопах по другую сторону деревни.

— Так точно, все понятно, — одобрительно заявил Ковтун.

«Вот она и война», — отходя от Ковтуна, произнес про себя подпоручик, вглядываясь в ночную темноту.

— Неужели будет опять дождь? Вот будет скверно… — рассуждал сам с собой подпоручик. Он медленно, как бы в раздумьи, поднял руку, вытянул кисть из-под обшлага и посмотрел на часы со светящимися стрелками…

— Только одиннадцать!.. до рассвета еще далеко. — Откуда-то из ближайшей ямы уже раздавался храп.

— Неужели здесь, под дождем, в сырости, под открытым небом, можно спать? — задал себе вопрос подпоручик. — Мне кажется, я б не заснул.

Обойдя роту и найдя все в порядке, подпоручик тихо спустился к себе в нору, чтобы укрыться от ветра.

— Ты будешь есть концерты? А то я открою, — спрашивал один солдат другого через час после смены.

— Эх бы картошки сварить, вот было бы дело! Я сбегаю пошукаю по халупам, наверное чтось осталось…

— Не сметь оставлять роты! Я тебе пошукаю, — грозно произнес подпоручик, невольно подслушавший разговор,

высовываясь из норы.

— Ты соображаешь, — продолжал он, — что если вся рота, так же, как ты, пойдет по деревне шукать картошку, то немцы заберут нас голыми руками. — Голоса притихли… и только мерное похрапывание ближайших людей нарушало установившуюся ночную тишину.

— Ну, кажется, и я заснул, — дрожа мелкой дрожью и вытягиваясь, произнес очнувшийся подпоручик.

— У-у-у-у-а-х! как сыро. Какая мерзость эта осенняя слякоть и этот дождь сквозь сито. Слава Богу, скоро светает. Нужно посмотреть, что с ротой.

Рота спала. Бодрствовали только часовые, секреты и дозоры. Моросило… и пронизывающий ветер проникал чуть не до костей… Но вот сумрак ночи начал проясняться. Сначала из тумана обозначилась линия наших одиночных окопов, затем стали вырисовываться контуры сгоревшей деревни. Это были жиденькие, безлиственные деревья, целая вереница дымовыходных труб и 6–7 чудом уцелевших халуп. Дальше выяснилось, что позиция роты совершенно изолирована и как бы в нерешительности остановилась почти у самого конца пологого ската, спускающегося к широкой лощине.

Вот туман рассеялся настолько, что стало видно и немецкое расположение. Этого, по-видимому, ждал наш подпоручик, который, высунувшись из своей норы, старался рассмотреть в бинокль немецкое расположение.

Теперь стало возможным рассмотреть и его облик. Это был высокий, стройный, худощавый, но мускулистый юноша 20–22 лет, не имевший в лице своем ничего замечательного: оно не было красивым и не было безобразным; в нем не отражались какие-либо сильные страсти. Карие глаза смотрели спокойно, не выдавая волнения от несомненного интереса к впервые обнаруженному противнику. Движения все были неторопливы, уверенны, но без всякой претензии на позировку. Одет он был по форме: в серую солдатскую шинель с погонами, на которых красовались две звездочки и кованный вензель царствовавшего государя.

Погоны даже теперь, в столь незаурядной обстановке, составляли предмет его особого внимания, так как он только что достал платок и тщательно вытер вензель левого погона, к которому прилип комок обвалившейся земли. На нем было офицерское снаряжение: пояс с наплечными ремнями, шашка, револьвер, большая полевая сумка, расстегнутый уже футляр бинокля… и великолепный «Цейс», висевший на ремешке через шею.

Остается добавить, что на голове у него молодцевато сидела защитного цвета фуражка с офицерской кокардой и опущенным на подбородок ремешком, а ноги были обуты в сапоги из черной кожи, доходившие ему чуть выше колен, чтобы получилось довольно типичное изображение одного из тех молодых русских офицеров, которые тысячами стояли в это холодное сентябрьское утро на всей необъятной границе Российской империи, обозначавшейся сейчас не географическими и этнографическими рубежами, а доблестью армии, ее духом, дисциплиной, выучкой и прочими неотъемлемыми качествами, которыми так сильна была в то время Россия, имевшая впереди, на защите своих границ и чести — все здоровое, честное и мужественное.

Подпоручик увидел фигуры в черных шинелях, повылезавшие из немецких окопов, что были не дальше 400 шагов. Фигуры эти стояли, потягиваясь, куда-то уходили и неторопливо снова возвращались.

Наши также понемногу начали вылезать из своих нор и глазеть на немцев…

— Ваше благородие, разрешите открыть огонь, — заявил подпрапорщик Ковтун, вынырнувший как из-под земли. — Война так война. Прицел тут самый «постоянный», — Янулис наш, сами знаете, ваше благородие, какой он стрелок, и тот не промажет, а для германца все же потеря.

«Да, собственно, следовало бы», — подумал подпоручик, убежденный логичностью доводов своего подпрапорщика, и вместо ответа скомандовал:

— Не вылезать из окопов! Приготовиться!

Как лягушки попрыгали в окопы открыто стоявшие наверху люди, как ужаленные вскочили еще спавшие, и целая сотня голов вдруг высунулась из ям… Защелкали затворы… и наступила грозная тишина.

— По противнику!.. Постоянный!.. Полурота!.. Часто!.. Начинай!!. — отчетливо скомандовал подпоручик и поднес к глазам цейссовский бинокль.

Еще не замер последний звук команды, как кто-то уже успел спустить курок… и нелепое и резкое «тах!» нарушило тишину начинающегося дня.

Не успел каждый выпустить по одной пуле, как и с немецкой стороны застучали выстрелы, не слышно стало вдруг своего собственного голоса… и поле совершенно обезлюдело.

Перестрелка начинала разгораться.

Не взирая на то, что ничего и никого, казалось, не было видно, сразу же справа передали:

— Ваше благородие, Карпенку ранило — кончается… в

голову попали, черти.

Два немца с котелками в руках появились вдруг за своим окопом, спеша укрыться в нем с приготовленной едой… но два метких выстрела с нашей стороны уложили их на месте.

Но вот в дело вмешалась немецкая артиллерия. Десятки гранат с гнетущим скрежетом и ужасным воем стали рваться то тут, то там, вздымая фонтаны земли и грязи, а пронзительно свистящая шрапнель тысячами пуль засыпать сверху.

Солдаты как-то сразу съежились и присмирели.

— Ваше благородие, а где же наша антилерия? Чего она не стреляет? Глядите! Немцы повылезали. Они нас не боятся, а мы им ничего не можем сделать… — жаловались ближайшие соседи слева и справа.

Положение роты становилось критическим. Люди свернулись клубками в своих ямках, затаив дыхание… Над ними рвалась шрапнель, не давая возможности высунуть головы.

— Смотрите, братцы, чтобы немец не бросился в атаку! Держи винтовки наготове! Всем зарядить винтовки!.. — наставлял подпоручик, и видно было, что приказание это всеми понято и исполнено.

Моросивший дождь обратился в мелкую, холодную крупу, и временами поле начинало даже белеть… но крупа переходила снова в дождь, и все опять окутывалось серой, промозглой сыростью поздней сентябрьской осени.

— Ваше благородие, разрешите я сбегаю к ротному, доложу, чтобы передали батарейцам, чтобы они нас поддержали, — обратился к подпоручику рядовой Зубков.

— А то, глядите, — он указал рукой, — кого-то из 4-го взвода из окопа выкинуло… Вон лежит. Этак нас всех перебьют.

— Санитар! санитар! — раздались вдруг тревожные крики из 3-го взвода… — Санитар!

Видно было, как санитар на корточках подполз к кричавшему, но вдруг тяжело рухнул и замер.

— Ваше благородие, я сбегаю доложу, — напомнил о себе Зубков.

— Ну, Бог с тобой, иди! — ответил подпоручик, ободряюще кивнув головой.

Зубков, вызвавшийся оповестить артиллерию, снял фуражку, набожно перекрестился и, торопливо кинув: Прощайте, ваше благородие, — выскочил из своей ямки и опрометью бросился бежать по направлению к деревне.

Вдруг он как бы споткнулся, нелепо взмахнул руками и упал в свежую воронку от гранаты.

У подпоручика, видевшего эту картину, захолонуло сердце, и

он тотчас же увидел, как к воронке, из которой торчали ноги упавшего Зубкова, ползет его отделенный Козлов. Козлов скрылся в воронке и через минуту высунул оттуда голову…

— Скончался, — передал он роте, снимая фуражку и творя крестное знамение.

Маленькие струйки дождя то и дело скатывались со ставни, служившей подпоручику «блиндажом», на стены, то попадали на шинель, на солому, подосланную подпрапорщиком Ковтуном, а мелкие брызги, как назойливые мухи, попадали в лицо, стряхивались, попадали вновь и, наконец, вытирались носовым платком.

«Это не война, — думал подпоручик. — Чего нас держат здесь без всякой пользы: ни вперед, ни назад, ни высунуться, ни повернуться… Не вырыть ли сплошной окоп? Тогда можно будет хоть сообщаться, — все-таки легче станет… Нужно сделать настоящий окоп…»

С этими мыслями он приподнялся и зацепил головой полотнище палатки, наброшенное поверх ставни. Собравшаяся в складках полотнища вода, неожиданно вдруг вылилась ему на затылок и тем самым косвенно повлияла на уже принятое решение.

«Где в такой грязи копаться, — мучить людей, — подумал он. — Разве прокопаешь почти полверсты нашими шанцевыми малыми лопатами? Конечно, не стоит. Сизифова работа. Ну ее к черту! Потерпим и так; да и не будем же мы тут стоять целую вечность…»

— Шли часы, а положение не менялось. Немцы поддерживали огонь, рота притаилась, сумрачно молчала и с каждым часом все больше и больше теряла веру в свои силы. Уже не слышались больше шутки и разговоры… Кто сосредоточенно затягивался цигаркой, кто бессмысленно жевал корку черствого хлеба… и никто уже не высовывался, чтобы пострелять…

Происходила незримая «сдача инициативы», — тот психологический перелом, который решает исход сражения в тех случаях, когда одна из сторон еще дерзает.

Это ясно понимал молодой подпоручик, но он чувствовал себя бессильным, маленьким и жалким.

«Хоть бы скорее ночь, а с нею покой, конец этой ужасной стрельбе и этому томительному ожиданию ежеминутной смерти… а там наверно придет и смена… Ведь нельзя же вторые сутки провести в такой обстановке…» — вот о чем думал он.

Стемнело. Дождь все моросил и как бы гасил всякие надежды.

Смена не пришла.

Несколько нестроевых притащили на плечах в мешках немного хлеба и сахара. Они же объявили, что кухни не подойдут — обоза нет.

Наступила желанная ночь, вторая ночь… еще более нудная и бесконечная.

В яме сидеть уже было хуже, чем ходить по верху… а в сущности и то и другое было одинаково незавидно…

«Когда же окончится эта ночь?» — слагалось в голове подпоручика.

— Ваше благородие, разрешите мне сбегать в халупу погреться, у меня худые сапоги, — совсем озяб, хоть портянки высушу, — умоляюще обратился подошедший рядовой из запасных… — Дозвольте?!

— Иди, только возвращайся поскорей.

— Покорнейше благодарю! — произнес проситель и скрылся в ночной темноте.

В этот же момент донесся плямкающий звук шагов, приближающийся с немецкой стороны.

Подпоручик насторожился и отстегнул крышку кобуры.

— Кто идет?! — раздался оклик.

— Свои. Пленных ведем. Это мы — Сазонов и Голицын, — раздались голоса с ясно сквозившими радостными, горделивыми нотками.

Трофей окружили любопытные солдаты.

— По местам!.. По местам!.. — приказал подпоручик.

— А вы, — обратился он к Голицыну и Сазонову, — отведите пленных к ротному, а потом с ними же прогуляйтесь в штаб полка, — и, подумав, прибавил:

— В награду — три часа на обсушку.

— Покорнейше благодарим, ваше благородие! — радостно воскликнули оба, ибо обсушиться и попить чайку теперь было мечтою каждого.

— Позвать ко мне подпрапорщика! — приказал подпоручик.

— Господин подпрапорщик, вас требует полуротный!.. — ушло в темноту… И через минуту подпрапорщик Ковтун уже стоял перед подпоручиком в почтительной позе, поправляя съехавшую на живот кобуру.

— Чего изволите, ваше благородие? — участливо вопросил Ковтун.

— Я пройду на минутку к ротному, а вы останьтесь здесь за меня и присмотрите.

— Слушаюсь! Не извольте беспокоиться, — прозвучал знакомый бас.

* * *

Ротный командир встретил подпоручика сурово.

— Вы почему оставили своих людей? — грозно спросил он, подавая руку.

— У вас, наверно, есть какие-нибудь серьезные причины?

— Никак нет, господин капитан, — смущенно ответил подпоручик.

— Я пришел узнать, когда будет нам смена: люди совсем перемерзли и промокли — все дрожат.

— Смена придет своевременно. Вам нечего об этом беспокоиться.

— А неизвестно, долго ли мы будем здесь стоять? — как-то машинально спросил подпоручик, а сам подумал: «Чего я задал такой глупый вопрос?»

— Чего вы меня об этом спрашиваете? Стоять мы будем здесь ровно столько, сколько нужно, ни одной минутой больше, ни одной минутой меньше. Больше у вас нет никаких вопросов?

— Никак нет.

— Тогда до свиданья. Потрудитесь не оставлять полуроту без приказания. Вы подаете дурной пример вашим подчиненным…

* * *

Наступил и прошел третий день и третья ночь так, как обыкновенно в сводках отмечалось: «Без перемен».

Подошла и четвертая ночь, — четвертая ужасная ночь. Дождь лил как из ведра. Окопчики по щиколотку наполнились водой. Солдаты то и дело черпали воду и жидкую грязь котелками и плескали ее за бруствер.

Этими звуками расплескиваемой воды, стуком котелков и мерным падением дождя и нарушалась ночная тишина.

Днем опять был обстрел. Двух убило, семерых ранило. Убитые лежали в грязи и мокли. Раненых унесли.

Подпоручик сидел в своей яме молчаливо.

Угрюмые мысли давили его мозг и доводили его до отчаяния.

«Какой ужас эта война, — думалось ему. — И зачем я пошел на военную службу? Почему она меня так привлекала и даже эта самая война казалась такой заманчивой и интересной? А если бы я не был военным — тогда?

Тогда бы мне тоже пришлось быть на войне и в таком же положении», — невольно приходил ответ.

«Но почему же мы сидим здесь и мокнем, как губки, и

безнаказанно расстреливаемся? — вставал другой вопрос. — Как это хорошо выходило у Румянцева, Суворова и Паскевича… Они ходили, разбивали, брали в плен… торжествовали. А мы… сидим. А главное, мы сидим, а нас расстреливают.

Но ведь известно, что и Румянцеву, и Суворову и другим приходилось быть и под таким дождем и в такой слякоти… На Альпах тоже ведь было холодно и, наверно даже куда тяжелее, а все пройдено и пройдено со славой. Вот эти проклятые немцы — им хорошо! Как их поддерживает артиллерия — в обиду не дает никак. К ним не подойти.

Сколько наложили они из нашего 1-го батальона, — страшно подумать… Почему же они тогда сидят? Вот это, действительно, непонятно. Будь мы в таком положении, как они, мы бы их загнали за границу в один прием… А ведь и они выплескивают воду так же, как и мы, — я сам вчера видел…

И прав Великий Суворов, учивший солдат, говоря: „Если нам тяжело, то и неприятелю не легче“…»

Этот афоризм подействовал на подпоручика успокаивающе и он даже улыбнулся.

Прошло еще два часа. Навязчивые мысли стали возвращаться еще более дерзкими, еще более настойчивыми. На нервы действовали, почему-то особенно, намокшие колени брюк. Шинель уже давно намокла и набухла так сильно, что стесняла дыхание… Хотелось встать и бежать… бежать обсушиться, хотелось заснуть… хотелось покоя…

«Хотя бы ранило меня, вот было бы счастье: лазарет, тепло, чистое белье, вкусная пища, почет… и жизнь со всеми ее прелестями…»

И тут же приходило в голову само собой: «Какой же я подлец. Что было бы, если все думали так и старались уйти? Кто бы воевал?.. Кто обязан подавать пример? Мы, кадровые офицеры… это наша профессия… Государство нас даром учило… нам платило жалованье… мы приняли присягу… Наконец, я служу в полку, в котором предки мои совершали легендарные подвиги, не считаясь ни с погодой, ни с временем, ни с численностью врага… они были герои духа и долга… Нет, — лучше не думать».

Часы тянулись мучительно медленно. До рассвета оставалось два часа.

Сидеть стало невыносимо. Хотелось встать, но ноги затекли и ныли: «Слава Богу, кажется ревматизм… это предлог… я больше не могу… пойду доложу ротному, что заболел…»

И вдруг пот выступил у него на лбу…

«Ревматизм?!. Болеть в такое время?.. Вы опять оставили свое место? — скажет ротный командир, а, может быть, добавит: — Вы

позорите полк, уходите, — такие офицеры нам не нужны…» Где же выход?

— Ваше благородие, хотите сахару с хлебом? — прозвучал бас Ковтуна. — Вы, сказывают, ничего не ели. Тут у меня завалялось яичко, — сказал он, просовывая все в дыру.

— Спасибо, дорогой, мне не хочется, — ответил подпоручик, мягко отстраняя руку.

— Ваше благородие, вы ешьте, все же легче на душе будет. Я положу все сюда, — сказал он, укладывая что-то под ставню… и опять наступила тишина.

«Нет! Довольно! Прочь все мысли!

Нужно терпеть, нужно взять себя в руки. Почему Ковтун ни на что не жаловался, почему он всегда такой ровный и вечно бодрый?.. Потому, что он военный, а я нет.

Боже! Укрепи мою волю, дай мне сил перенести испытание! Спаси меня от позора и бесчестия!..» — С этими словами, вырвавшейся молитвы подпоручик встретил рассвет.

— Ваше благородие, немцы!!! Глядите! Глядите!.. — Из немецких окопов вылезали фигуры в черных шинелях и быстро выстраивались.

— Ну, ребята, приготовсь! — скомандовал мгновенно овладевший собой подпоручик, и глаза его засветились непоколебимой решимостью.

— Ваше благородие, гляди, какая масса прет! — воскликнул Сазонов.

… — Постоянный!.. Часто — начинай!!! — скомандовал подпоручик.

Порывисто шли немцы. Артиллерия наша почему-то не стреляла. Пулемета при роте не было, и приходилось рассчитывать только на свои собственные силы.

…Лихорадочно работали затворы. Сотнями вылетали стрелянные гильзы… а немцы шли твердо и ровно… даже не видно было, несли ли они потери. Их было так много, что казалось, что рота будет стерта с лица земли.

Рота развила максимальный огонь. Затрещало и справа и слева, забухала артиллерия и все слилось в сплошной гул.

Вдруг немцы бросились в атаку…

— Ребята, не робей! — донесся могучий голос Ковтуна.

— Не робей, ребята! — громко прокричал подпоручик, с мрачной решимостью извлекая шашку.

Тут только он заметил, как рухнули сразу четыре впереди бежавших немца.

— Наша берет! — воскликнул он.

— Наша, наша берет!.. — прокатилось по цепи. Один за

другим падали немцы. Ряды их разорвались… Кто бежал назад, кто беспомощно лежал в грязи…

…Атака была отбита…

«Если нам тяжело, то и неприятелю не легче»… — еще раз вспомнились слова великого Суворова и подпоручик гордо стоял по щиколотку в воде, мокрый и голодный, но упоенный всепоглощающей победой…

А через час по цепи радостно пролетело:

— Вечером придет смена!

«Молекулярная» работа

…Лучшие идеи и распоряжения обращаются в ничто, если в армии отсутствует «молекулярный» героизм…

Ген. Н. Н. Головин

На опушке большого мрачного леса кипела лихорадочная работа. Тысячи лопат, как когти громадного чудовища, врывались в землю все глубже и глубже, впиваясь в корни недоумевающих сосен; и начинало казаться, — нет уже силы, которая могла бы оторвать это чудовище, зацепившееся за опушку, иначе, как не вывернув весь лес…

Это закреплял за собой только что взятую у немцев позицию славный Z-ский полк.

Если на опушке леса кипела жизнь, или, вернее, шла борьба за ее сохранение, то в глубине его царили смерть и страдания.

Здесь тоже кипела работа: санитары с фонарями и носилками, усиленные частями резерва, отыскивали и выносили раненых и складывали рядами убитых. Количество первых с каждой минутой все уменьшалось, зато количество вторых все возрастало.

Убитые лежали длинными шеренгами, ожидая, когда будет готова для них братская могила, в этом неожиданном для них месте последнего упокоения… А из леса, со всех сторон, их все несут и несут горбатые силуэты солдат, сгибающиеся под тяжестью несомых ими тел, у которых так жалко и беспомощно висят безжизненные руки…

Но не будем задерживаться в этом печальном месте… Здесь слышны стоны раненых… Здесь слышны циничные разговоры санитаров, спорящих о сапогах и шинелях у не остывших еще тел… Здесь снимают с убитых кошельки, кольца, часы и разные ценные вещи. Здесь тяжело…

Подойдем к опушке и посмотрим, что делается там с людьми, вышедшими живыми из этого кошмарного боя и ждущими нового, к которому они так лихорадочно готовятся.

На опушке светло, как днем. Луна полным своим и равнодушным ко всему ликом смотрит с высоты безоблачного прозрачного неба на редкую картину…

— Пройдем туда… там все-таки светлее… и дышится как-то легче…

Сегодняшняя победа Z-цев была не из тех, сюжеты которых, обыкновенно, вдохновляют батальных живописцев: в ней не было красок и захватывающих моментов борьбы — за знамя, за орудие… Не видно и трубача, стоящего рядом со знаменщиком, водрузившим победное знамя, на взятом неприятельском укреплении, видимом со всех концов поля битвы. У Z-цев не было даже того ощущения, которое бывает, обыкновенно, у победителей — днем, когда им удалось уже дойти и переступить через какую-то невидимую черту поля, после чего ружья противника перестают стрелять, или стреляют вразброд, не нанося поражений… Когда руки пехоты поднимаются невидимыми магнитами кверху… и отливает кровь от лиц… Когда на батареях подаются передки… и когда безлюдное поле, только что стонавшее и содрогавшееся от гула разрывов и стрельбы — вдруг затихает и покрывается бегущими людьми.

Они не испытали сегодня того захватывающего чувства, которое является следствием перечисленных слагаемых, и называется торжеством победителя, они не пережили сегодня этого сладкого, окрыляющего чувства… Этого всего сегодня не было.

Было что-то другое… Не такое яркое и захватывающее, не такое осязательное, но не менее значительное, а именно: ошеломленный противник, торжествовавший уже свою победу, как-то рассеялся по лесу, и, если бы не лежавшие повсюду его тела и снаряжение, можно было думать, что он испарился…

«Девятый вал» не разрушил русской плотины… В ближайшем тыловом городе, у самого лучшего его здания, солдаты штаба корпуса торопливо снимали с грузовиков и легковых автомобилей ящики, сундуки и вещи и водворяли их на прежние места… пришедшие в себя чины штаба приступали к обычной работе… корпусный командир и начальник его штаба вновь получили возможность склониться над картой, и на том месте, где значился «Мрачный лес», в котором закреплялись Z-цы, — водрузить соответствующий флажок… интенданты вовремя задержали солдат, лезших с бидонами керосина на горы мешков с сахаром, мукой и разным казенным имуществом, осужденным на гибель… по проводам неслись телеграммы… и на утро обыватель, разворачивая свежий номер газеты, с разочарованием читал сообщение штаба Верховного главнокомандующего (всего лишь), гласящее:

«Противник, обрушившийся большими силами на наши позиции у „Мрачного леса“, имел временный успех. Подошедшими резервами положение восстановлено. На прочих фронтах без перемен».

…И только много лет спустя суровый и беспристрастный историк, окруженный папками с документами и книгами на нескольких языках… мог записать о деле Z-цев в лежащий перед ним лист белой бумаги — «золотые» слова: «…Прорыв частей нашей *** дивизии у „Мрачного леса“ поставил части N-го корпуса в тяжелое положение, грозившее неисчислимыми последствиями левому флангу такой-то армии. Вызванный из резерва Z-ий пехотный полк стремительной атакой смял противника и спас положение»…

* * *

Вот и спасители положения.

Подпрапорщик фельдфебель Шапка озабочен. Большие потери. Обстановка не понятна, и возможность контратаки противника не исключена. Ему поручен левофланговый участок его роты. Он медленно идет вдоль окапывающейся цепи, слева направо, подмечая опытным взглядом решительно все… дает указания, наводит порядок, и на ходу творит суд и расправу:

— Это ты что же, Пинчук? Где это ты себе позицию строишь? — остановился он перед ямой, в которой рылся какой-то солдат, ушедший по пояс в землю.

— Ты бы, вон еще, пошел бы в лес; там бы тебе еще удобнее было, никто бы тебя и не нашел, — иронизировал Шапка.

— Это кто это тебя учил, «турка», так окопы, в затылок друг дружке строить? Куда это ты стрелять собрался?.. Самойленке в… что ли? Я тебя спрашиваю, али нет? Чего ты стоишь, как идол каменный? Вылазь-ка, брат!.. Чемойдан немецкий, он тебя везде сыщет; не прячься друг, за чужие спины… Подь на место… — сказал он почти что нежно, умиротворяюще и «родительский» кулак тяжело, но без злобы, опустился на шею Пинчука.

Ухищрения Пинчука лопнули, как мыльный пузырь. Он принужден был с удвоенной энергией врываться в землю рядом с Самойленко, оказавшись на открытом месте, где частенько пролетали пули, с оглушительным треском впивавшиеся в близ стоящие сосны.

— Ты, брат, рано спать завалился, — остановился Шапка у новой ямки, на дне которой прикурнула серая фигура.

— Ну, ты! соня! — спокойно и деловито говорил Шапка, балансируя на левой ноге и расталкивая носком правой спящего, и видя, что тот не шевелится, спускается к нему сам…

— Господи, Твоя воля! — произносит он через несколько секунд, устремляя глаза к небу, снимая фуражку и творя крестное

знамение…

И луна мягко освещает своими холодными лучами его обстриженную бобриком голову, приятное, широкое русское лицо с расчесанной надвое бородой и отражается двумя крохотными блестящими точками в его добрых карих глазах.

Серая фигура, младший унтер-офицер Колпаков был мертв. Пуля угодила ему в глаз и минуту спустя, когда Колпакова отнесли в глубь леса, на дне его ямки сиротливо осталась лежать его фуражка у большого темного сгустка крови…

* * *

— Подпрапорщик Шапка! Пожалуйста, осмотрите у вас, на левом фланге, винтовки. Я сейчас перепробовал тут пять-шесть винтовок — ни одна не стреляет… все позабивали песком, «черти». Пусть протрут затворы, — произнес командир роты поручик Буров, обходивший роту так же, как подпрапорщик Шапка, только справа налево.

— Ты прости меня, Коля, что я тебя задержал, теперь я в полном твоем распоряжении, — обратился Буров к стоявшему подле него командиру следующей по номеру роты его батальона, ожидавшему с нетерпением конца разговора Бурова с подпрапорщиком Шапкой.

— Что скажешь, Коля? — говорил Буров, беря под руку поручика Зверева и уводя его вглубь леса.

— Вот что, — начал Зверев. — Я пришел к тебе посоветоваться, как поступить в одном очень щекотливом и неприятном случае. Я, как тебе известно, стою в батальонном резерве, как раз за промежутком между твоей и Мишиной ротой. Полчаса тому назад приходит ко мне подпрапорщик Кисель и, неловко заминаясь, отзывает меня в сторону. Оказывается, что же! Наш Миша «пончик» — сдал, нервы его расшалились, и он сидит у себя в роте, дрожит, как осиновый лист, и потерял совсем голову.

— Вот чертов «пончик», — невольно вырвалось у Бурова. — Это же скандал! Позор! А кроме того, это малодушие может очень печально кончиться и для него, а главное, для полка.

— Я, брат, того же мнения; потому-то я и пришел к тебе, — упавшим голосом произнес Зверев. — Главное, если будет контратака, за его роту нельзя будет поручиться. Наши солдаты без офицера — это нуль, толпа, — величина отрицательная.

— Да, без няньки они обойтись не могут, — согласился Буров. — Нужно как-то сделать, чтобы и Мише не повредить, ведь

он славный, «пончик», и выйти из глупого и опасного положения.

— Я уже думал, — продолжал Зверев, — сменить его роту своей, но сам понимаешь, без Генриха Антоновича, нашего батальонера, этого сделать нельзя, а объяснять ему, в чем дело, никак не хочется.

— Послушай, — подумав, предложил Буров. — Пойди ты к нему и посиди с ним до утра, может быть к утру он «отойдет», да и утром будет не так страшно, в случае чего. Страшно сейчас, пока мы находимся под свежим впечатлением боя… Неопределенность положения, безусловно, гнетет… я, например, чувствую себя в положении путешественника, который едет куда-то, в сильно притягивающее его место, но ему предстоят еще какие-то пересадки. Он высадился на станции и ждет на сложенных на перроне вещах поезда, который вот-вот должен подойти, а когда, подойдет, — точно неизвестно. Этим сильно притягивающим каждого из нас местом является потребность отдыха взбудораженной нервной системе. Мы с тобой справляемся с собой и своими нервами удовлетворительно, или даже хорошо, а Мише это не удается. Нужно ему помочь. Я уверен, что он сумеет взять себя в руки. Он прекрасный офицер по своим убеждениям и взглядам.

— Да, ты, кажется, прав; единственно правильный выход, — это пойти к нему и посидеть с ним до утра. Если же наш Генрих будет обходить роты, а это будет наверняка, всегда можно будет сказать, что я, мол, пришел в N роту ознакомиться с обстановкой, — так развивал план действий Зверев.

— Ну, валяй, брат, так, а я за твоей ротой присмотрю отсюда, — говорил Буров, пожимая протянутую руку.

— Вот так «пончик»! «Чертова подвода»! — сказали почти одновременно оба друга, поворачивая восвояси.

* * *

— Здорово, «пончик»! — весело, как ни в чем ни бывало, говорил Зверев, несколько минут спустя прыгая в глубокую и довольно просторную яму, вырытую для Миши его ротой и накрытую жердями в виде примитивного козырька.

— Как у тебя дела? — всматриваясь в лицо Миши, спрашивал Зверев.

— Тише, пожалуйста!.. здесь немцы в тридцати шагах, — шепотом, умоляюще произнес Миша.

— Ну уж и в тридцати, — недоверчиво возразил Зверев. — Да что это ты хнычешь, Миша? Нельзя так распускаться… Подумай

только, как ты скандалишь себя, и «все на свете». Возьми себя в руки!

— Нет, — шептали Мишины губы; я больше выдержать этого не могу — я застрелюсь. Я не могу больше видеть этих страшных мертвецов, эту кровь и стрельбу. Я сойду с ума, — в отчаянии говорил Миша, причем губы его вздрагивали, а зубы выбивали барабанную дробь.

— Ты с ума сошел, «ешак», — своеобразно урезонивал его Зверев.

— Стреляться! Какой смысл? Раз ты решил умереть, так это все, что требуется. Это максимум того, что ты можешь дать… — уже улыбаясь и смотря прямо в глаза Мише, говорил поручик Зверев. — Ты думаешь, мне легко свыкаться с мыслью, что и я каждую минуту могу отправиться к праотцам? Ведь и я страстно хочу жить, но каждый раз перед боем, или во время обстрела, я сам себя как бы убеждаю: «ты должен умереть», «ты умер» — внушаю я себе. И когда мне это удается, я перестаю думать о том, что страшит, из чего слагается чувство страха… Не убил этот снаряд, убьет следующий, примиряясь с своей судьбой, уже думаю я, а в промежутках между очередями снарядов, между более опасными положениями и менее опасными моментами, — исполняю свой долг. Вот и сейчас, я бежал к тебе по сравнительно открытому месту… — пули свистят часто… никто меня не заставляет идти сюда, а я иду… Иначе кто же будет управлять пассивной массой наших солдат? Ведь все только и держится, — на нас — офицерах. Какой же пример подаешь ты своим людям?

Миша рыдал, склонив голову на плечо Зверева.

Коля брезгливо морщился, но не находил в себе сил оттолкнуть милого «пончика» — весельчака и балагура, с которым так весело и приятно жить в будничной полковой обстановке.

— Не покидай меня, — шептали Мишины губы…

— Ну, хорошо, успокойся только, — смягчая тон, говорил Зверев. — Я посижу здесь с тобой до утра…

* * *

— Подпрапорщик Шапка! Пошлите людей за обедом; тут пришли проводники… — глубокой ночью отдавал распоряжения поручик Буров, не знавший усталости, не чувствовавший никаких потребностей, видевший только врастающих в землю своих солдат, зорко всматривавшийся в серебрящийся сумрак яркой лунной ночи, прислушивавшийся ко всякому подозрительному

шороху — «оттуда»… и отдававший все остальные чувства инциденту в N-й роте и ее командиру — презираемому и любимому Мише «пончику»…

Такой жизнью был полон «Мрачный лес» в эту холодную октябрьскую ночь.

В нем, как в громадном котле, бурлили взбаламученные людские страсти, переплетаясь в причудливые узоры.

Желтые дьяволы

Вот уже четвертый день, как N-я пехотная дивизия, окопавшаяся на подступах к Варшаве, ведет непрерывный, ожесточенный бой, отбивая немецкие атаки.

У подножия окопов Z-ского полка этой дивизии лежат бесчисленные трупы германцев шести различных частей, не могущих выполнить боевой задачи — быть послезавтра в Варшаве.

Густой туман, спустившийся к вечеру на землю, отделил противников «молочной» непроницаемой завесой и скрыл от немцев трагическую картину разрушений и потерь, учиненных огнем их тяжелой артиллерии в наших окопах. Обе стороны, не видя и не зная, что творится у противника, — нервничали, и это настроение отражалось на характере ведения огня, то разгоравшегося, то потухавшего, то пробегавшего по всей линии, подобно электрическому току, то еле обозначавшемуся короткими залпами.

* * *

Начальник немецкой дивизии, действовавшей против Z-ского полка, полный решимости, настойчивости и инициативы молодой генерал, отправив директиву для предстоящего утром боя, вызвал к телефону того из командиров полков, два батальона которого только что произвели безрезультатную атаку на Z-ский полк.

— Полковник, — сказал он, — сейчас вы получите мое приказание на завтра. К нему я имею добавить, что от пленных нам удалось узнать, что у русских нет снарядов. Против нас бессменно стоит все тот же полк этих «желтых дьяволов», которые, хотя и проявили нечеловеческую стойкость, но по всем признакам, должны будут в конце концов сдать, так как за ними нет резерва. К 4 часам к вам подойдут два свежих батальона померанских гренадер…

Артиллерия наша, усиленная вновь установленной тяжелой гаубичной батареей, сметет все на вашем пути. Я уверен, что завтра вы будете иметь полный успех…

* * *

Под прикрытием тумана в Z-ском полку срочно происходила

последняя перегруппировка.

Командир N-й артиллерийской бригады уведомил командира Z-ского полка, на участке которого стояло две легких батареи его бригады, что с разрешения начальника дивизии, он приказал одной батарее сняться с позиции и отойти в тыл, из-за полного отсутствия снарядов…

В то же самое время капитан князь Мангуладзе, типичный кавказец, старый боевой офицер, потомок славных витязей Кавказа, весь воплощение их заветов, духа, достоинств, слабостей и недостатков, — отдавал приказание своему 4-му батальону.

Батальон его только что сменился с участка полка соседней дивизии, откуда он утром выбил ворвавшихся в окопы соседей немцев.

— Ротные командиры, идем сюда, — сказал князь, подходя к строю батальона, вытянувшемуся вдоль одной из бесчисленных дорог, обсаженных деревьями, указывая на уцелевшую халупу. В четырех ротах князя насчитывалось после сегодняшнего боя едва 600 человек.

Ротные командиры этих рот — поручик Пашков, подпоручик Зотов и прапорщики Тихонов и Борисов, вышли из рядов и прошли в халупу, указанную им батальонным.

— Послушай, Пашков, — сказал князь, обращаясь к старшему из ротных.

— Посмотри на карте, где мы находимся?

— Вот здесь, ваше сиятельство, — указал Пашков на красную черту, начинавшуюся у названия деревни, в которой остановился батальон.

— Ты верно говоришь? — недоверчиво и в то же время добродушно переспросил князь.

— Так точно. Верно.

— Ну, отлично… Это я для вас, — пояснил князь.

— Мне карты не нужны, карты — это для генерального штаба и для «зеленых».

— Для вас, — посмотрел он на прапорщиков.

— Наша задача теперь… черт их знает… — начал было князь, но спохватился и продолжал: — поддержать наш правый фланг.

— Ну-ка, посмотри там эту… Орлы… Орлы — Касины — Массины.

— Орлы-Цесины, ваше сиятельство? — поправил Пашков, склонившийся к карте.

— Эта самая — Весины.

— Вот там сейчас правый флаг нашего 1-го батальона.

— Ты, Пашков, Тихонов и Борисов, идите туда, явитесь командиру 1-го батальона и вступайте под его команду.

— Ты, Зотов, станешь за 2-м батальоном и тоже явись — кому следует.

— А вы где будете, ваше сиятельство? — спросил кто-то.

— Я теперь «Тришкин кафтан», — неожиданно заявил князь и, самодовольно улыбнувшись своей «остроте», добавил: — Я иду в штаб полка, пусть мне дадут чем командовать.

— Одним словом, господа, вы сами должны знать, что делать, — закончил князь.

Получив это лаконическое приказание, батальон тронулся по указанным местам.

* * *

Подпоручик Зотов, или просто Рома, как уменьшительно звали его товарищи по полку, молодой, стройный, красивый офицер. Он два года тому назад кончил Тифлисское военное училище одним из первых — старшим портупей-юнкером 2-й роты и считался лучшим гимнастом, стрелком и фехтовальщиком.

За гимнастику и стрельбу он имел первые призы и училищные жетоны — эти первые знаки отличия на заре военной карьеры. В полку на него сразу же обратили внимание, когда на состязательной стрельбе из револьвера он перебил приз у «почетного потомственного» полкового призера — Карла Карловича Гросбах.

— Это какое училище дало нам такого стрелка? — подходя к Зотову, осведомился старший штаб-офицер.

— Тифлисское, — краснея до корней волос, ответил подпоручик Зотов, а обступившая его со всех сторон молодежь пожимала ему руки и приговаривала:

— Браво, Тифлиссцы! Ай молодца, Тифлиссцы!

Зотов вышел в Z-ский полк, имевший захолустную стоянку в Закавказье, — не случайно, а принципиально. Он считал и доказывал своим приятелям и товарищам по выпуску, что каждый должен отдавать предпочтение не полкам с хорошими стоянками, или со стоянками в отдаленных местах, куда шли из-за денег, — а полкам старым, со славной боевой историей и традициями и дружным составом офицеров.

В полку Зотов был с места отличен и назначен в учебную команду к специалисту своего дела, капитану Пружакову, под руководством которого многое постиг из той области военной науки, предметом изучения которой служат быт и психология русского солдата. Он тщательно работал над людьми

порученного ему взвода и теперь, в полку, значительная часть унтер-офицеров была или непосредственно его выучки, или же лично ему известна. Солдаты его обожали и, зная, что офицеры зовут его Рома, между собой говорили:

— Наш Рома молодчага… этот не подкачает… за ним хоть куда… Одним словом, геройский офицер.

* * *

— Рота, стой! — скомандовал Рома после часовой ходьбы, подойдя к знакомому перекрестку дорог, где по сторонам одной, идущей параллельно фронту, была углублена канава и вырыт окоп полной профили, еще накануне стоявшим здесь 4-м батальоном.

— А хорошо, ваше благородие, что ребята солому успели повыбивать, глядите, немец и последнюю халупу спалил.

— Где таперича чай греть будем? — сказал подошедший к Роме фельдфебель Ласточкин.

Рома, ничего не отвечая, обдумывал, что надо сделать, вообще, что раньше и что позже.

— Солома, значит, есть, — произнес он вслух после некоторого раздумья, отвечая сам себе на какой-то вопрос, и уже громко приказал:

— Взводные, ко мне! Слушать внимательно!.. Три взвода могут спать, не раздеваясь, вот здесь, — указал он на окоп. — Если соломы мало, можно будет послать несколько человек. Один взвод бодрствует в полной готовности. Халупу нашу сожгли, — сказал он, озираясь вокруг, — тогда чай можно кипятить у костров, которых должно быть не больше, как по одному на взвод. Тут такой сегодня туман, что хоть избу запали, а огня в двадцати шагах не увидишь. За кухней и патронной двуколкой послать проводников к штабу полка. Проводники пусть доложат князю, что 16-я рота пришла на свое место благополучно. Двух связников мне назначить сейчас. Я их сам отведу к батальонному 2-го батальона. Мы с тобой, Ласточкин, будем дежурить поочередно.

— Понимаю, ваше благородие, — не замедлил вставить Ласточкин.

— А вы бы, ваше благородие, сначала чайку, согреться, — предложил кто-то из взводных.

— Какой чай, Петров, — с суровой ноткой в голосе возразил Рома. — Сначала дело, а потом чай.

— Ерчев, ты здесь? — крикнул Рома в пространство.

— Так точно, здесь я, Ерчев! — послышался ответ, и из тумана обрисовалась фигура громадного Ерчева с винтовкой на ремне.

— Фельдфебель Ласточкин! — нарочито громко приказал Рома, — останьтесь за меня. Я пойду вперед к командиру батальона с докладом… Чтобы все было в порядке.

— Ну, пошли! — скомандовал Рома, и четыре фигуры, пройдя всего несколько шагов, скрылись в непроницаемом тумане.

— Какая это рота? — спросил Рома, подойдя к окопу, на дне которого копошилась какая-то фигура.

— А тебе на что? — ответил недовольный голос.

— С тобой говорит офицер, — невозмутимо, но внушительно пояснил Рома.

Последовала пауза.

— Я тебя спрашиваю, какая рота?

— Шестая, ваше благородие.

Рома и сам знал, что здесь должна находиться шестая рота, и он нарочно пришел сюда для того, чтобы повидать своего закадычного друга, товарища по выпуску и сослуживца по учебной команде — Бориса Корфа.

Хотелось немного отвести душу, поделиться своими мыслями и сомнениями, а кстати, посмотреть, как ведет дело и чувствует себя Борис в этой ужасной обстановке четырехдневного адского боя.

— А где ротный командир?

— Не могу знать, ваше благородие.

— Ах ты, балда еловая! — с досадой произнес Рома, чувствуя потребность добавить более крепкое слово… как из окопа поднялась другая фигура, радостно произнесшая:

— Ваше благородие, это вы? Это я, унтер-офицер Чижиков, ваше благородие.

— А! Чижиков! Здравствуй, молодец! Как живешь?

— Живем пока, сами не знаем, что завтра будет… Жалко, не видать ничего, ваше благородие, вы бы посмотрели, сколько германа наложили, — не без гордости произнес Чижиков. — Ну и нам тоже досталось. Антиллерией немец шибко зашибает… а у нас будто антилерии — мало. Пулемет наш, последний, разбило сегодня снарядом. Целое отделение засыпало снарядом нонче во втором взводе. Два чемойдана запустил сразу. Дорошенко, помните, ваше благородие, по учебной команде — высокий такой хохол, что на лестнице не мог подтянуться — сегодня убило, а уже имел Георгия. Да уж многих наших нет. Сейчас в роте и ста человек не наберется. Четыре дня держим позицию-то.

— Ну, а ротный как? — спросил Рома.

— Ничего! — воодушевляясь, продолжал Чижиков. — Ротный наш молодец. Без него мы бы совсем пропали. На них, да на капитане Пильченке весь наш батальон держится. Батальонный наш хороший человек, так как будто и не трус, — а ни к чему. Я, говорит, сказывали телефонисты, пришел в восьмую, знаю, что не выдаст, — и сидит себе у ротного в землянке.

— Ротный Пильченко, тот боевой. Командует, и сам везде, а батальонный — хоть бы что… под охрану сдался восьмой роте, — выпалил в минуту все новости Чижиков.

— Их благородие, поручик Корф, наверное в первом взводе. Они только что пошли туда, — чинить окоп будут. Совсем завалило. Дозвольте, я вас провожу, ваше благородие, это близко.

— Здесь ротный! Кому я нужен? — послышался вскоре голос подпоручика Корфа, имевшего привычку говорить, для солидности, деланным басом.

— Это я, Борис, — приветливо отозвался Рома. — Ну, как у тебя?

— Все отлично. Как видишь. Немцев наложили массу. Человек двести одних убитых лежит перед ротой. Потери только большие, и еще что обидно, под самый вечер пулемет разбили вдребезги. Еще отвечать за него придется, — не без опаски произнес Борис. — Ну, а ты как? Где ты теперь и как сюда попал?

— Очень просто: я стою за твоей ротой в резерве.

— В резерве? — удивился Борис. — Это здорово!.. а связь у тебя с ротой есть?

— Пока нет.

— Да, брат, телефон хоть не тяни, — перебивают провода моментально. Кабель наш чинен-перечинен. Девять телефонистов за четыре дня выбыло из строя. Огонь, брат, ужасный. Кстати, какой это батальон наш отличился сегодня утром? Говорят, лихое дело сделал.

— Это наш, четвертый.

— И ты там тоже был?

— Как же, был, — скромно подтвердил Рома.

— Расскажи, расскажи, это брат интересно.

— Я, дорогой мой, должен сначала явиться к командиру батальона. Сейчас некогда.

— Ну, голубчик, явиться ты явись… да на обратном пути зайди на одну минуту ко мне. Мне нужно тебе кое-что сказать.

* * *

Командир 2-го батальона подполковник Алилуев, или

«архиерей», как его называли между собой офицеры за его фамилию, необычайную набожность и елейность, принял Рому очень приветливо. Он приказал ему оставаться там, где он расположился, и обещал, в случае чего, прислать приказание со связниками, которых Рома предусмотрительно захватил с собой.

* * *

Через 15 минут Рома и Борис стояли вдвоем, без посторонних свидетелей, пожимая друг другу руки.

— Я буду краток, — говорил Борис, — ты меня поймешь с полуслова: если к нам не подвезут снарядов и не пришлют резерв в эту ночь, — завтра нас задавят… Я знаю, что резервов нет; снарядов — тоже. Пулемет мой погиб… Нам остается дороже продать свою жизнь и не посрамить нашего славного полка. И поэтому… понимаешь… как я счастлив, что в этот именно момент, никто другой, а ты оказался за моей спиной…

При этих словах кисти их рук сжались в едином порыве нахлынувших чувств.

— Нам нужно только условиться, — продолжал Борис Корф, — что будет служить сигналом идти тебе на выручку. На телефон плохая надежда, его сейчас же перебьют. Связники не успеют, хотя ты и близко. Светового сигнала подать наверное не удастся, так как стоят туманы, и в 250 шагах ничего уже не видно, даже днем. Тут нужно что-то придумать. Ведь немцы залегли не далее 150 шагов…

— Я нашел! — оживился вдруг Рома. — Предупреди свою роту, что когда немцы бросятся на вас в атаку, пусть все дружно крикнут ура.

— А ведь это идея! — воскликнули оба.

— Ура слышно и днем и ночью, а на 300 шагов, во всяком разе: и в тумане, и в непогоду, и стрельба его не заглушит — ведь оно особенное. Недаром же мы поем нашу песнь: «Ура! Ура, Ура, Ура! Ура четвертый батальон!»…

— Ну, прощай! — заторопились вдруг оба, пожимая друг другу руки.

— Смотри, не прозевай только! Выручи! — донеслось Роме вслед.

* * *

— Теперь только не прозевать, — засело гвоздем у Ромы.

В эту ночь Рома был мучеником. Он не только не мог спать… он весь, обратившись в слух, порой доходил до галлюцинаций… Ему мерещилось слабое, предсмертное ура 6-ой роты. Он по очереди беседовал с дежурными взводами, объясняя каждому:

— Ребята, — говорил Рома, — мы условились со вторым батальоном, все как надо: они нам сказали, что если немец начнет одолевать, то нужно взять его хитростью. Тогда наши крикнут — ура! Как услыхал ура! — все за мной, как один, — в штыки. Не забывай только держаться ближайшего начальника. Помни, что если немец ворвался к нам в окопы, — он растерялся. Тут его и бить. Не дай бог, дать ему устроиться и подвезти пулеметы. Захватывай и бей с налета. Я вам говорю и совестью своей утверждаю — никто не устоит.

— Так точно, ваше благородие, — гудели голоса, и Рома чувствовал, что его понимают и ему верят.

Рома знал, что нужно заразить этой уверенностью десяток-другой людей, убедить их, что победа будет, показать им пример… и они тогда пойдут и увлекут за собой остальных, которых подтолкнет незримая сила, именуемая стадным чувством… И он видел и чувствовал, что цель свою он достиг.

Утро настало пасмурное и туманное… и как только стали различимы контуры предметов на 100–200 шагов… Началось…

Можно было подумать, что разверзлась земля, и все подземные духи роем выскочили наружу, толкая друг друга, сотрясая землю и оглашая ее неистовым воем…

Немецкая артиллерия расчищала дорогу четырем батальонам своих гренадер, изготовившимся к атаке. Страшно и жутко было глядеть туда, где вдоль дороги, обсаженной деревьями, шла линия окопов 2-го батальона. Впрочем, и справа и слева, всюду, насколько хватало зрения, — рвались сотни снарядов, взметая тучи земли, вырывая с корнем деревья или срезая их, как былинки, и снося с лица земли все, что попадалось по пути.

— Вот, кабы наша антилерия так себя показала, — произнес кто-то, но тотчас же уткнулся носом в землю, так как рой осколков вихрем пронесся над головами.

Так продолжалось с час…

Вдруг все смолкло, как по мановению волшебного жезла, и из окопов 2-го батальона часто-часто застучали винтовки. Еще момент… и вся туча снарядов повисла между ротой Ромы и злосчастным 2-м батальоном. Теперь все ясно. Заградительный огонь! — мелькнуло в голове Ромы. Сейчас будет и атака…

— Рота, приготовсь! — зычным голосом воскликнул Рома.

— Слушай мою команду!

И в этот самый момент все ясно услышали глухое стонущее

ура 6-й роты.

— Вперед, на выручку! — раздался пронзительный голос Ромы, рванувшегося вперед с наганом в руке…

Человек двадцать солдат осталось в полосе заградительного огня — истерзанными на куски… остальные неслись вперед, увлекаемые Ромой. Это был момент, когда весь успех атаки зависел от того, дойдет ли один человек — Рома Зотов. Все видели, как Рома дважды останавливался и стрелял… и каждый раз падал немец… Остальное лишь промелькнуло и кончилось очень быстро…

Натиск нашей шестнадцатой был неотразим…

* * *

И в то время, когда Рома старался привести в порядок свою роту и собрать оставшихся людей — шестой…

Немецкий генерал сердито выговаривал неудачнику командиру, успевшему доложить, что к «желтым дьяволам» подошли резервы и что увенчавшаяся было успехом атака отбита с большими потерями.

— Сейчас же атаку повторить, — говорил генерал. — Я послал к вам последний батальон. Мне доподлинно известно, что никаких резервов у этих русских свиней нет. За новую неудачу ответите — вы.

* * *

Поле боя представляло поистине тяжелую картину. Рома только что прошел мимо солдата с распоротым животом и вывалившимися внутренностями… Глаза солдата уже тускнели, но он был еще жив и бессознательно копошился в своих собственных внутренностях…

— Здесь лежит ротный 6-й роты. Они ранены, — доложил подбежавший, запыхавшийся Ласточкин.

Борис был без сознания и залит кровью…

— Но я ведь ничего сейчас не чувствую, — подумал Рома, смотря, как санитары, наскоро перевязав раненого, клали на носилки его лучшего друга.

— Ну, нужно продолжать, — вслух произнес Рома и, машинально повторяя вопросы, на которые должно отвечать каждое донесение, извлек свою «видавшую виды» полевую книжку, вложил копировальную бумагу в очередной лист и

отчетливо вывел:

Командиру Z-го полка…

* * *

В штабе Z-го полка еще с вечера царила тревога. Командир — высокий, плотный, уже седеющий полковник, красивой благородной внешности, нервно ходил по диагонали халупы, в которой приютился штаб полка.

Тут же за стаканом недопитого чая сидел оставшийся не у дел капитан князь Мангуладзе. Адъютант и начальник службы связи стояли в другой комнате — напротив, склонившись к старшему телефонисту.

Телефонист уговаривал Чиричкина отозваться, но никто не отзывался… Промежуточная… промежуточная… пе-пе-пе… сопел аппарат…

Кругом стоял ад. Земля гудела, тряслась и заволакивалась дымом. Стекла в халупе дребезжали от разрывавшихся неподалеку снарядов.

Все чувствовали, что назревает последний акт трагедии…

Только что пронесли раненого Корфа и убитого пулеметчика поручика Мирдулькиса…

— Мне нужно узнать, что делается в первом и втором батальонах во что бы то ни стало, — произнес командир, появляясь на пороге комнаты службы связи.

— Вызовите охотников из знаменного взвода… Каждому обещаю Георгия.

— Охотники готовы, — шесть человек, — докладывал ровно через три минуты адъютант.

— Где они?

— Здесь на дороге.

— Отлично. Я сейчас сам к ним выйду…

— Здорово, молодцы! — подходя к охотникам, поздоровался командир, пытливо всматриваясь в их бесстрашные лица.

— Здравия желаем, ваше высокоблагородие! — дружно ответили солдаты.

Командир взглянул туда, где за лесом кипел бой, и взгляд его остановился на группе немцев, приближавшихся с носилками под конвоем пяти солдат.

— Кого вы несете? — обратился командир к конвойным.

— Так что, поручика нашего Зотова, — отвечал конвойный, делая знак носильщикам поставить носилки на землю.

— Куда он ранен? — спросил командир.

— Так что, ваше высокоблагородие, под самое сердце. Еще по дороге скончались. Они приказали передать вам донесение, — сказал конвойный, откидывая шинель, которой было покрыто тело Ромы.

Вот их книжка, — протянул он руку с желтой книжкой, на обложке которой было написано: Полевая Книжка. Издал В. Березовский, комиссионер военно-учебных заведений.

Командир взял в руки книжку и взглянул в мертвенно-бледное, с посиневшими губами, спокойное лицо Ромы.

— Бедный Рома! Что ты нам теперь скажешь? — с невыразимой грустью подумал командир… и, перелистав копии прежних донесений Ромы, дошел до последнего, еще не вырванного листа, на котором значилось:

Командиру Z-го полка.

1914 года 28 ноября. 9 ч. 45 минут.

Номер 38, из окопов 6-й роты нашего полка, что по дороге из д. Вулька-Нова в д. Пясечно. Крест у отметки 48. Карта 2 версты в дюйме.

Немецкие гренадеры, в количестве около 2-х батальонов, после сильной артиллерийской подготовки, продолжавшейся с 71/2 — 81/2 часов утра с. г. 28 ноября, атаковали и ворвались в окопы нашего 2-го батальона. Я с 16-ю ротой находился в это время на участке за 6-й ротой и по условленному сигналу перешел в контратаку и выбил противника из занятых им окопов нашей 6-й роты на всем их протяжении. Влево от меня, где должна была стоять 5-я рота, — никого не оказалось. Разведка, посланная вправо, еще не вернулась. В моей роте осталось всего 43 человека, 6-й роты почти что не существует. Я занял своими людьми окопы 6-й роты и буду в них держаться до последней возможности.

Подписи под донесением не было…

Вместо нее отпечатался большой палец какого-то солдата, вымазанный кровью…

Ночное

В холодную сентябрьскую ночь у догорающего костра спали тяжелым сном какие-то серые фигуры, плотно прижавшиеся друг к другу. Темнота и непроглядность ночи окутывала эту кучку людей, равномерно похрапывавшую, присвистывавшую и по временам бормотавшую какие-то невнятные слова своим таинственным покровом. Кругом царила безмолвная тишина.

С недалекой Волги тянуло холодом и сыростью и как бы чувствовалось, что землю, громадную реку, спящих людей и угасающий костер сковала какая-то гигантская усталость, какое-то глубокое недоумение и разочарование. Спящие вокруг костра люди были, действительно, безмерно утомлены, и этот короткий тяжелый сон был для них лишь антрактом в «театре ужасов» российской гражданской войны, бывшей в это время в самом разгаре.

Спавшие были так называемые — «белые», или контрреволюционеры. Их было около двадцати душ, лежавших на голой земле вповалку, укрытых чем попало: тут были английские и русские шинели, тулупы, старые попоны и брезентовые полотнища; одним словом, все, что могло хоть как-нибудь защитить от проникающего отовсюду сырого холода. Вот крайняя фигура, лежавшая на спине, с лицом, покрытым носовым платком, вдруг неожиданно приподнялась и присела; на секунду замерла в сидячем положении… прислушалась… и вскочила на ноги.

«Хорошо, что я проснулся», — скорее подумал, чем произнес вставший.

— Нужно поразмять озябшие члены, а то простудишься, «как пить дать», — уже внятно произнес он, с силой выбрасывая в стороны руки и стремительно сгибая их в локтях. От этих резких движений хрустнули кости и крякнули какие-то сочленения… и действительно, старый армейский прием как будто помог: шинель, гимнастерка и рубаха, плотно приставшие к телу и ставшие уже проводником земной сырости, нехотя оторвались от источника тепла… и между телом и одеждой вновь пролегла неуловимая прослойка теплого воздуха. Оцепенение понемногу стало проходить после того, как по спине и по всему телу раз-другой пробежали неизбежные в таких случаях холодные токи — «мурашки».

— Володя, ты куда? — раздался голос из-под попоны, и вслед затем, освобождаясь от окутывающих ее тканей, поднялась вторая фигура.

— Я скоро вернусь, подбрось-ка дров в костер… — послышалось из темноты откуда-то сверху, так как первый вставший, командир роты капитан Горский, взбежал по крутой отлогости оврага, в котором бивакировала его рота, и скрылся по направлению к противнику.

Поручик Сытин так же, как и его ротный, поразмял свои члены, поправил съехавшие в сторону тяжелые подсумки и осторожно покрыл освободившейся попоной ноги юнкера Бори и прапорщика Шустова, лежавших с ним рядом. Затем он подошел к угасающему костру, расковырял золу и набросил на нее охапку хвороста и сучьев.

— Ну вот и я, — раздался вскоре голос капитана Горского, успевшего обойти выставленное от его роты сторожевое охранение.

— Слава богу, все в порядке. Тут, брат, нужно быть начеку — во как, — с чувством и видимым облегчением произнес он, подсаживаясь к костру, который к тому времени успел разжечь Сытин.

— Люблю я тепло… — протягивая руки к огню, задумчиво произнес Сытин, смотря как длинные красные языки пламени перескакивали с ветки на ветку, пожирая подбрасываемый им хворост.

— Да, великое дело тепло в походной жизни, — произнес Горский; и оба просидели несколько минут в полном безмолвии.

И Горский, и Сытин одного года выпуска, хотя и из разных училищ. Горский провел всю Великую войну в строю, был дважды серьезно ранен, получил «Георгия» и Георгиевское оружие и стяжал себе репутацию выдающегося боевого офицера. Сейчас он капитан и командир роты. Сытин — поручик. Ему не повезло: в одном из боев с немцами он остался раненым на поле сражения и попал в плен. Рана была тяжелой. Он долго боролся со смертью и все-таки выжил. Около двух недель в бутылку, стоявшую у него под кроватью, стекала гнойная, вонючая жидкость из вставленного в рану дренажа. У него нет двух ребер. Он пробыл три с лишком года в плену и не так давно приехал в Добровольческую армию.

«Бедный Толя, — думает Горский, глядя на своего друга Сытина. — Как ему нужно быть осторожным, чтобы не простудиться. А тут как назло такой холод и сырость. Как облегчить ему положение? — Да и не такой человек он. Обидится».

— Ты что встал так рано? — участливо обратился к Сытину Горский.

— Не спится. Меня угнетает какое-то тяжелое предчувствие.

А предчувствие меня не обманывает — это мой верный барометр. Вообще, Гражданская война вещь до крайности дикая, не подходящая ни под какие законы, не укладывающаяся ни в какие рамки, в том числе и в моем мозгу.

— Веришь ли, я буквально не могу прийти в себя с того момента, как вновь вступил на родную землю.

— Скажи, пожалуйста, Толя, — перебил его Горский, — как попал ты из плена в Добровольческую армию и были ли у тебя какие колебания и сомнения в вопросе, на чью сторону примкнуть?

— То есть, как? Какие колебания могут быть у порядочного человека, каковым я не перестал считать себя еще и по сей день? — возбужденно переспросил Толя.

— Колебаться долго не приходилось. Правда, у нас, в плену, были самые отрывочные и превратные сведения о революции. Трудно было понять, что за процесс происходит в России и что от этой революции получится в конечном результате — польза или вред?

Сердце говорило: зло, велико зло эта революция.

Я так устал и измучился в плену, что прежде всего решил вернуться к себе на родину, в Воронежскую губернию, приласкать моих стариков, отдохнуть у них душой и телом и осмотреться. Но не тут-то было. Принять окончательное решение, на чью сторону становится, пришлось гораздо раньше. Ты понимаешь, конечно, что, если бы обстановка была такова, что на одной стороне, скажем, нашей — белой — был Государь или кто либо из бывшего царствующего дома, а с другой — красной, — безразлично кто другой, выбор был бы ясен. Для нашего же брата, пленных, дело было гораздо сложнее… Тут и красные, и белые, и Петлюра еще какой-то выискался. И у белых генералы, и у красных — тоже… Подъехали мы, значит, к своей новой русской границе. Состав остановился. В вагон к нам вошли какие-то господа в шинелях без погон, без кокард, но с большими красными бантами: всех называют товарищами. Отвечают на вопросы крайне грубо. Вдруг появляется какой-то еврейчик и нагло обращается к нам, офицерам (эшелон был офицерский), с требованием снять погоны.

— «Товарищи, вы эти царские финтифлюшки ваши поснимайте», — указал он на кокарды, ордена и погоны.

Офицеры запротестовали. Тогда комиссар подошел к ближе всех к нему стоявшему старому, израненному капитану, сорвал с него погоны и, мало того, дважды ударил ими его по лицу. Произошел крупный скандал. Офицеры бросились на комиссара… тот закричал благим матом и в вагон ввалился вооруженный

конвой. «Всех расстреляю вас, белогвардейскую, золотопогонную сволочь!» — грозился взбеленившийся комиссар, которому кто-то все же успел съездить по уху. Конвой был из русских красноармейцев. Их удалось кое-как уговорить, объяснив, что мы, мол, ничего из ваших законов новых не знаем и т. п. Красноармейцы разразились потоком площадной брани и потребовали, под страхом расстрела, снять погоны и кокарды.

Плачущий, седой, израненный капитан, получивший пощечину от представителя новой власти, в первый же момент по вступлении на родную землю, после трехлетнего томления в плену, — вот, кто заставил меня принять бесповоротное решение встать на противоположную этой новой власти сторону, — белую. Все виденное и слышанное мною в дальнейшем, только укрепило меня в правильности принятого решения, — с тяжелым вздохом произнес Сытин.

— Между прочим, — продолжал он, — мне пришлось быть на погребении нашего Четыркина.

— Что ты говоришь, — воскликнул Горский.

— А вот представь. Неисповедимы пути господни… Нужно же было мне именно в эти дни быть в Пятигорске, где я поправлялся от перенесенного сыпняка. Ты, вероятно, слышал, что в середине октября прошлого года (это я узнал уже на месте), в Пятигорске произошла знаменитая по своему небывалому варварству казнь заложников. В ночь с 18 на 19 октября, одновременно с генералами Радко-Дмитриевым, Рузским и многими другими были зарублены и два брата Четыркины, — наш славный Коля «Пятеркин» и его брат Волынец. Мне рассказывали очевидцы (казнь происходила публично), что оба они вели себя с невозмутимым спокойствием. Ни один, ни другой не согласились опуститься на колени перед своими палачами. Несчастные не могли даже пожать друг другу руку, так как руки их крепко перетянуты были проволокой. Вот судьба. Оба ведь лечились от ран, и оба доблестных офицера погибли мученической смертью. Что они чувствовали, несчастные, в этот страшный час? А сколько таких мучеников?

Одним словом, я с полным убеждением в своей правоте, иду против своих же братьев по крови и с совершенно спокойной совестью, без всяких оговорок и сантиментов, борюсь с новой властью и всеми поддерживающими ее, — силой оружия.

Должен сознаться, что быть в строю с последствиями моего ранения — мне не легко. Рана моя мне не дает покоя, но я не считаю себя в праве отказаться именно в этот тягчайший и ответственный момент в истории России, от участия в борьбе с явными негодяями, христопродавцами, поработителями и

насильниками, каковыми является нынешняя кремлевская власть. Я тебе скажу больше: для нашего брата, офицерства, эта эпоха своеобразный экзамен на политическую честность… В этой невиданной борьбе не может быть двух или трех правильных течений. Под течениями я подразумеваю: красное, белое и нейтральное или попросту — уклоняющееся. Мне часто приходилось слышать, что многие оставшиеся у красных, мотивируют свое решение тем, что и в рядах красной армии они продолжают работу на пользу России. Другие говорят, что они попали впросак, что первое время было общепризнано, что большевизм не продержится больше двух-трех недель. Сначала, таким образом, действовал этот довод, а потом стал действовать другой — связанность семьями, невозможность выбраться из Совдепии и т. п. Я сужу по себе, и выходит не так: у меня тоже семья в Совдепии. Из плена я вернулся именно в Совдепию. Ни мои трое братьев, ни я не колебались в выборе, и все ушли к белым, оставя стариков на произвол судьбы. Я, например, пробыл дома всего шесть дней и зимой, в феврале месяце прошел около трехсот верст пешком, прежде чем вышел на фронт Донских казаков. Я прежде всего считаю, что кадровый офицер, в силу своего воспитания и своевременно данной клятвы, не мог быть революционных убеждений.

Меняя свои убеждения ровно на 180 градусов, он становился клятвопреступником прежде всего и изменником своей Родине — России, во-вторых, при самом даже поверхностном, невооруженном так сказать, взгляде на происходящие события, к этой группе бесчестных «продавцов шпаг» я питаю глубокую ненависть.

Что касается офицеров, уклоняющихся, то они есть и на нашей стороне, и за красной чертой.

У красных они покорно ходят на регистрации и безболезненно, как бараны, выводятся в расход. Там с ними не церемонятся. На нашей стороне — это паразиты. Это от них именно можно услышать: «А кто такой Деникин или Колчак?» — Я служил царю, и только царю буду служить в будущем. Кто поручится, что, победив большевиков, Колчак и Деникин не сделаются президентами. Для республики я не желаю жертвовать своей жизнью. И как правило, за очень маленькими исключениями, такие господа и при царе, в Великую войну ничего не делали на пользу Родине и царю. Они обычно говорили: «дураки только воюют», «на фронт я не пойду, мне и здесь хорошо»… И я глубоко убежден, что будь вместо генерала Деникина, во главе белых, Государь, они бы говорили: «довольно нам самодержавия и „распутинщины“… Конституционная

монархия или республика — единственный выход в создавшемся положении для России… Нужно быть дураком и т. д…»

На нашей стороне к этим паразитам милостивы. Это первые получатели безопасных теплых мест, всяких пайков и обмундирований, это первые шептуны и сеятели паники по тылам.

Если первых я ненавижу, то ко вторым я питаю органическое отвращение.

Единственно правильным течением нужно признать течение белое. Само название — белое — уже звучит красиво и гармонирует с теми высокими понятиями, которые выставлены лозунгами на белых знаменах.

— И ты знаешь, чем я горжусь? — прервав поток своих мыслей, вопросительно произнес Сытин.

— Чем? — ему в тон ответил Горский.

— Тем, что я офицер, — как-то негромко с особенным чувством произнес Сытин.

— Я представляю себе Россию, если бы, в данных настоящей эпохи, офицеры оказались бы безучастными и не выступили бы на защиту Родины и истинной человеческой свободы с оружием в руках, как это сделали мы.

— Нет, скажи, какова была бы картина?

— Как ты думаешь, могли бы, по-твоему, создать Белое движение — адвокаты, профессора, инженеры, врачи, землемеры, купцы, артисты и пр., предводительствуемые всеми политическими деятелями и группировками справа налево и слева направо? Не правда ли, смешно даже об этом думать, видя их роль в нашей революции?

— Я, признаться, — продолжал он, — очень сильно надеялся на духовенство… Оно, казалось, могло двинуть народные массы на подвиг спасения Родины… но и этого не случилось. Невзирая на то, что мы переживаем эпоху, действительно напрашивающуюся на крестовый поход, который имел бы теперь более глубокий смысл, чем все крестовые походы, взятые вместе, как направленный против цитадели врагов, посягающих на сущность самого учения Христа. И если цели и преграды к их достижению для средневековых крестоносцев граничили с невозможным по тогдашним условиям, то крестовый поход в наше время не представлял бы и тысячной доли тех трудностей, которые выпали на долю первых защитников святой веры.

— Не те люди стали! — с глубоким вздохом произнес Горский.

— К глубокой скорби, наш век не знает второго Петра Амьенского, — продолжал развивать свои мысли Сытин, — он не

удостоил нас, русских, быть даже современниками более скромного служителя Христовой церкви, наподобие того, каким в свое время был Патриарх Гермоген…

И приходится сделать печальное заключение, что не будь у России ее вернейших сынов — офицеров, — ни один русский не мог бы показаться за границей. Россия потеряла бы свое национальное «я» и вполне заслуженно поплелась бы в хвосте мировой жизни. Разве не прав наш великий русский патриот, генерал Антон Иванович Деникин, сказавший: «Берегите офицера! Ибо от века и до ныне он стоит верно и бессменно на страже русской государственности. Сменить его может только смерть».

— Мы, офицеры, спасли честь нашей Родины и бог даст спасем и ее жизнь.

По-моему, за все время существования Российской армии, за все время существования корпуса офицеров, на долю последнего не выпадало такой истинно мессианской роли. Мне кажется, я буду недалек от истины, если предрешу вердикт истории и скажу: «Русское офицерство, в годы величайших испытаний второго Смутного времени, оказалось квинтэссенцией нации».

— Ну, хорошо, это все так; но как же быть с теми офицерами, что служат красным? Не аннулируют ли они своей предательской работой той роли офицерства, которой ты только что гордился? — нерешительно задал вопрос Горский, как бы боясь разрушить здание, так красиво построенное его другом.

— Нисколько не аннулируют, — уверенно возразил Сытин, — и вот почему: ты вспомни только… Ведь всякий офицер, совершивший поступок, несовместимый с понятием о воинской доблести и чести, — «немедленно» и «срочно» изгонялся из офицерской среды. Среди офицеров, как правило, не было порочного элемента. А тут все, что хочешь. Квалифицируй по любой статье: подали руку и вошли в общество убийц, грабителей и шпионов? — вошли. Изменили товариществу и долгу? — изменили. Предали Родину? — предали. — Чего тебе еще нужно?

— Какие же они после этого офицеры? Красные командиры?.. может быть… не спорю, но не офицеры. На этом ты, брат, меня не собьешь! Настоящие офицеры это мы, белые, не изменившие, не перекрасившиеся, не уклонившиеся и не отошедшие ни на йоту от «Высочайше утвержденного» образца… и вот эти… так называемые, офицеры военного времени… — указал он рукой на бесформенную массу спящих у костра людей.

— Разница между ними и нами, конечно, есть. Сейчас она здесь не существенна. Я подчеркиваю, — повторил он, — «здесь», — ибо, раз они здесь добровольно с нами, значит, они духовно нам сродни. Они твердо идут по нашим стопам, и мы

должны в них признать наших младших братьев; а все шероховатости и различия от подлинного офицера сотрутся и сгладятся, при совместных усилиях старших и младших, одной общей великой семьи, именуемой Русской армией.

«Вот это — офицер!» думал Горский, глядя на своего друга Сытина… Он почувствовал вдруг громадный прилив нежности… Ему захотелось броситься к Толе, обнять его и горячо благодарить за столь ясную исповедь чувств, родственных его душе…

Он готов был протянуть к нему руки, как сверху вдруг послышался топот ног бегущего человека и учащенное дыхание.

— Господин капитан! Красные! — взволнованно выпалил запыхавшийся прапорщик Борисов.

— Успокойтесь и доложите все толком, — повелительно остановил его Горский тоном, спокойствию которого могли бы позавидовать олимпийцы.

Слово — «красные» — произвело магическое действие: полушубки, шинели и попоны полетели в разные стороны, и в предрассветном тумане защелкали затворы…

— С Волги высадился матросский десант, — докладывал тем временем Борисов. — Матросы держат направление на нас… Сейчас они могут быть в полуверсте.

— Прекрасно! — прервал его Горский. — Попросите сюда командира второй полуроты…

Через несколько минут все было готово. На правом фланге, у самого откоса обрыва, пристроились два пулемета. Около них примостилась вся первая полурота, изготовляясь к огню.

Та же картина наблюдалась и на левом фланге, с той только разницей, что там был всего лишь один пулемет.

— Огня не открывать без моей команды! Слушать сюда! — раздался над оврагом голос Горского.

«Ну и молодцеватый офицер выработался из Горского… Три года войны для него не прошли даром… Я на себе чувствую его обаяние», — думал Сытин, укладывая свою винтовку…

Пулеметные унтер-офицеры держали руки поднятыми вверх, в знак полной готовности…

Словно рукой невидимого режиссера приподнимался над Волгой утренний туман… все выше и выше… Антракт в «театре ужасов» российской гражданской войны подходил к концу. Все персонажи были на местах.

— А! «Краса и гордость революции!» — с неукротимым огнем в глазах процедил сквозь зубы Горский, увидя темную линию наступающих матросов и ползущих тачанок… и выждав еще момент, спокойно скомандовал: — Огонь!..

Конец

Наследство офицера

…… 1929 г.

Дорогой Костя!

Пишу Тебе накануне моего отъезда в СССР. Все сборы кончены. Когда Ты будешь читать эти строки, я, вероятно, буду или на Родной земле, или — меня вовсе не будет в живых. Из этой фразы тебе станет понятным, что я, собственно, не уезжаю, а ухожу. Не уезжаю, а ухожу потому, что прежде всего, такие пассажиры, как мы с тобой, в СССР не ездят; а в случае надобности — просто шагают через границу.

Почему я ухожу, Тебе, вероятно, понятно, так как кому же, как не тебе, знать меня и мои взгляды.

Но дело не в этом. Я боюсь одного: как бы в случае неудачи наши заклятые враги, враги нашей горячо любимой Родины, не возвели клевету и на мое, ничем не опороченное имя.

Имя — вот та единственная ценность, которая у меня осталась, которой я дорожу и с которой мне ни за что не хотелось бы расстаться. И я верю, что с Твоей помощью, это мое последнее, законное, желание будет, во всяком случае, осуществлено.

Тетрадь, в которой записаны мои мысли, очерчены наиболее характерные эпизоды моей жизни и сделаны кое-какие выводы и подведены итоги, — я оставляю тебе на сохранение.

Храни ее или до новой радостной встречи, или до получения тобой известия о том, что твой Вася закончил свой жизненный путь, унеся с собой всю ненависть и любовь, на которые способно его сердце.

В последнем случае, она просто останется тебе «в наследство», как память о Твоем лучшем друге, всегда искренне и горячо Тебя любившем Твоем Васе.

* * *

Объемистую тетрадь и письмо это я получил около двух месяцев тому назад от моего друга Т. из государства, граничащего с СССР.

Я тогда же ознакомился с содержанием записей и решил хранить тетрадь, — как сказано, — до новой радостной встречи…

Но увы! ей не суждено уже осуществиться.

Мой Т. погиб, оказав перед смертью геройское сопротивление палачам своей Родины, и не дался живым в руки.

Теперь, когда нет его, и когда к бесконечным неизвестным

могилам Русских офицеров прибавилась еще одна, когда невыразимая тоска сжимает грудь, хочется отдать последний долг этому герою.

Мне хочется воскресить облик «ушедшего», совершенно так же, как сделал бы это я, исполняя его последнюю волю, выраженную в словах: «Я боюсь одного — как бы в случае неудачи наши заклятые враги, враги нашей горячо любимой Родины, не возвели клевету и на мое, ничем не опороченное имя».

Сделать это в настоящий момент тем легче, что получение известия о его славной смерти совпало с окончанием мною работы, посвященной памяти Русского офицерства.

Пусть выбранная мною для вышеуказанной цели форма нарушит, до известной степени, гармонию и внесет диссонанс своим публицистическим характером. За это я заранее прошу прощения у взыскательного читателя; но зато, с другой стороны, читателю, ознакомившемуся с содержанием первых пяти очерков, повествующих о жизни, взглядах и работе рядовых русских офицеров в период ношения ими военной формы, не безынтересно будет узнать об их же жизни, взглядах, чаяниях и самоотверженной работе в тяжелые годы эмигрантского существования. Представление об этом и дадут выдержки из записей, оставленных мне «в наследство» моим «ушедшим» другом. С этой стороны, предлагаемый очерк — «Наследство офицера» — несомненно будет в полном соответствии с общим заглавием книги.

Отрывок первый

…«Теперь, в зрелом возрасте, когда я задумываюсь над тем, кем предопределено мне быть судьбой, я прихожу к определенному выводу, что натуры, подобные моей, в Древней Греции были спартанцами, в Древнем Риме — всадниками, а в Средние века — рыцарями, крестоносцами. В наше время судьба своими удивительными путями заботливо перенесла меня в корпорацию, наиболее твердо усвоившую и сохранившую заветы лучших времен классической государственности — в среду Российских Императорских Офицеров…

Мне было семь лет, когда я сам того не сознавая, — решил свою судьбу. Предо мной, тогда семилетним ребенком, стоял сложный вопросе выбора опекунов после смерти моего отца. Мать моя умерла много раньше, и я, оставшись круглым сиротой, должен был перейти на воспитание к родным. Я помню этот день. Семейный совет происходил в гостиной. В ней собралась вся

близкая родня.

— Ну, Вася, решай сам, у кого ты хочешь остаться, — был задан вопрос… Я колебался недолго. В моем сознании почему-то ярче всего встали две перспективы.

Подниматься каждый день чуть свет и идти с отцовской бабушкой в церковь к заутрене, долго стоять там на коленях и класть земные поклоны, в то время, когда так хочется спать… Или ездить на санках один только раз в году, — в сочельник, в немецкую кирку (мой отец был женат вторым браком на чистокровной немке), где так удобно сидеть за партой, водя пальцем по толстому молитвеннику, так недолго нужно слушать непонятную проповедь и торжественное пение молящихся… а потом, возвращаться домой на санках — прямо к зажженной елке…

Я крепко любил обеих бабушек. Обе меня баловали: одна дарила мне пятикопеечные шоколадные бомбы с маленькими сюрпризами, а другая давала облизывать ложки от гоголь-моголя, когда на кухне готовились вкусные торты и печенья… И, если качества обеих бабушек казались мне равноценными, во втором случае, то перевес был на стороне мачехиной бабушки — в первом.

— Хочу остаться с тобой бабушка, — сказал я, низко наклонив голову, подходя к мачехиной бабушке, боясь встретиться с укоризненным взглядом ее соперницы, — также искренне меня любившей. Я спрятал голову на груди у своей избранницы и почему-то горько заплакал.

Ко мне склонилось ее доброе лицо, я потонул в ее мягких объятиях и ощутил на лице своем теплые, ответные слезы…

Я рос и воспитывался под исключительным влиянием своей „выборной“ бабушки.

Все хорошее, что во мне есть, заложено ею или развито ее поощрениями. Все дурное ею же выбивалось из меня палкой, как выбивается пыль из ковра, развешанного на веревке, в яркий солнечный день.

Многими положительными свойствами обладала моя избранница: трудолюбие, честность, глубокая вера и религиозность были лучшими украшениями этой удивительной женщины, но самым поразительным качеством ее натуры было совершенно непередаваемое, поражающее своей монолитностью чувство любви.

Сначала я этим вопросом не интересовался и в нем не разбирался, но с течением времени как-то сам собой разобрался, сопоставив факты и припомнив все на протяжении многих лет…

Предо мной встала во весь рост трогательная история любви

до гроба, и я, как очарованный, залюбовался красивой легендой вечной любви, проходившей перед моим мысленным взором.

Предметом этой удивительной любви был второй муж моей бабушки — русский офицер, служивший в славном Ширванском полку.

Он умер много лет тому назад, когда бабушке моей еще не было и сорока лет; но этот человек стал так мне близок, так вошел в обиход моих представлений о многих событиях и вещах, что я начинал иногда впадать в невольный анахронизм, задавая бабушке наивные вопросы, на которые та неизменно отвечала:

— Нет, дорогой, тебя тогда еще на свете не было.

Все, что касалось памяти ее мужа, было священным. Раз в год, летом, в один из ярких солнечных дней, когда вся панорама величественных Кавказских гор виднелась как на ладони, — прямо из нашего сада, — когда Столовая гора, казалось, начиналась в конце нашей улицы, а Казбек гордо сверкал своей ослепительной белизной на фоне голубого безоблачного неба, — в сад выносился громадный, как ноев ковчег, зеленый сундук, обитый крест-накрест узкими железными полосками. В нем среди прочих вещей лежали: Ширванский мундир александровского времени, штабс-капитанские эполеты и колодка орденов. А в особом отделении сундука — старинные фотографии, какие-то „важные“ бумаги и послужной список.

Я давно знал историю каждого ордена и каждой медали, как и всю историю ахалтекинской экспедиции, в которой они были получены. Все это, обыкновенно, рассказывала бабушка в длинные зимние вечера за шитьем, когда я подсаживался к ней после приготовления уроков. Плавно текла ее речь, и предо мной проносились тени легендарных героев и воскресали совершенные ими подвиги… Но я одинаково хорошо запомнил, как подвиг рядового 21-й арт. бригады Агафона Никитина, так и поучительный случай, имевший место при выносе на проветривание знаменитого сундука: я помню, как жестоко был наказан мой сводный брат, непочтительно отозвавшийся о пересыпанных нафталином бабушкиных реликвиях, как о „капернаумских фамильных вещах“.

Помню, что после солидной порки он должен был просить прощения и дать клятвенное обещание не говорить больше таких глупых, оскорбительных вещей.

— Это тебе не капернаумские вещи, а офицерский мундир, который честно носил твой заслуженный дед… Ты не смеешь говорить всякую ерунду, которая взбредет тебе на язык, — вскоре после экзекуции приговаривала плакавшая, оскорбленная в своих лучших чувствах бабушка, прижимая к груди раскаявшегося и

ревевшего белугой моего младшего брата.

Сцена искреннего раскаяния и искреннего прощения редко кого может не тронуть, и я, не составляя исключения из общего правила, наблюдая всю, только что описанную картину, — стоял потрясенный.

Неудивительно, что понемногу и я уверовал в святость этих реликвий.

Меня поразили и захватили все нарисованные ею бесчисленные героические образы. Я заразился ее благоговением перед ними и начал стремиться подражать им, с затаенной мыслью услышать когда-нибудь слова одобрения из уст самой бабушки.

Эта мечта моя осуществилась не скоро…

Я провел всю Великую и Гражданскую войну, был несколько раз ранен, получил все боевые награды, которым мог позавидовать сам прославленный дедушка, но только в эмиграции стал получать от моей престарелой бабушки письма, начинающиеся неизменно словами:

— „Мой милый, дорогой герой“…

Эта награда была для меня самой высокой, самой обязывающей…

Так, у моего отца, купца по роду занятий, простого матроса по роду службы государству во время отбывания им воинской повинности и ненавистника офицеров по взглядам, которые им неоднократно выражались фразой: „я лучше убью своего сына, чем позволю ему быть офицером“, — оба его сына, неисповедимыми путями господними, сделались офицерами».

Отрывок второй

…«Русская государственность держалась на трех столпах: „Вера, Царь и Отечество“.

Революция свалила эти столпы и вся вековая государственная постройка рухнула.

Третий интернационал, захвативший в свои цепкие лапы Россию и одураченный русский народ, заканчивает уже разборку фундамента старого здания. Его усилия направлены сейчас на разгром семьи, уничтожение всякого авторитета, окончательное искоренение религии и морали и уничтожение русского языка. В СССР нарождается поколение, не имеющее ничего общего с тем народом, который когда — то назывался русским, образ которого мы сохраняем здесь, на чужбине.

Россия и русская народность стоят перед грозной

возможностью сойти с исторической сцены, на подобие того, как в свое время, закончили свое существование Древние Вавилон, Греция и Рим.

Все русские люди, в ком разум, душа и сердце не могут примириться с гибелью своей Родины, не должны больше медлить ни минуты!

Довольно выжидать, когда нас призовут, надеяться на чью то интервенцию, на внутренний взрыв и на прочие возможности.

Уцелевшие и народившиеся внутри СССР русские патриоты должны перестать Думать, что их, при современном положении вещей, спасет эмиграция. Помощи ждать неоткуда. Сильная Россия никому не нужна. Все ждут ее смерти. Нужны совместные героические усилия патриотов обеих сторон, направленные к единственной цели: свержению ига Третьего интернационала.

Прежде всего надо переменить тактику борьбы: Нужно припомнить, какими методами и способами подтачивались основы прежнего государственного строя. Внести к старым методам поправки, отвечающие современной обстановке, и начать действовать революционными путями.

Должна быть выработана новая идеология борьбы, которая своей ясностью, простотой и общей приемлемостью захватила бы широкие круги русского народа и привлекла бы в ряды борцов молодые, живые силы русских патриотов. Не нужно забывать, что большевизм, в период военного коммунизма, действовал не силой одного только оружия. Он также, как и Белое движение, имел свои вдохновляющие лозунги.

Пусть эти лозунги, с нашей точки зрения, были низменны и утопичны до преступности, но и за ними шли идейные борцы.

Это их беззаветному самопожертвованию обязан русский народ своими оковами.

Нашему русскому „Вию“ нужно приподнять его тяжелые веки и показать ту пропасть, к которой его уже подвели вплотную. Время не ждет.

Много говорят об армии. Верно. Она есть, пока есть кадры. Но в эмиграции мы уже девять лет. Офицеры самых последних выпусков довоенного времени, по возрасту, подходят к 40 годам.

Нужно готовить смену! Пусть это не будут офицеры, но это будут люди верные лучшим заветам старого офицерства — убежденные продолжатели неоконченного нами дела спасения России.

В этот грозный час все старые, испытанные вожди, все стоящие во главе воинских организаций, — должны сойтись, дружески подать друг другу руки в знак сознания ответственности момента; сесть за один стол и выработать план

нового решительного наступления на смертельного врага.

Это одно вызовет небывалый подъем угасающей веры, взрыв энтузиазма и привлечет в наши ряды новые действенные силы.

Небывалые испытания, значительное время, опыт и знания, приобретенные на чужбине, не только закалили нас, но и помогли нам разобраться и отличить истинных русских патриотов-вождей, не покладающих рук в работе, по приближению часа возрождения России. Их с каждым годом становится все меньше и меньше… но они еще есть.

Во весь рост стоит пред нами витязь Русской земли генерал Антон Иванович Деникин, старейший вождь, мастер шпаги, пера и слова. Его панцирь носит следы бесчисленных ударов врагов. На нем есть следы и от ударов в спину. Но панцирь цел. Устоял богатырь, не изменив ни на йоту своей вере. По-прежнему ярко горит в душе его священный огонь любви к Отчизне и по-прежнему стоит он на страже русской государственности…

…Горда Россия и другим великим пламенным своим патриотом — генералом Петром Николаевичем Красновым — баяном доблести, красоты и любви, певцом Великой России, подобно вещему колоколу, будящему лучшие чувства своего народа и зовущему его на подвиг всепрощения и самовозрождения.

Его чудесной рукой художника намечены резкие грани, отделяющие наше великое прошлое, от теперешнего его падения и обнищания. И его неутомимой рукой воздвигаются одна за другой путеводные вехи к новому величию и славе России.

Далек и тернист этот путь…

Но не смущается сердце генерала Александра Павловича Кутепова — вождя плоть от плоти, кровь от крови, рядового Русского офицерства. Он тоже из „стаи славных“. Прямолинейны и уверенны его движения. Тяжела его поступь, оставляющая глубокие следы, где бы он ни ступил. Не сбиться по этим следам — они ведут к России.

Пройдут года… К безотрадным берегам далекого теплого моря подплывут корабли с гордо развевающимися трехцветными русскими флагами… Толпы народа устремятся к величественному памятнику эпохи „великих потрясений“, камни которого будут говорить: здесь прошел с Галлиполийцами Кутепов…

Рельефно и выпукло выступает на фоне нашего безвременья работа еще двух великих патриотов земли Русской, идущих разными путями к осуществлению общей цели — спасения Родины.

— Учитесь и верьте, Россия возродится! — обращаясь к

зарубежному офицерству, всей силой своего авторитета, заявляет профессор генерал Н. Н. Головин. — Я напомню вам образ старика под семьдесят лет, днями и вечерами просиживавшего над картами и книгами в новгородской глуши. Этот старик был сослан императором Павлом в свое поместье при селе Кончакском. Это наш великий Суворов.

По тем временам бездорожья и малого развития прессы, 15 журналов на семи языках, которые получал Суворов, — это что-то поразительное.

Но для чего он это делал? Впавший в немилость, затертый в глуши, на исходе своего жизненного пути — чего он ждал?

…Для того, чтобы Суворов вновь вернулся к военному делу, было неизмеримо меньше шансов, чем для офицеров, работающих сейчас на мине Перник или на любом заводе… Кроме того, гениальный Суворов нуждался в самообразовании в неизмеримо меньшей степени, чем любой из нас.

Но совершилось „чудо“, и великий „чудак“ в 1799 году был опять призван творить свое дело на далекой от его Новгородских лесов Ломбардской долине.

…Неужели вы верите в то, что великий русский Народ будет бесконечно нести на себе ярмо Третьего интернационала? Неужели вы думаете, что проснувшееся в нем национальное самосознание не сбросит и, может быть, гораздо легче, чем это все думают, кучку международных авантюристов, которая измывается сейчас над Россией, вычеркнув из обихода даже слово „Россия“.

А тогда, чем моложе вы, тем больше шансов, что Родина будет нуждаться в вас.

Только когда произойдет освобождение русского народа, оно произойдет так быстро, что вам некогда будет подливать масло в ваши погашенные светильники. И как бы Родина не сказала вам, подобно Жениху в Евангельской притче: „истинно говорю вам: не знаю вас… Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий“. (От Матфея, глава 26, стих 12 и 13).

И в наши дни, на наших глазах, совершается необычайное. Офицерство, прямо от фабричных станков, от руля такси, от прочих повседневных занятий и работ, идет по зову генерала Головина исполнять свой патриотический доле и садится за книги.

Волею одного человека начата и успешно ведется на протяжении уже трех лет систематическая работа на пользу армии.

С великой верой строится фундамент какого-то крупного

здания, контуры которого для нас, близ стоящих, еще не ясны. Но известно, что всякие крупные предметы рассматриваются издали. Так, и это здание, строящееся генералом Головиным, лучше всего станет видным из России…

Если работа генерала Головина ведется в укромной тиши, если она сравнительно малоосязаема, а может быть, даже и непонятна широким кругам эмиграции, то работа генерала Н. Н. Баратова у всех на виду, затрагивает решительно каждого, всех делает причастным его работе, подчас даже помимо их собственного желания.

Генерал Баратов — знаток человеческой души; его гибкий ум, пламенное сердце и красивое, убедительное слово заставляют звучать струны самых сложных человеческих инструментов. Энергия его — легендарна, он носит в себе подвижность ртути; он весь — порыв и горение на пользу родной армии, в деле помощи тем из ее членов, на ком яркими кровавыми рубцами запечатлена их верная служба Отчизне.

Эта крупная работа не может быть достойно оценена сейчас, здесь, вблизи. Пожалуй, разве только вещественная часть этой работы, ибо она осязаема на ощупь. Но идейная ее сторона велика настолько, что может быть оценена только Россией.

Таковы наши уцелевшие, хранимые богом вожди. Есть и другие не менее самоотверженные и верные… Но дело не в этом, а в том, что вожди наши действуют вразброд — каждый за свой страх и риск.

Ни генерал Деникин, ни генерал Краснов, ни генерал Кутепов, ни прочие, ничего в отдельности сделать не могут. Даже генерал Кутепов, являющийся сейчас председателем общевоинского союза, не представляет собой нужной силы.

Но это не значит еще, что все погибло и что наша мощь, вера и дух иссякли.

Нет! Нет!

Нужна только боевая перегруппировка, нужен военный совет вождей.

Нужны не съезды профессиональных политиков и пресловутых общественников — отцов, дедушек и бабушек нашей революции, этих истинных творцов нашего русского лихолетья, — нужен военный совет.

Нужно, наконец, установить общее военное единоначалие, давно у нас, к слову сказать, нарушенное. Сами вожди должны, прежде всего, столковаться между собой так, чтобы по возможности впитать в орбиту своего влияния все наиболее полезное и живое из нашей эмиграции.

Когда это случится, должна прозвучать ясно и отчетливо

команда:

„Русские патриоты — ко мне!“

По этой команде, к вождю, как к знамени должны сомкнуться старые и молодые, мужчины и женщины, военные и штатские — все, кто еще верит в свои силы, кто готов на жертвы и на борьбу во имя России, помня, что работы хватит всем, ибо война с поработителями Родины продолжается.

Должен быть восстановлен, или заново создан боевой, разящий аппарат.

Мы живем в тот чудесный век, в который смертельные удары могут наноситься с громадных расстояний. Одни мы, русские эмигранты, таим в себе неисчислимые и разнообразные силы.

Среди нас есть закаленные, бесстрашные бойцы, в руках которых разящий клинок не знает промаха; среди нас есть люди, постигшие великую тайну поражать врага огненною силой пера и слова; среди нас есть люди, посвятившие себя изучению всех премудростей изумительной техники наших дней, которая также может быть полностью применена к уничтожению врага; среди нас есть люди, жаждущие подвига; среди нас должны найтись и Минины. Если их нет, — то надо призвать их к жизни искусственно. Каждый должен занять определенное место в этой боевой машине, сообразно своим способностям и силам. Машина эта должна быть создана теперь же, ибо никто не знает, когда настанет час освобождения России, и горе нам, если в этот час, мы окажемся неорганизованными сверху до низу в единую, монолитную силу, способную к беспрекословному повиновению, преисполненному жаждой жертвенного подвига, вооруженную силой своей правоты и мудростью разносторонних знаний».

Отрывок третий

…«Я сравнительно хорошо устроен. Моего заработка мне хватает на удовлетворение всех необходимых нужд. Но нет душевного покоя.

Мы, русские эмигранты, здесь на чужбине своими трудами увеличиваем накопление народных богатств не только чуждых нам, но подчас и враждебных нам народов, в то время, как наш собственный народ дошел до полной нищеты материальной и духовной. Красная черта отделила нас непроницаемой стеной от нашей Родины. Голос правды задушен, и истина скрыта от наших взоров.

За одиннадцать лет тиранической власти проклятого интернационала до нас долетали лишь придушенные

мучительные стоны.

Но в то же время… Одиннадцать лет! Одиннадцать лет правит русским народом власть, которая громко заявляет права на наименование народной.

В чем дело? Где истина?

Неужели русский народ навсегда примирился со своим положением? Неужели он признал власть наемников и убийц — своей подлинной, народной властью?..

Если — да, то дальнейшая борьба бессмысленна: мы, эмигранты, „отрезанный ломоть“, обреченный на пожизненное лишение Родины. Так ли это?

Можно ли допустить, чтобы великий, молодой народ, таящий в себе неисчислимые богатства духовных и физических сил, неуклонно двигавшийся по пути культурного, экономического и политического прогресса, — мог добровольно примириться с предательски наброшенными на него оковами?

Вот та мысль, которая точит меня и многих, мне подобных. Она, как раскаленным железом, жжет мой мозг и, как болезненная рана, не дает покоя, терзая сердце.

И встают новые вопросы: а где же люди, кто, не щадя своей жизни, в течение десятков лет шли на страдания и смерть, вынашивая в себе светлую идею счастья народа и Родины?

Ведь были времена, когда за призраком свободы стихийно поднимались грозные массы. Где все это? Где эти люди?.. И где эти прекрасные идеи, за которые они страдали и бестрепетно отдавали жизнь?

…И появляется ответ: если твой народ не признал новой власти, если он напрягает последние усилия в попытках разорвать свои оковы, сдерживаемый стальной сетью, опутывающей его сатанинской паутины, — иди смело вперед на его спасенье! Помоги вернуть ему свободу; забудь те дни, когда ты однажды уже шел для его спасенья… Когда ты был не понят им и жестоко отвергнут. Забудь те дни!

Осени себя крестным знамением и с мечом в руке, и крестом в груди — смело впереди.

Если ты верный сын своей Родины, ты не можешь остаться безучастным в этой новой решительной борьбе! „Это будет последний и решительный бой!“…

Но каждому бою предшествует разведка: узнать настроения, услышать подлинный голос моего народа, вложить собственные персты в его раны; нащупать слабые места заклятого врага, — вот истинный смысл этой разведки.

И чем влачить жалкое существование здесь на чужбине, чем стоять изо дня в день у станка и чувствовать, как уходят лучшие

годы жизни, а вместе с ними иссякают силы, бодрость и вера, — лучше пойти на опасность и смерть, имея полную уверенность в торжестве великой идеи. Итак, — вперед!

Жизнь без Родины — бесцельна!»

* * *

Я переписываю эти последние строки и чувствую, как дрожит в моей руке перо, от нарастающего в душе моей волненья…

Мой милый друг!

Я исполнил, посильно, твою волю… Я только не могу указать всем твоей неизвестной могилы, над которой должен был бы быть поставлен вечный памятник, гласящий:

> Остановись, прохожий!
>
> Здесь пролита благородная кровь верного русского офицера.
>
> Здесь грязными руками наемников, прервана нить красивой, одухотворенной жизни…
>
> На этом месте, безжалостно растоптано его сердце, вместе с жившей в нем пламенной любовью.